

Ганс Гейнс Эверс

Альрауне

(История одного живого существа)

ПРЕЛЮДИЯ

Не станешь ведь ты отрицать, дорогая подруга моя, что есть существа – не люди, не звери, а странные какие-то существа, что родились из несчастных, сладострастных, причудливых мыслей?

Добро существует – ты знаешь это, дорогая подруга моя. Добро законов, добро всяких правил и строгих норм, добро великого Господа, который создал все эти нормы, эти правила и законы. И добро человека, который чтит их, идет своим путем в смирении и терпении и верно следует велениям доброго Господа.

Другое же – князь, ненавидящий добро. Он разрушает законы и нормы. Он создает – заметь это – вопреки природе

Он зол, он скверен. И зол человек, который поступает так же. Он дитя Сатаны.

Скверно, очень скверно нарушать вечные законы и дерзкими руками срывать их с железных рельсов бытия.

Злой может делать это – ему помогает Сатана, могущественный властелин. Он может творить по своим собственным горделивым желаниям и воле. Может делать вещи, которые разрушают правила, переворачивают природу вверх ногами. Но пусть он остерегается: все только ложь и обман, что бы он ни творил. Он поднимается, возрастает, но, в конце концов, падает в своем падении высокомерного глупца, который его придумал.

Его превосходительство Якоб тен-Бринкен, доктор медицины, ординарный профессор и действительный тайный советник, создал эту странную девушку, создал ее вопреки природе. Создал один, хотя мысль о создании ее и принадлежала другому. Это существо, которое затем окрестили и назвали Альрауне, выросло и жило, как человек. До чего она ни касалась, все превращалось в золото; куда она ни смотрела, всюду возгорались дикие чувства. Но куда ни проникало ее ядовитое дыхание, всюду вспыхивал грех, и из земли, на которую ступали ее легкие ножки, вырастали бледные цветы смерти. Одного она убила. Это был тот, который придумал ее. Франк Браун, шедший всю жизнь возле жизни.

Не для тебя, белокурая сестренка моя, написал я эту книгу. Твои глаза голубые, они добрые, они не знают греха. Твои дни, точно тяжелые гроздья синих глициний, они падают на мягкий ковер: легкими шагами скольжу я по мягкой скатерти, по залитым солнцем аллеям твоих безмятежных дней. Не для тебя написал я эту книгу, мое белокурое дитя, нежная сестренка моих тихих мечтательных дней... Я написал ее для тебя, для тебя, дикая греховная сестра моих пламенных ночей. Когда падают тени, когда жестокое море поглощает золотистое солнце, тогда по волнам пробегает быстрый ядовито-зеленый луч. Это первый быстрый хохот греха над смертельной боязнью трепетного дня. Грех простирается над тихой водой, вздымается вверх, кичится яркими желтыми, красными и темно-фиолетовыми красками. Он дышит тяжело всю глубокую ночь, извергает свое зачумленное дыхание далеко во все стороны света.

И ты чувствуешь, наверное, горячее дыхание его. Твои глаза расширяются, твоя юная грудь вздымается дерзко. Ноздри твои вздрагивают, горячечно-влажные руки простираются куда-то в пространство. Падают мешанские маски светлых, ясных дней, и из черной ночи зарождается злая змея. И тогда, сестра, твоя дикая душа выходит наружу, радостная всяким стыдом, полная всякого яда. И из мучений, крови, из поцелуев и сладострастия ликующе

хохочет она – кричит, и крики прорезывают и небо и ад... Сестра греха моего, – для тебя я написал эту книгу.

ГЛАВА 1, которая рассказывает, каков был дом, в котором появилась мысль об Альрауне.

Белый дом, в котором появилась Альрауне тен-Брикен задолго до рождения и даже до зачатия своего, – дом этот был расположен на Рейне. Немного поодаль от города на большой улице вилл, которая ведет от старинного епископского дворца, где находится сейчас университет. Там стоял этот дом, и жил в нем тогда советник юстиции Себастьян Гонтрам.

На улицу выходил большой запущенный сад, не выдавший никогда садовника. По нему проходили в дом, с которого осыпалась штукатурка, искали звонок, но не находили. Звали, кричали, но никто не выходил навстречу. Наконец, толкали дверь и попадали внутрь, шли по грязной, давно немытой деревянной лестнице. А из темноты прыгали какие-то огромные кошки.

Или же – большой сад наполнялся маленькими существами. То были дети Гонтрама: Фрида, Филипп, Паульхен, Эмильхен, Иозефхен и Вельфхен. Они были повсюду, сидели на сучьях деревьев, заползали в глубокие ямы. Кроме них собаки, два дерзких шпица и фокс. И еще крохотный пинчер – адвоката Ланассе, маленький, похожий на квитовую колбасу, круглый как шарик, не больше руки. Звали его Циклопом.

Все шумели, кричали. Вельфхен, едва год от роду, лежал в детской коляске и ревел, громко, упрямо, целыми часами. И только Циклоп мог осилить его, – он выл хрипло, не переставая, не двигаясь с места.

Дети Гонтрама бегали по саду до позднего вечера. Фрида, старшая, должна была наблюдать за другими: смотреть, чтобы братья не шалили. Но она думала: они очень послушны. И сидела поодаль в развалившейся беседке со своей подругой, маленькой княжной Волконской. Обе болтали, спорили, говорили о том, что им скоро исполнится четырнадцать лет, и они могут уже выйти замуж. Или, по крайней мере, найти себе любовников. Но обе были очень благочестивы и решали немного еще подождать – хоть две недели, до конфирмации.

Им дадут тогда длинные платья. Они будут взрослые. Тогда уже можно найти и любовников.

Решение казалось им очень добродетельным. И они думали, что можно пойти сейчас в церковь. Нужно быть серьезными я разумными в эти последние дни.

– Там, наверное, сейчас Шмиц! – сказала Фрида Гонтрам. Но маленькая княжна сморщила носик:

– Ах, этот Шмиц! Фрида взяла ее под руку.

– И баварцы в синих шапочках! Ольга Волконская рассмеялась.

– Баварцы? Знаешь, Фрида, настоящие студенты вообще не ходят в церковь.

И, правда: настоящие студенты не делают этого. Фрида вздохнула. Она быстро подвинулась в сторону коляски с кричащим Вельфхеном и оттолкнула Циклопа, который хотел укунить ее за ногу.

– Нет, нет, княжна: в церковь идти не стоит!

– Останемся здесь, – решила она.

И девушки вернулись в беседку.

У всех детей Гонтрама была бесконечная жажда жизни. Они не знали, – но чувствовали, чувствовали в крови своей, что должны умереть молодыми, свежими, в самом расцвете сил, что им дана только ничтожная часть того времени, которое отмерено другим людям. И они старались воспользоваться этим временем, шумели, кричали, ели и упивались досыта жизнью. Вельфхен кричал в своей коляске, кричал за троих. А братья его бегали по саду, делая вид, точно их четыре десятка, а не четверо. Грязные, оборванные, всегда расцарапанные, с порезанными пальцами, с разбитыми коленями. Когда солнце заходило,

дети Гонтрама замолкали. Возвращались в дом, шли в кухню. Проглатывали кучу бутербродов с ветчиною и колбасою и пили воду, которую высокая служанка слегка подкрашивала красным вином. Потом она их мыла. Раздевала, сажала в корыто, брала черное мыло и жесткие щетки. Чистила их, точно пару сапог. Но дочиста они никогда не отмывались. Они только кричали и возились в деревянных корытах.

Потом, смертельно усталые, ложились в постель, падали, будто мешки с картофелем, и лежали неподвижно. Вечно забывали они прикрыться. Это приходилось делать служанке.

Почти всегда в это время приходил адвокат Манассе. Подымался по лестнице, стучал палкою в дверь; не получая никакого ответа, он наконец переступал порог.

Навстречу ему выходила фрау Гонтрам. Она была высокого роста, почти вдвое выше Манассе. Тот был почти карлик, круглый как шар, и походил на свою безобразную собаку Циклопа. Повсюду: на щеках, подбородке и губах – росли какие-то жесткие волосы, а посреди нос, маленький, круглый, словно редиска. Когда он говорил, он тьякал, как будто хотел поймать что-то ртом.

– Добрый вечер, фрау Гонтрам, – говорил он. – Что, коллеги нет еще дома?

– Добрый вечер, господин адвокат, – отвечала высокая женщина. – Располагайтесь поудобнее. Маленький Манассе кричал:

– Дома ли коллега? И велите принести сюда ребенка!

– Что? – переспрашивала фрау Гонтрам и вынимала из ушей вату. – Ах, так! – продолжала она. – Вельфхен! Если бы вы клали в уши вату, вы тоже ничего бы не слышали.

– Билла! Билла! Или Фрида! Что вы, оглохли? Принесите-ка сюда Вельфхена!

Она была еще в капоте цвета спелого абрикоса. Длинные каштановые волосы, небрежно зачесанные, растрепанные. Черные глаза казались огромными, широко-широко раскрытыми. В них сверкал какой-то странный жуткий огонек. Но высокий лоб подымался над впавшим узким носом, и бледные щеки туго натягивались на скулы. На них горели большие красные пятна.

– Нет ли у вас хорошей сигары, господин адвокат? – спросила она.

Он вынул портсигар, со злостью, почти с негодованием.

– А сколько вы уже выкурили сегодня, фрау Гонтрам?

– Штук двадцать, – засмеялась она, – но вы же знаете, дрянных, по четыре пфеннига за штуку. Хорошую выкурить приятно. Дайте-ка вот эту толстую.

Она взяла тяжелую, почти черную «мексико».

Манассе вздохнул:

– Ну, что тут поделаешь? Долго будет так еще продолжаться?

– Ах, – ответила она. – Только не волнуйтесь, не волнуйтесь. Долго ли? Третьего дня господин санитарный советник сказал: еще месяцев шесть. Но знаете, то же самое он говорил и два года назад. Я все думаю: дело не к спеху – скоротечная чахотка плетется кое-как, шагом!

– Если бы вы только не так много курили, – тьякнул маленький адвокат.

Она удивленно взглянула на него и подняла синеватые тонкие губы над блестящими белыми зубами.

– Что? Что, Манассе? Не курить? Что же мне еще делать? Рожать – каждый год – вести хозяйство – да еще скоротечная – и не курить даже?

Она пустила густой дым прямо ему в лицо. Он закашлялся. Он посмотрел на нее полуядовито-полуласково и удивленно. Этот маленький Манассе был нахален, как никто, он никогда не лез за словом в карман, всегда находил резкий удачный ответ. Он тьякал, лаял, визжал, не считался ни с чем и не боялся ничего. Но здесь, перед этой изможденной женщиной, тело которой напоминало скелет, и голова улыбалась, точно череп, которая уже несколько лет стояла одною ногою в гробу, – перед нею он испытывал страх. Только неукротимая власть локонов, которые все еще росли, становились крепче и гуще, словно почву под ними удобряла сама смерть, ровные блестящие зубы, крепко сжимавшие черный окурок толстой сигары, глаза, огромные, без всякой надежды, бессердечные, почти не

сознающие даже своего сверкающего жара, – заставляли его замолкать и делали его еще меньше, чем он был, меньше даже, чем его собака.

Он был очень образован, этот адвокат Манассе. Они называли его ходячей энциклопедией, и не было ничего, чего бы он не знал. Сейчас он думал: она говорит, что смерть ее не пугает. Пока она жива, той нет, а когда та придет, ее уже не будет.

А он, Манассе, видел прекрасно, что хотя она еще и жива, смерть уже здесь. Она давно уже здесь, она повсюду в доме. Она играет в жмурки и с этой женщиной, которая носит ее клеймо, она заставляет кричать и бегать по саду ее обреченных детей. Правда, она не торопится. Идет медленным шагом. В этом она права. Но только так – из каприза. Только так – потому что ей доставляет удовольствие играть с этой женщиной и с ее детьми, как кошке с золотыми рыбками в аквариуме.

"Ох, еще далеко! – говорит фрау Гонтрам, которая лежит целые дни на кушетке, курит большие черные сигары, читает бесконечные романы и закладывает уши ватой, чтобы не слышать крика детей. Ох, да правда ли далеко? «Далеко?» – осклабилась смерть и захохотала пред адвокатом из этой страшной маски – и пустила ему прямо в лицо густой дым.

Маленький Манассе видел ее, видел отчетливо, ясно. Смотрел на нее и думал долго, какая же это, в сущности, смерть. Та, что изобразил Дюрер? Или Беклин? Или же дикая смерть-арлекин Боша или Брейгеля? Или же безумная, безответная смерть Хогарта, Гойи, Роландсона, Ропса или Калло?

Нет, ни та, ни другая, ни третья. То, что было перед ним, – с этою смертью можно поладить. Она буржуазно добра и к тому же романтична. С нею можно поговорить, она любит шутки, курит сигары, пьет вино и может хохотать.

«Хорошо, что она еще курит! – подумал Манассе. – Очень хорошо: по крайней мере, не чувствуешь ее запаха...»

Показался советник юстиции Гонтрам.

– Добрый вечер, коллега! – сказал он. – Вы уже здесь? Как хорошо.

Он начал рассказывать какую-то длинную историю – подробно обо всем, что произошло сегодня в его бюро и на суде.

Все только странные удивительные истории. Что у других юристов случается, быть может, раз в жизни, у Гонтрама происходило чуть ли не каждый день. Редкие и странные случаи, иногда веселые и довольно смешные, иногда же кровавые и в высшей степени трагические.

Одно только – в них не было ни единого слова правды. Советник юстиции испытывал почти такой же непобедимый страх перед правдою, как перед купанием и даже как пред простым тазом с водою. Едва он открывал рот, как начинал врать, а во сне ему снилась новая ложь. Все знали, что он врет, но слушали очень охотно, потому что вранье его добродушно и весело, и если ничего подобного с ним не случалось, то надо отдать справедливость, рассказчик он хороший.

Ему было лет за сорок: седая короткая борода и редкие волосы. На длинном черном шнурке золотое пенсне, которое всегда криво сидело на носу; через него глядели голубые близорукие глаза. Он был неряшлив, грязен, немыт, всегда с чернильными пятнами на пальцах.

Он был плохим юристом и принципиально восставал против любой работы. Ее он поручал своим референдариям, – но они ничего не делали. Только поэтому они и поступали к нему и целыми неделями даже не показывались в бюро. Он поручал работу заведующему бюро и писцам, которые тоже большею частью спали, а когда просыпались, чаще писали одно только слово «оспариваю» и ставили под ним штемпель советника юстиции.

Тем не менее, у него была очень хорошая практика, гораздо лучше, чем у знающего, остроумного и делового Манассе. Он был близок к народу и умел говорить с людьми. Его любили судьи и прокуроры, он никогда не доставлял им никаких трудностей и предоставлял идти делу своим чередом. На суде и перед присяжными он был истинным золотом, – это все знали прекрасно. Один прокурор заявил даже как-то: «Я прошу дать обвиняемому

снисхождение. Его защищает господин советник юстиции Гонтрам».

Снисхождения для клиентов он добивался всегда. Манассе же это удавалось очень редко, несмотря на познания и умные, тонкие речи.

Кроме того, еще одно обстоятельство. У Гонтрама было в прошлом несколько крупных, заметных процессов, которые прогремели по всей стране. Он вел их много лет, провел через инстанции и, в конце концов, выиграл. В нем пробудилась тогда какая-то странная, долгое время дремавшая энергия. Его вдруг заинтересовала эта замысловатая история, этот шесть раз проигранный, почти безнадежный процесс, переходивший из одного суда в другой, – процесс, где приходилось разбирать целый ряд запутанных международных вопросов, о которых – кстати сказать – он не имел ни малейшего представления. Несмотря на очевидные улики, на четыре разбирательства, ему удалось добиться оправдания братьев Кошен из Ленепа, трижды приговоренных к смертной казни. А в крупном миллионном споре свинцовых рудников Нейтраль-Моренз, в котором не могли разобраться юристы трех государств – а Гонтрам, разумеется, меньше всех, – он все-таки одержал, в конце концов, блистательную победу. Теперь уже года три он вел крупный бракоразводный процесс княгини Волконской.

И замечательно: этот человек никогда не говорил о том, что он действительно сделал. Каждому, с кем он встречался, он врал про свои бесконечные юридические подвиги – но ни словом не упоминал о том, что ему действительно удалось. Таков уже он был: он ненавидел всякую правду.

Фрау Гонтрам сказала:

– Сейчас подадут ужинать. Я велела приготовить для вас немного крошона и свежего вальдмейстерского. Не пойти ли не переодеться?

– Не надо, – решил советник юстиции. – Манассе не будет ничего иметь против! – Он перебил себя: – Господи, как кричат дети! Пойди, успокой их немного!

Тяжелыми медленными шагами фрау Гонтрам пошла исполнять его просьбу. Отворила дверь в переднюю комнату: там служанка качала люльку. Она взяла Вельфхена на руки, принесла в комнату и посадила на высокий детский стульчик.

– Ничего удивительного, что он так кричит! – спокойно сказала она. – Он весь мокрый. – Но не подумала даже о том, чтобы его переложить. – Тише, чертенок, – продолжала она, – не видишь разве, у нас гости!

Но Вельфхен несколько не считался с гостем. Манассе встал, похлопал его по плечу, потрепал по толстой щечке и подał ему большую куклу. Но ребенок бросил игрушку и продолжал орать благим матом. Под столом аккомпанировал ему диким воем Циклоп.

Мать не выдержала:

– Подожди, чертенок. Я знаю, чем тебя успокоить. – Вынула изо рта черный, изжеванный окурок сигары и сунула в губы ребенка. – Ну, вкусно? А?

Ребенок мгновенно замолк, сосал окурок и радостно смотрел большими смеющимися глазенками.

– Вот видите, господин адвокат, как нужно обходиться! – сказала фрау Гонтрам. Она говорила самоуверенно и вполне серьезно. – Вы, мужчины, не умеете обращаться с детьми.

Вошла служанка, доложила, что стол накрыт. Потом, когда господа отправились в столовую, она подошла к ребенку.

– Фу, гадость! – закричала она и вырвала у него изо рта окурок. Вельфхен тотчас же опять заорал. Она взяла его на руки, стала качать, запела грустные песни своей валлонской родины. Но ей так же не повезло, как и Манассе: ребенок не переставал кричать. Тогда она снова подняла окурок, плюнула на него, обтерла его грязным кухонным передником, стараясь погасить все еще тлевший огонь. И сунула, наконец, в красные губки Вельфхена.

Потом взяла ребенка, раздела, вымыла, надела на него чистое белье и уложила в постель. Вельфхен успокоился, дал себя вымыть. И заснул с довольным видом, все еще держа грязный черный окурок в губах.

О, как была права фрау Гонтрам. Она умела обходиться с детьми, по крайней мере – со

своими.

А в столовой ужинали, и советник юстиции начал свои бесконечные повести. Выпили сначала легкого красного вина. И только на десерт фрау Гонтрам подала круассан. Ее муж соорудил недовольную физиономию.

– Влей хоть немного шампанского, – сказал он. Она только покачала головой:

– Шампанского больше нет, всего одна бутылка. Он удивленно посмотрел на нее через пенсне.

– Ну, знаешь ли, и хозяйка же ты! Нет шампанского, а ты не говоришь мне ни слова! Скажите пожалуйста! В доме ни капли шампанского! Вели хоть подать Роттегу. Хотя и жалко его для круассана!

Он продолжал качать головой. "Ни капли шампанского! Скажите на милость! – повторял он. – Нужно сейчас же раздобыть.

Жена, принеси-ка перо и бумагу. Я напишу княгине".

Но когда бумага была перед ним, он ее отодвинул от себя.

– Ах, – вздохнул он, – я столько сегодня работал. Напиши-ка, жена, я продиктую.

Фрау Гонтрам не двинулась с места. Писать? Только этого не доставало!

– И не подумаю даже, – сказала она. Советник юстиции посмотрел на Манассе:

– Коллега, не могли бы вы мне оказать небольшую услугу? Я так страшно устал.

Маленький адвокат негодуя поднял глаза. «Страшно устал? – захохотал он. – От чего же? От бесконечных рассказов? Хотелось бы знать, откуда у вас всегда чернила на пальцах! Ведь не от писания, конечно!»

Фрау Гонтрам рассмеялась: «Ах, Манассе, это еще с Рождества, – он подписывал тогда баллы детям! Впрочем, что вы спорите? Пусть Фрида напишет».

Она подошла к окну и крикнула Фриду. Пришла Фрида вместе с Ольгой Волконской.

– Как мило, что ты тоже здесь! – поздоровался с нею советник юстиции. – Вы уже ужинали? – Да, девушки ужинали внизу на кухне.

– Садись-ка, Фрида, – сказал отец, – вот сюда. – Фрида повиновалась. – Вот так! Ну а теперь возьми перо и пиши, что я тебе продиктую.

Но Фрида была истинное дитя Гонтрама, она ненавидела писание. И тотчас же вскочила с места.

– Нет, нет! – закричала она. – Пусть Ольга напишет, она умеет лучше меня.

Княжна стояла возле дивана. Она тоже не хочет. Но у подруги было средство заставить ее.

Это помогло. Послезавтра был день исповеди, и список грехов княжны еще далеко не полон. Грешить перед конфирмацией нельзя, но каяться все-таки необходимо. Нужно обдумывать, вспоминать и искать, не найдется ли хоть какой-нибудь грех. Этого княжна совсем не умела. Зато Фрида была очень искусна. Ее список грехов представлял предмет зависти всего класса, особенно легко выдумывала она греховные мысли, сразу целыми дюжинами. Это было у нее от отца: она могла выложить сразу целый ворох грехов. Но зато если действительно грешила, то уже пастор никогда не узнал бы об этом.

– Пиши, Ольга, – шепнула она, – я одолжу тебе восемь хороших грехов.

– Десять, – потребовала княжна.

Фрида Гонтрам утвердительно кивнула головой: ей было безразлично, она согласилась бы и на двадцать, только чтобы не писать.

Ольга Волконская села к столу, взяла перо, вопросительно посмотрела на Гонтрама.

– Ну, так пиши! – сказал тот. – Многоуважаемая княгиня...

Но княжна не писала:

– Если это маме, так ведь я могу написать: милая мама!

– Пиши что хочешь, только пиши.

И она начала: «Милая мама!»

И дальше под диктовку советника юстиции:

«К великому сожалению, должен известить, что ваше дело подвигается медленно. Мне

приходится много раздумывать, а думать очень трудно, когда нечего пить. У нас в доме нет больше ни капли шампанского. Будьте добры поэтому, в интересах вашего процесса, прислать нам корзину шампанского для крюшона, корзину Роттегу и шесть бутылок...»

Сен-Морсо! – воскликнул маленький адвокат.

"Сен-Морсо, – продолжал советник юстиции. – Это любимая марка коллеги Манассе, которая помогает мне иногда в вашем деле.

С наилучшими пожеланиями, ваш..."

Ну, вот видите, коллега, – заметил он, – как вы ко мне несправедливы! Мне не только приходится диктовать, но я еще должен собственноручно подписывать!

И он подписал письмо.

Фрида отошла к окну.

Вы готовы? Да? Ну, так я вам скажу, не нужно никакого письма. Только что подъехала Ольгина мама и идет сейчас по дорожке сада. Она давно заметила княгиню, но молчала и не прерывала письма. Если уже она даст хороших грехов, то пускай хоть другие поработают. Таковы были все Гонтрамы – и отец, и мать, и дети: они очень не любили работать, но охотно смотрели, как работают другие.

Вошла княгиня, толстая, рыхлая, с огромными бриллиантами на пальцах, в ушах и в волосах. Она была какой-то венгерской графиней или баронессой и где-то на востоке познакомилась с князем. Что они поженились, несомненно. Но, несомненно и то, что с первого же дня оба стали мошенничать. Ей хотелось настоять на законности брака, который по каким-то причинам с самого начала был невозможен, а князь, считавший его вполне возможным, старался изо всех сил воспользоваться пустыми формальностями и сделать его незаконным. Сеть лжи и наглого шантажа – прекрасное поле действий для Себастьяна Гонтрама. В этом процессе все было шатко, ничего определенного, малейшее упущение тотчас использовалось противною стороною, – всякая законность сейчас же опровергалась законами другой страны. Несомненно одно: маленькая княжна – князь и княгиня признавали себя отцом и матерью, и каждый требовал Ольгу себе – этот плод странного брака, которому должны были достаться миллионы. В данное время на стороне матери шансов оказывалось больше.

– Садитесь, княгиня! – советник юстиции скорее откусил бы себе язык, чем сказал этой женщине – Ваше Сиятельство. Она была его клиенткою, и он не обращался с нею ни на йоту почтительнее, чем с простою мужичкою. – Снимите шляпу! – Он ей даже не помог!

– Мы только что написали вам письмо, – продолжил он. И подал послание.

– Ах, пожалуйста! – воскликнула княгиня Волконская. – Конечно, конечно! Завтра же утром все будет доставлено! – Она открыла сумочку и вынула большое толстое письмо. – Я, собственно, к вам по делу. Вот письмо от графа Ормозо, – знаете...

Гонтрам наморщил лоб: только этого не доставало! Сам император не мог бы заставить его работать, когда он сидел вечером дома. Он встал, взял письмо.

– Хорошо, – сказал он, – хорошо, мы рассмотрим его завтра в бюро.

Она воспротивилась: «Но ведь оно спешное, важное...» Советник юстиции перебил: «Спешное? Важное? Скажите на милость, откуда вы знаете, что оно спешное и важное? Вы понятия не имеете! Только в бюро мы можем выяснить это. – И затем тоном снисходительного упрека: – Княгиня, ведь вы интеллигентная женщина! Получили кое-какое воспитание! Вы должны бы знать, что людей не обременяют делами вечером, когда они дома». Она продолжала настаивать: «Ведь в бюро я вас не застаю. На этой неделе уже четыре раза была там...»

Он рассердился: «Так приходите на будущей неделе! Неужели вы думаете, что у меня одно ваше дело? Вы думаете, мне ни о чем другом и поразмышлять не нужно? Сколько времени отнимает у меня этот разбойник Гутен! А там ведь дело о человеческой жизни, а не о каких-то миллионах!»

Он начал рассказывать бесконечную историю про замечательного атамана разбойничьей шайки, который, между прочим, был плодом его фантазии, и о юридических

подвигах, совершенных им в защиту несравненного убийцы, который убивал женщин лишь из сладострастия.

Княгиня вздохнула, но все-таки слушала, по временам смеялась, всегда там, где не нужно. Она была единственной из его многочисленных слушателей, которую не удивляла его ложь, – но зато она была и единственной, не понимавшей его острот.

– Маленький рассказ для девочек! – протягивал адвокат Манассе. Обе девочки жадно слушали рассказ и смотрели на Гонтрама, широко раскрыв глаза и рты.

Но тот не унимался: «Ах, что там! Им нужно знакомиться с жизнью». Он говорил таким тоном, точно убийца женщин был самое обыденное явление и такие преступники попадают на каждом шагу.

Наконец он кончил и посмотрел на часы.

– Уже десять! Вам пора спать! Выпейте-ка по стакану крюшона.

Девочки выпили, но княжна заявила, что ни в коем случае не вернется домой. Она боится, она не сумеет спать одна. Не ляжет она и со своей мисс... Быть может, и та переодетый убийца. Одна останется у подруги. У матери она даже не спросила позволения. Спросила только у Фриды и у фрау Гонтрам.

– Пожалуйста! – сказала фрау Гонтрам. – Но не проспите, ведь вам надо рано вставать, чтобы успеть в церковь!

Девочки сделали книксен и вышли из комнаты. Под руку, тесно обнявшись.

– Ты тоже боишься? – спросила княжна.

Фрида ответила: «Папа врал!» Тем не менее, она все же боялась. Боялась – и испытывала в то же время какое-то странное желание думать об этих вещах. Не переживать их – о нет, конечно, нет! Но думать о них и так же рассказывать. «Ах, вот был бы грех для исповеди!» – вздохнула она.

В столовой выпили крюшон. Фрау Гонтрам выкурила последнюю сигару. Манассе встал и вышел в соседнюю комнату. А советник юстиции принялся рассказывать княгине новые истории. Она зевала, прикрывшись веером, но по временам старалась вставить словечко.

– Ах, да, – сказала она, наконец, – чуть не забыла! Разрешите покатасть завтра вашу жену в коляске? Хоть немного, в Роландзек!

– Конечно, – ответил он, – конечно, если только ей хочется.

Но фрау Гонтрам заметила: «Я не могу поехать».

– Почему же? – спросила княгиня. – Вам очень полезно подышать свежим воздухом.

Фрау Гонтрам медленно вынула сигару изо рта: «Я не могу поехать, у меня нет приличного платья...»

Княгиня засмеялась, точно сказано было в шутку. Она завтра же утром пришлет модистку с последними весенними моделями.

– Хорошо, – сказала фрау Гонтрам. – Но пришлите тогда Беккер, – у нее самые лучшие. – Она медленно поднялась со стула и пристально посмотрела на свой потухший окурок. – А теперь я пойду спать, спокойной ночи!

– Да, да, уже поздно, я тоже пойду! – поспешно заговорила княгиня. Советник юстиции проводил ее через сад до улицы, помог сесть в экипаж и тщательно запер калитку.

Когда он вернулся, его жена стояла на крыльце с зажженной свечкой в руках.

– Спать лечь нельзя, – спокойно заявила она.

– Что? – спросил он. – Почему это нельзя? Она повторила: «Нельзя. У нас в спальне улегся Манассе». Они поднялись по лестнице во второй этаж и вошли в спальню. На огромной двуспальной постели мирно и крепко почивал маленький адвокат. На стуле было аккуратно сложено его платье, тут же стояли ботинки. Он достал из комода чистую ночную сорочку и надел ее. Возле него свернулся клубочком Циклоп.

Советник юстиции Гонтрам подошел к нему со свечой.

– И этот человек еще упрекает меня в лени! – сказал он, недоуменно покачав головой, – А сам до того ленив, что не может дойти до дому.

– Шшш! Шшш! Ты разбудишь и его, и собаку. Они достали из комода постельное и ночное белье, и сошли вниз. Тихонько, стараясь не шуметь, фрау Гонтрам постелила на диване.

Они заснули.

В Большом доме все спало. Внизу, возле кухни, Билла, толстая кухарка, с нею три собаки; в соседней комнате четыре буяна: Филипп, Паульхен, Эмильхен, Иозефхен. Наверху две подруги в большой комнате Фриды; рядом с ними Вельфхен со своим черным окурком; в гостиной Себастьян Гонтрам и супруга его. Во втором этаже храпели взапуски Манассе с Циклопом, а совсем наверху, в мансарде, спала Сефхен, горничная, которая вернулась только что с бала и тихонько прокралась по лестнице. Все они спали крепчайшим сном. Двенадцать человек и четыре собаки.

Но нечто не спало. Медленно кралось вокруг большого дома.

Вблизи, мимо сада, струился Рейн. Вздыхал свою закованную в каменную броню грудь, смотрел на спящие виллы и пробивал себе медленно путь к Старой Таможне. В кустах шевелились кот и кошка, пыжились, кусались, царапались, бросались друг на друга, широко раскрыв горящие как уголь глаза. И обнимались – сладострастно, в самозабвении, в томительной мучительной страсти.

А издали, из города, доносились пьяные песни буйных студентов.

Что-то кралось вокруг большого дома на Рейне. Кралось по саду мимо сломанных скамеек и хромых стульев. Смотрело благосклонно на шабаш сладострастных кошек.

Кралось вокруг дома. Царапало твердыми когтями стену, – и кусок ее с шумом падал на землю. Царапалось и у двери, которая тихо дрожала. Еле слышно, точно от ветерка.

Потом зашло в дом. Поднялось по лестнице, осторожно прокралось по комнатам. Остановилось, оглянулось вокруг, беззвучно рассмеялось.

В огромном буфете из красного дерева стояло тяжелое серебро. Богатое, дорогое, еще времен Империи. Но стекла окон были разбиты и трещины заклеены бумагой. На стенах висели картины голландских мастеров, но в них были дыры, и старое золото рам покрылось паутиной. В зале висела роскошная люстра из дворца архиепископа, – но ее разбитые хрустальные подвески засижены мухами.

Что-то кралось через весь тихий дом. И куда ни пробиралось, всюду что-нибудь ломалось и разбивалось. Правда, пустяк, почти незаметный, ненужный. Но все-таки оставались следы.

Куда ни кралось оно, всюду среди ночной тишины раздавался еле слышный шум. Слегка трещал пол, выскакивали гвозди, сгибалась старая мебель. Скрипели оконные стекла, дребезжали стаканы.

Все спало в большом доме на Рейне. Но что-то медленно скользило вокруг

ГЛАВА 2, которая рассказывает, как зародилась мысль об Альрауне.

Солнце взошло уже, и свечи зажглись в люстре, когда в залу вошел тайный советник тен-Бринкен. У него был торжественный вид: во фраке с большой звездой на белой сорочке и золотой цепочкой в петлице, на которой болталось двадцать небольших орденов. Советник юстиции поднялся, поздоровался с ним, представил его, и старый господин пошел вокруг стола, со стереотипной улыбкой говоря каждому какую-нибудь приятную любезность. Возле виновниц торжества он остановился и подал им красивый кожаный футляр с золотыми кольцами – с сапфиром для белокурой Фриды и с рубином для брюнетки Ольги. Сказал обоим мудрое напутствие.

– Не хотите ли нагнать нас, господин тайный советник? – спросил Себастьян Гонтрам. – Мы сидим здесь с четырех часов – семнадцать блюд! Недурно, не правда ли? Вот меню – пожалуйста, выбирайте, что вам по вкусу!

Но тайный советник поблагодарил, – он уже пообедал. В залу вошла фрау Гонтрам. В

голубом, немного старомодном платье с длинным шлейфом, с высокой прической.

– Мороженое не получилось, – воскликнула она. – Билла поставила его в печку!

Гости рассмеялись: этого нужно было ожидать. Иначе им было бы не по себе в доме Гонтрама. А адвокат Манассе закричал, чтобы блюдо подали: ведь не каждый день увидишь мороженое прямо из печки!

Тайный советник тен-Бринкен был невысокого роста, гладко выбритый, с большими мешками под глазами, довольно-таки некрасивый: толстые губы, большой мясистый нос. Левый глаз почти всегда закрыт, но правый зато широко раскрывался.

Позади кто-то сказал: «Здравствуй, дядюшка Якоб!»

Это был Франк Браун.

Тайный советник обернулся: нельзя сказать, чтобы он был очень рад встретиться здесь с племянником.

– Как ты сюда попал? – спросил он. – Хотя, в сущности, иначе и быть не могло! Студент рассмеялся.

– Конечно! Ты сразу, дядюшка, понял. Впрочем, ты ведь тоже здесь, и к тому же официально, в качестве действительного тайного советника и профессора, при всех орденах и знаках отличия. Я же инкогнито – даже ленточка корпорации у меня в жилетном кармане.

– Доказывает только твою нечистую совесть, – заметил дядюшка. – Когда ты...

– Да, да, – перебил Франк Браун. – Уже знаю: когда я буду в твоём возрасте, тогда я сумею и так далее... ведь ты это хотел, наверное, сказать? Но, слава Богу, мне нет ещё двадцати. Я как нельзя больше этим доволен.

Тайный советник сел.

– И ты очень доволен? Конечно, конечно! Четвертый семестр, а ты только и делаешь, что фехтуешь, едешь верхом, выкидываешь всякие глупости! Разве за этим мать послала тебя в университет? Скажи, милый мой, был ты вообще хоть раз на лекции?

Студент налил два бокала.

– Дядюшка, выпей-ка, ты не так будешь сердиться! Ну-с, на лекции я уже был, не на одной. Но впредь решил больше никогда не ходить. Твое здоровье!

– Твое! – ответил тайный советник. – И ты думаешь, этого совершенно достаточно?

– Достаточно? – засмеялся Франк Браун. – Я думаю, даже чересчур много. Совсем излишне! Что мне делать на лекциях? Возможно, другие студенты могут кое-чему научиться у вас, профессоров, но их мозг, должно быть, приспособлен к этому методу. У меня же мозг устроен совсем иначе. Мне вы все кажетесь невероятно скучными, глупыми, пошлыми.

Профессор удивленно посмотрел на него. «Вы страшно нахален, мой милый юноша», – спокойно заметил он.

– Неужели? – студент откинулся и закинул ногу на ногу. – Неужели? Не думаю, но если и так, то не так уже плохо. Видишь ли, дядюшка, я прекрасно сознаю, зачем говорю это. Во-первых, для того, чтобы тебя немного позлить, – у тебя очень смешной вид, когда ты сердишься. А во-вторых, чтобы потом услышать от тебя, что я все-таки прав. Ты, дядюшка, например, несомненно, очень хитрая, старая лисица, ты очень умен и рассудителен, у тебя большие познания. Но на лекциях ты так же невыносим, как и твои почтенные коллеги. Ну, скажи сам, интересно было бы тебе слушать их лекции?

– Нет, разумеется, нет, – ответил профессор. – Но ведь я другое дело. Когда ты – ну, ты уже знаешь, что я хочу сказать. Но ответь, мой милый, что тебя, в сущности, привело сюда? Ты согласишься, конечно, со мною, это не то общество, в котором охотно видела бы тебя твоя мать. Что же касается меня...

– Хорошо, хорошо! – ответил Франк Браун. – Что касается тебя, я все уже знаю. Ты сдал этот дом в аренду Гонтраму, а так как он, наверное, не такой уж пунктуальный плательщик, то полезно навещать его время от времени. А его чахоточная супруга интересуется, конечно, тебя как врача. Ведь все городские врачи в недоумении от этого феномена без легких. Потом тут есть еще княгиня, которой тебе хочется продать свою виллу в Мелеме, и, наконец, дядюшка, тут есть еще два подростка, свеженьких, хорошеньких,

правда ли? О, у тебя, конечно, нет никаких задних мыслей, я знаю, дядюшка, знаю прекрасно!

Он замолчал, закурил папиросу и выпустил дым. Тайный советник взглянул на него правым глазом, пытливо и ядовито.

– Что ты этим хочешь сказать? – спросил он тихо. Студент засмеялся: «Ничего, ровно ничего! – Он встал, взял со стола ящик с сигарами, открыл и подал тайному советнику. – Кури, дорогой дядюшка, „Ромео и Джульетта“, твоя любимая марка! Советник юстиции, наверное, только для тебя и купил их».

– Мерси, – пробурчал профессор, – мерси! Но все-таки:

что ты хотел этим сказать?

Франк Браун подвинул свой стул ближе.

– Могу ответить, дорогой дядюшка. Я не терплю твоих упреков, понимаешь? Я сам прекрасно знаю, что жизнь, которую веду, довольно пуста, но ты меня оставь в покое, – тебя это ничуть не касается. Ведь я не прошу тебя платить мои долги. Я требую только, чтобы ты не писал домой таких писем. Пиши, что я очень добродетелен, очень морален, что я много работаю, делаю большие успехи. И так далее. Понимаешь?

– Но придется ведь лгать, – заметил тайный советник. Он хотел сказать это любезно, полушутливо, но вышло как-то грубо.

Студент посмотрел ему прямо в лицо.

– Да, дядюшка, ты должен именно лгать. Не из-за меня, ты знаешь прекрасно. А из-за матери. – Он замолчал на мгновение и выпил вина. – И за то, что ты будешь лгать моей матери и немного поддержишь меня, я согласен ответить, что я хотел сказать своею фразою.

– Мне очень хотелось бы, – заметил тайный советник.

– Ты знаешь мою жизнь, – продолжал студент, и голос его зазвучал вдруг серьезно, – знаешь, что я – и теперь еще – глупый мальчишка. И потому, что ты старый и заслуженный ученый, богатый, повсюду известный, украшенный орденами и" титулами, только потому, что ты мой дядя и единственный брат моей матери, – ты думаешь, что имеешь право воспитывать, меня? Но есть у тебя право или нет, ты этого делать не будешь. Ни ты, никто – одна только жизнь.

Профессор хлопнул себя по колену и рассмеялся.

– Да, да, жизнь! Подожди, мой милый, она тебя воспитает.

У нее достаточно острых углов и краев. Много незыблемых правил, законов, застав и преград!

Франк Браун ответил:

– Они не для меня. Не для меня, так же как и не для тебя. Ведь ты же, дядюшка, обривнял все эти углы, пробил преграды, насмеялся над законами, – что же, и я так могу сделать.

– Послушай-ка, дядюшка, – продолжал он. – Я тоже хорошо знаю твою жизнь. Весь город, даже воробьи щебечут о ней с крыш. А люди шепчутся только и рассказывают потихоньку, потому что боятся тебя, твоего ума и твоей, да, твоей, власти и твоей энергии. Я знаю, отчего умерла маленькая Анна Паулерт. Знаю, почему твой красивый садовник должен был так быстро уехать в Америку. Знаю и еще кое-какие истории. Ах, нет, я не смакую их. И не возмущаюсь ничем. Я, быть может, даже немного восторгаюсь тобою, только потому, что ты, как маленький король, можешь безнаказанно делать подобные вещи. Я только толком не понимаю, почему ты имеешь такой невероятный успех у всех этих детей – ты, ты с твоей уродливой рожей. Тайный советник играл цепочкой от часов. Потом посмотрел на племянника, спокойный, почти польщенный и сказал: «Правда, ты этого не понимаешь?» Студент ответил: «Нет, не понимаю. Но зато прекрасно знаю, как ты до этого дошел! Ты давно имеешь все, что хочешь, все, что может иметь человек в нормальных границах буржуазности, и тебе хочется пробить их. Ручью тесно в старом русле, он выходит дерзко наружу и разливается по берегам. Но вода его – кровь».

Профессор взял бокал и протянул его Франку Брауну: «Налей-ка, мой милый, – сказал

он. Его голос немного дрожал и звучал какою-то торжественностью. – Ты прав. Это кровь, твоя и моя кровь».

Он выпил и протянул юноше руку.

– Ты напишешь матери так, как мне бы хотелось? – спросил Франк Браун.

– Хорошо, – ответил старик. Студент добавил: «Благодарю, дядюшка. – Потом пожал протянутую руку. – А теперь, старый Дон-Жуан, поди к конфирманткам! Правда, они очень хорошенькие в своих светлых платяцах?»

– Гм! – произнес дядя. – Тебе они тоже, кажется, нравятся? Франк Браун рассмеялся: «Мне? Ах, Господи! Нет, дядюшка, для тебя я не соперник, – во всяком случае не сегодня, сегодня у меня большие требования, быть может... когда я буду в твоём возрасте. Но я вовсе не забочусь об их добродетели, да и сами эти цветочки хотят только того, чтобы их поскорее сорвали. Все равно кто-нибудь это сделает, почему бы и не ты? Ольга, Фрида, подите сюда!» Но девочки не подошли – возле них стоял доктор Монен, который чокался с ними и рассказывал двусмысленные анекдоты. Подошла княгиня. Франк Браун встал и предложил ей стул.

– Садитесь, садитесь! – воскликнула она. – Я не успела еще поболтать с вами!

– Одну минуту, ваше сиятельство, я только принесу папиросы, – сказал студент. – Дядюшка мой давно жаждет сказать вам несколько комплиментов. Тайный советник вовсе не так уж обрадовался, ему было бы гораздо приятнее, если бы тут сидела дочка княгини. Пришлось, однако, разговаривать с матерью.

Франк Браун подошел к окну. Советник юстиции подвел между тем к роялю фрау Марион. Гонтрам сел на табурет перед роялем, повертелся и сказал: "Прошу немного спокойствия. Фрау Марион споет нам что-нибудь. – Он повернулся к своей даме. – Что же вы споете, сударыня? Вероятно, опять

"Les papillons «? Или, быть может, „Il baccio“ Ардити? Ну давайте!»

Студент посмотрел на нее. Она была все еще красива, эта пожилая и пожившая женщина: глядя на нее, можно было вполне поверить тем бесконечным историям, которые про нее рассказывали. Она была когда-то знаменитой европейской певицей. Теперь уже около двадцати пяти лет она жила в этом городе, одна на своей маленькой вилле. Каждый вечер она долго гуляла по саду и плакала с полчаса над могилой своей собачки, украшенной самыми лучшими цветами.

Она запела. Ее изумительный голос был давно уже разбит, но в умении петь все-таки чувствовалось какое-то странное обаяние старой школы. На накрашенных губах отражалась прежняя улыбка победительницы, а под толстым слоем пудры черты лица принимали выражение обаятельной любезности. Ее толстые, заплывшие жиром руки играли веером из слоновой кости, а глаза, как когда-то, старались вызвать одобрение у всех и каждого.

О да, она подходила сюда, эта мадам Марион Вэр-де-Вэр, подходила к дому и ко всем остальным, бывшим сейчас в гостях. Франк Браун оглянулся. Вот его дорогой дядюшка с княгиней, а позади них, прислонившись к двери, Манассе и пастор Шредер. Худой, длинный Шредер, лучший знаток вина

на Мозеле и Заале, обладавший редким погребом вин; он написал когда-то бесконечную, чересчур умную книгу о философии Платона, а здесь занимается сочинением пьесок для Кельнского театра марионеток. Он был ярым партикуляристом, ненавидел прусаков и, говоря об императоре, думал лишь о Наполеоне I и каждый год пятого мая отправлялся в Кельн, чтобы присутствовать на торжественной литургии в честь павших воинов великой армии. Вот сидит в золотом пенсне огромный Станислав Шахт, кандидат философии на шестнадцатом семестре, слишком грузный и ленивый, даже чтобы подняться со стула. Уже много лет снимал он комнату у вдовы профессора фон Доллингера – и давно уже пользовался там правами хозяина. Эта маленькая, уродливая, худая, как спичка, женщина сидела возле него, наливала ему бокал за бокалом и накладывала каждую минуту новые порции пирога на тарелку. Она не ела ничего, но пила не меньше его. И с каждым

новым бокалом возрастала ее нежность: ласково гладила она его жирные пальцы. Около нее стоял Карл Монен, доктор юриспруденции и доктор философии. Он был школьным товарищем Шахта и его большим другом и не меньше его пробыл в университете. Он всю жизнь держал экзамены и менял свои склонности. В данное время он был философом и готовился к трем экзаменам. Он был похож на приказчика из магазина. Франк Браун подумал, что тот, наверное, еще когда-нибудь станет купцом. Это будет самое лучшее, он сделает хорошую карьеру в магазине готового платья, где станет обслуживать дам. Он постоянно искал богатую партию – но искал, как ни странно, на улицах. Прогуливался мимо окон, – действительно, ему удавалось неоднократно завязывать интересные знакомства. Он волочился особенно охотно за туристками-англичанками. Но, увы, у них большею частью всегда отсутствовали деньги.

Тут был еще один маленький гусарский лейтенант с черными усиками: он как раз говорил с конфирмантками. Его, молодого графа Герольдингена, можно было встретить каждый день за кулисами театра. Он довольно мило рисовал, талантливо играл на скрипке и был к тому же лучшим наездником в полку. Он рассказывал сейчас Ольге и Фриде что-то про Бетховена, но они немилосердно скучали и слушали только потому, что он был таким хорошеньким маленьким лейтенантом.

О да, они все подходили сюда, все без исключения. В них было немножко цыганской крови, – несмотря на титулы и ордена, несмотря на тонзуры и мундиры, несмотря на бриллианты и золотые пенсне, несмотря на видное общественное положение.

Вдруг посреди пения фрау Марион раздался неистовый крик: дети Гонтрама подрались на лестнице. Мать вышла из комнаты, чтобы их успокоить. Потом в соседней комнате заорал вдруг Вельфхен, и прислуге пришлось отнести его к себе в мансарду. Она взяла с собою и Циклопа и уложила обоих в коляску.

Фрау Марион начала вторую арию: «Пляску теней» из «Диноры» Мейербера.

Княгиня стала расспрашивать тайного советника о его новых опытах. Нельзя ли ей прийти опять посмотреть на его милых лягушек и хорошеньких обезьянок?

Конечно, конечно, пожалуйста. Он покажет и свой новый розариум на мелемской вилле, и большие белые камелии, которые посадил там садовник.

Но княгине лягушки и обезьяны были интереснее, чем розы и камелии. Он начал рассказывать о своих опытах над перенесением зародышевых клеток и искусственном оплодотворении. Сказал, что у него есть сейчас хорошенькая лягушка с двумя головами и еще одна с четырнадцатью глазами на спинке. Объяснил, как вырезает он зародышевые клетки из головастика и переносит их на другие индивидуумы и как затем эти клетки развиваются дальше в новом теле и из них вырастают головы, хвосты и ножки. Рассказывал о своих опытах над обезьянами, сказал, что у него есть две молодых морских кошки, девственная мать которых, кормящая их, никогда не знала самца...

Это заинтересовало ее больше всего. Она расспрашивала о подробностях, заставила рассказывать, как он это делает, слушала бесконечный поток греческих и латинских слов, которые даже не понимала. Тайный советник увлекся и стал уснащать свою речь циничными подробностями и жестами. Из рта у него потекла на отвислую нижнюю губу слюна. Он наслаждался этой игрой, этой циничной беседой и сладострастно упивался звуками бесстыдных слов. А потом, произнеся какое-то особенно циничное слово, он снабдил его обращением «ваше сиятельство» и с восхищением наслаждался всей жгучей прелестью контраста.

Но она слушала его, вся красная, взволнованная, чуть ли не с дрожью и впитывала всеми порами развратницы атмосферу, которая дышала вокруг этого еле заметного научного знамени.

– Вы оплодотворяете только обезьян? – спросила она, еле переводя дыхание.

– Нет, – ответил он, – также и крыс, и морских свинок. Приходите когда-нибудь посмотреть, ваше сиятельство, как я...

Он понизил голос и прошептал ей что-то на ухо.

Она закричала: «Да, да, я приду посмотреть! Охотно, очень охотно – а когда именно? – И добавила с плохо деланным достоинством: – Знаете, господин тайный советник, меня ничто так не интересует, как медицинские опыты. Мне кажется, я была бы превосходным врачом».

Он посмотрел на нее и улыбнулся.

– Нисколько не сомневаюсь, ваше сиятельство. И подумал, что она, наверное, была бы лучшей хозяйкой дома терпимости. Но рыбка уже клюнула. Он заговорил снова о розариуме и камелиях на своей вилле на Рейне. Она ему так надоела, он купил ее только из одолжения. Она расположена так превосходно – и главное, вид. Быть может, если бы ее сиятельству захотелось, он с удовольствием...

Княгиня Волконская тотчас же согласилась:

– Да, господин тайный советник, я с удовольствием куплю вашу виллу! – Она увидела проходившего мимо Франка Брауна и подозвала: – Ах, господин студент! Господин студент! Подите сюда, ваш дядюшка обещал показать мне несколько опытов, – разве это не страшно интересно? А вы когда-нибудь видели их?

– Нет, – заметил Франк Браун. – Меня они нисколько не интересуют.

Он повернулся, но она схватила его за рукав:

– Дайте-ка мне, дайте-ка мне папиросу! И налейте шампанского! От возбуждения она вся дрожала: по ее жирному телу струились капли горячего пота. Ее грубая чувственность, пробужденная циничными рассказами старика, искала какой-нибудь цели и горячо вольною обрушилась на молодого человека.

– Скажите, господин студент... – она дышала тяжело, ее обширная грудь высоко подымалась. – Скажите мне... по-вашему, не мог ли господин советник применять... свою науку и свои опыты... с искусственным оплодотворением... также и к людям?

Она знала прекрасно, что он об этом и не думал. Но ей хотелось во что бы то ни стало продолжить беседу. И обязательно с этим молодым, свежим, красивым студентом.

Франк Браун рассмеялся и инстинктивно понял ее мысль.

– Конечно, ваше сиятельство! – сказал он. – Разумеется, – дядюшка как раз занят сейчас этим – он изобрел новое средство, такое, что бедная женщина ничего даже не замечает. Решительно ничего – пока в один прекрасный день не почувствует, что она беременна. На 4-м или на 5-м месяце... Берегитесь же, ваше сиятельство, господина тайного советника, – кто знает, может, и вы тоже...

– Избави Боже! – воскликнула княгиня.

– Не правда ли, – заметил он, – это не очень приятно? Особенно когда ничего не имеешь от этого!

Бац! Что-то рухнуло и упало на голову горничной Сефхен. Девушка неистово закричала и от страха уронила серебряный поднос, на котором разносила кофе.

– Как жалко сервиз! – произнесла равнодушно фрау Гонтрам. – Что это упало?

Доктор Мონен подбежал тотчас же к плакавшей девушке. Срезал ей прядь волос, промыл открытую рану и остановил кровь желтой железистой ватой. Но не забыл при этом потрепать хорошенькую горничную за щеки и тайком коснуться упругой груди. Дал ей выпить вина и начал что-то нашептывать на ухо... Гусарский лейтенант нагнулся и поднял предмет, который послужил причиной несчастья. Взял его в руки и начал рассматривать со всех сторон.

На стене висели всевозможные редкие вещи. Какой-то божок – полумужчина-полуженщина, пестрый, раскрашенный желтыми и красными полосками. Два старых рыцарских сапога, бесформенных, тяжелых, с большими испанскими шпорами. Докторский диплом иезуитской высшей школы в Севилье, напечатанный на старинном сером шелку и принадлежавший одному из предков Гонтрама. Дальше роскошное распятие из слоновой кости, выложенное золотом. И, наконец, тяжелые буддийские четки из больших зеленых камней.

А совсем наверху висел тот предмет, который только что упал на пол. Видна была

широкая трещина в обоях, откуда он вырвал гвоздь. Это была коричневая пыльная палка из окаменевшего дерева. Она напоминала своим видом дряхлого человечка в морщинах.

– Ах, да, это наш Альрауне! – заметила фрау Гонтрам. – Хорошо, что как раз тут проходила Сефхен: она ведь из Эйфеля, у нее твердые кости, а то если бы тут сидел Вельфхен, эта противная штука, наверное, раздробила бы его маленький череп!

Советник юстиции разъяснил: «Он уже несколько веков сохраняется в нашей семье. И уже был такой же случай: дядя мой рассказывал, что однажды ночью тот ему упал на голову. Но он был, наверное, пьян – он очень любил выпить».

– Что это, собственно? И для чего? – спросил гусарский лейтенант.

– Он приносит богатство, – ответил Гонтрам. – Есть такое старинное предание. Манассе может вам рассказать. Поди-ка сюда, коллега! Как это предание об Альрауне?

Но маленький адвокат не пожелал рассказывать:

– Ах, все и так знают!

– Никто не знает, – воскликнул лейтенант. – Никто, вы преувеличиваете наши познания.

– Расскажите же, Манассе, – попросила фрау Гонтрам. – Мне тоже хотелось бы знать, что означает эта противная штука. Он уступил просьбам. Он говорил сухо, деловито, точно читал вслух какую-то книгу. Не торопясь, едва повышая голос, и в такт словам все время размахивал человечком.

– Альрауне, альбрауне, мандрагора, также и манрагола – *mandragora officinarium*. Растение из семейства *solanazeae*. Оно встречается в бассейне Средиземного моря, в юго-восточной Европе и в Азии вплоть до Гималаев. Листья его и цветы содержат наркотики. Оно употреблялось прежде как снотворное средство, даже при операциях в знаменитой медицинской школе в Салерно. Листья курили, а из плодов готовили любовные напитки. Они повышают чувственность и делают женщин плодовитыми. Еще Иаков применял его. Тогда растение называлось дудаимом, но главную роль играет корень растения. О странном сходстве со стариком или старушкой упоминает еще Пифагор. Уже в его время говорили, что оно действует как шапка-невидимка и употребляли как волшебное средство или, наоборот, в качестве талисмана против колдовства. В средние века во время крестовых походов зародилось и германское предание об Альрауне. Преступник, распятый обнаженным на кресте, теряет свое последнее семя в тот момент, когда у него ломается позвоночный столб. Это семя падает на землю и оплодотворяет ее: из нее вырастает альрауне, маленький человечек, мужчина или женщина. Ночью отправлялись на поиски его. В полночь заступ опускался в землю под виселицей. Но люди хорошо делали, что затыкали себе уши, потому что когда отрывали человечка, он кричал так неистово, что все падали от страха, – еще Шекспир повествует об этом. Потом человечка относили домой, прятали, давали ему каждый день есть и по субботам мыли вином. Он приносил счастье на суде и на войне, служил амулетом против колдовства и привлекал в дом богатство. Располагал всех к тому, у кого он хранился, служил для предсказаний, а в женщинах возбуждал любовный жар и облегчал им роды. Но, несмотря на все это, где бы он ни был, всюду случались несчастья. Остальных обитателей дома преследовали неудачи, во владельце своем он развивал скупость, развратные наклонности и всевозможные пороки. А, в конце концов, даже губил его и ввергал в ад. Тем не менее, эти корни пользовались всеобщей любовью, ими даже торговали и брали за них огромные деньги. Говорят, будто Валленштейн всю жизнь возил с собою Альрауне. То же самое рассказывают и про Генриха V Английского.

Адвокат замолчал и бросил на стол окаменевшее дерево.

– Очень любопытно, право, очень любопытно, – воскликнул граф Герольдинген. – Я крайне признателен вам за вашу маленькую лекцию, господин адвокат. Но мадам Марион заявила, что она бы ни минуты не держала в своем доме такой вещи. Испуганными, суеверными глазами посмотрела она на застывшую костлявую маску фрау Гонтрам.

Франк Браун быстро подошел к тайному советнику. Его глаза сверкали, он

взволнованно взял старика за плечо.

– Дядюшка, – шепнул он, – дядюшка...

– В чем дело, мой милый? – спросил профессор. Но все-таки встал и последовал за племянником к окну

– Дядюшка, – повторил студент, – вот этого тебе только и нужно. Это лучше, чем заниматься глупостями с лягушками, обезьянами и маленькими детьми. Дядюшка, не упускай случая, походи по новому пути, по которому никто до сих пор еще не шел! – Голос дрожал, с нервной поспешностью выпускал он папиросный дым.

– Я тебя не понимаю! – заметил старик.

– Сейчас поймешь, дядюшка! Ты слышал, что он рассказывал. Создай же альрауне, существо, которое бы жило, имело бы плоть и кровь! Ты способен на это, ты один и никто кроме тебя во всем мире!

Тайный советник посмотрел на него негодуя и удивленно. Но в голосе студента звучала такая уверенность, такая могучая сила веры, что он стал вдруг серьезен. Против своей воли.

– Объясни мне точно. Франк, что ты хочешь, – сказал он, – я, право, не понимаю тебя. Племянник покачал головою: «Не теперь, дядюшка. Я провожу тебя домой, если позволишь». Он быстро повернулся и подошел к Минхен, разносившей кофе, взял чашку и быстро опорожнил.

...Сефхен, другая горничная, убежала от своего утешителя. А доктор Монен метался повсюду, быстро, проворно и деловито, точно коровий хвост в летнее время, когда много мух. У него чесались руки что-нибудь сделать, он взял Альрауне и начал тереть большою салфеткою, стараясь отчистить от пыли. Альрауне грязнил одну салфетку за другою, но не становился чище. Тогда неугомонный человек поднял его и ловким движением бросил в большую миску с крошками.

– Пей же, Альрауне! – воскликнул он. – В доме плохо с тобою обращались. Тебе, наверное, хочется пить. Он влез на стул и начал бесконечную торжественную речь в честь обеих конфирманток: «Пусть они навсегда останутся такими же девочками в белых невинных платьицах, – закончил он свою речь, – желаю им этого от всего сердца!»

Он лгал; он совсем не хотел этого. Этого не хотел, впрочем, никто, и меньше всех сами девушки. Но они все же засмеялись вместе с другими, подошли к нему, сделали реверанс и поблагодарили.

Шредер стал возле советника юстиции и ругался, что близится срок, когда будет введено новое гражданское уложение. Еще десять лет – конец кодексу Наполеона. В Рейнланде будет господствовать то же право, что и там, в Пруссии. Какая нелепость! Трудно себе представить!

– Да, – вздохнул советник юстиции, – а сколько работы! Сколькому придется вновь научиться. Как будто и так нечего делать. – Он столь же мало стал бы заниматься изучением гражданского уложения, сколько изучал рейнское право. Слава Богу, экзамены свои он уже сдал.

Княгиня простилась и взяла с собою в экипаж фрау Марион. Ольга осталась опять у подруги. Другие тоже разошлись, один за другим.

– Подожди немного, – ответил тайный советник, – нет еще моего экипажа. Он сейчас, наверное, придет. Франк Браун смотрел в окно. По лестнице проворно как белка, несмотря на свои сорок лет, промчалась маленькая фрау Доллиенгер. Споткнулась обо что-то, упала, снова вскочила на ноги, побежала к огромному дубу и обвила ствол руками и ногами. И тупо, пьяная от вина и жадной страсти, она стала целовать дерево горячими воспаленными губами. Станислав Шахт подбежал к ней и оторвал от ствола, точно жука, который крепко впился в него ножками. Он сделал это не грубо, но с силою, – все еще трезвый, несмотря на огромное количество выпитого вина. Она кричала, отбивалась руками и ногами, ей не хотелось отрываться от гладкого дерева. Но он поднял ее и понес. Она узнала его, сорвала с него шляпу и начала целовать прямо в лысину, – громко крича, задыхаясь...

Профессор поднялся и подошел к советнику юстиции.

– У меня к вам просьба, – сказал он. – Не подарите ли мне этого человечка?

Фрау Гонтрам упредила мужа: «Конечно, господин тайный советник, возьмите! Он, наверное, годится скорее холостому». Она опустила руку в чашу вина и вынула человечка. Но задела им край чаши: в комнате раздался резкий дребезжащий звук. Роскошная старинная чаша разлетелась в мелкие дребезги, разлив сладкое содержимое по столу и по полу.

– Господи Боже мой! – воскликнула она, – хорошо, что эта противная штука уходит наконец из дому!

ГЛАВА 3, Которая повествует, как Франк Браун уговорил тайного советника создать Альрауне.

Они сидели в экипаже, профессор тен-Бринкен и его племянник, не говоря ни слова. Франк Браун откинулся и смотрел куда-то вперед, глубоко погруженный в свои мысли. Тайный советник молчал и испытующе наблюдал за ним. Поездка продолжалась менее получаса. Они проехали по шоссе, повернули направо и затряслись по изрытой мостовой. Там, посреди деревни, возвышалась большая усадьба тен-Бринкена, огромный четырехугольный участок, сад и парк, а ближе к улице ряд маленьких, некрасивых построек. Они свернули за угол мимо покровителя деревни-святого Непомука. Его изображение, украшенное цветами и двумя лампадами, стояло в угловой нише господского дома. Лошади остановились. Лакей отворил ворота и открыл дверцы коляски.

– Принеси нам вина, Алоиз, – сказал тайный советник. – Мы пойдем в библиотеку. – Он обернулся к племяннику: – Ты у меня переночуешь? Или кучеру подождать?

Студент покачал головою:

– Ни то ни другое. Я вернусь в город пешком.

Они пересекли двор и вошли в длинный дом с левой стороны. Это была, в сущности, одна громадная зала и рядом с нею крохотная передняя. Вокруг по стенам стояли длинные бесконечные полки, тесно уставленные тысячами книг. На полу стоял низкий стеклянный ящик, наполненный римскими раскопками. Много гробов и могил было опустошено и разграблено. Пол покрывал большой ковер. Стояли два письменных стола, несколько кресел и диванов. Они вошли. Тайный советник бросил деревянного человечка на диван. Они зажгли свечку, сдвинули два кресла и сели. Лакей откупорил пыльную бутылку.

– Можешь идти, – сказал профессор, – но не ложись пока спать. Барин скоро уйдет, ты закроешь за ним ворота.

– Ну? – обратился он к племяннику.

Франк Браун выпил вина, потом взял деревянного человечка и начал играть с ним. Тот был еще влажен и, по-видимому, слегка гнулся.

– Он гнется, – пробормотал Франк. – Вот глаза – два глаза. А вот нос. Ясно видны очертания рта. Посмотри-ка, дядюшка, видишь, как он улыбается? Руки будто скрючены, а ножки срослись до колен. Странная штука! – Он поднял его и начал вертеть во все стороны. – Осмотрись здесь, Альрауне! – воскликнул он. – Здесь твоя новая родина. Здесь ты большеходишь – к господину Якобу тен-Бринкен, – гораздо больше, чем к дому Гонтрамов.

– Ты старый, – продолжал он, – тебе четыреста, может быть, шестьсот или еще больше лет. Твоего отца повесили, он был, наверное, убийцей или вором или просто сочинил сатиру на какого-нибудь важного господина в панцире или в рясе. Безразлично, в сущности, что он сделал, – он был преступником в свое время, и они распяли его. Тогда он изверг свою последнюю жизнь и зачал тебя, тебя, странное существо. А мать-земля приняла это прощание преступника в свое плодотворное чрево, таинственно забеременела тобою и родила. Она, исполинская, всемогущая, – родила тебя, жалкого, уродливого человечка! – и они тебя вырыли в полночь у креста, дрожа от страха, произнося таинственные неистовые

заклинания. А ты, заметив впервые свет луны, увидел своего отца, который висел над тобою: сломанные кости его и гниющее тело. А они взяли тебя, те самые, которые казнили его, твоего отца. Взяли тебя, принесли домой: ты должен был дать им богатство! Яркое золото и молодую любовь! Они знали прекрасно: ты принесешь с собою несчастья, болезни, бедствия и, в конце концов, жалкую смерть. Знали это прекрасно, а все-таки вырыли тебя и взяли с собою, они соглашались на все за любовь и за золото.

Тайный советник заметил: «У тебя богатое воображение, мой дорогой. Ты фантазер!»

– Да, – ответил студент, – пожалуй, что так. Но ведь и ты фантазер.

– Я? – засмеялся профессор. – Кажется, моя жизнь протекла довольно реально.

Но племянник покачал головою: «Нет, дядюшка, не совсем-то реально. Только ты называешь реальным то, что другие называют фантазией. Подумай обо всех твоих опытах. Для тебя они нечто большее, чем простая игра, они те пути, которые когда-нибудь приведут тебя к намеченной цели. Нормальный человек никогда бы не дошел до твоих мыслей: только фантазер может быть способен на это. Только горячая голова, только человек, в жилах которого течет кровь, горячая, как кровь всех тен-Бринкенов, только такой человек может отважиться сделать то, что ты теперь должен совершить».

Старик перебил его, недовольный, но все же слегка польщенный:

– Ты фантазируешь, мой дорогой, ты даже не знаешь, захочется ли мне вообще совершить то таинственное, о чем ты сейчас говоришь. Хотя, впрочем, я все еще не понимаю тебя.

Но студент не уступал. Его голос звучал твердо, уверенно и убежденно.

– Нет, дядюшка, ты это сделаешь, я знаю, что сделаешь. Сделаешь уже потому, что ты единственный человек во всем мире, который может это сделать. Правда, есть несколько других ученых, которые производят сейчас те же опыты, что и ты, которые, быть может, так же далеки, как и ты, а быть может, даже и дальше. Но они все нормальные люди, сухие, деревянные, – люди науки. Они бы меня высмеяли, если бы я пришел к ним со своей идеей, назвали бы меня дураком. Или выбросили меня за дверь, потому что я осмелился прийти к ним с такими вещами, – с такими идеями, которые они называют безнравственными, аморальными и кощунственными. Идеями, которыми опровергаются все законы природы. Но ты не такой, дядюшка, совсем не такой! Ты не будешь надо мной смеяться и не выбросишь за дверь. Тебя это так же заинтересует, как заинтересовало меня. И поэтому-то ты – единственный человек, который способен на это.

– Но на что же, на что, черт побери? – воскликнул тайный советник.

Студент поднялся, наполнил до краев оба бокала. «Чокнемся, старый колдун, – сказал он, – чокнемся, пусть новое молодое вино заструится в твоих старых жилах. Чокнемся, дядюшка, да здравствует – твой ребенок!» Он чокнулся с профессором, одним духом опорожнил свой стакан и подбросил его. Стакан разбился о потолок, но осколки беззвучно упали обратно на тяжелый, мягкий ковер.

Он пододвинул большое кресло: «А теперь, дядюшка, слушай, что я буду говорить. Тебе надоело, может быть, мое длинное вступление, не сердись. Оно помогло мне собрать мысли, конкретизировать их, чтобы я мог объяснить тебе все ясно и просто. Я думаю так: ты должен создать существо Альрауне, должен воплотить в действительность странное предание. Не все ли равно, что это суеверие средневековой фантазии, мистическая сказка древности? Ты сумеешь превратить старую ложь и новую истину! Ты создашь ее: она восстанет ясная в сиянии дня, доступная всему миру, – и ни один профессор не сможет ее отрицать. Слушай же, как ты должен это сделать!

Преступника, дядюшка, найти очень легко. По-моему, безразлично, умрет ли он на эшафоте или на кресте. Мы прогрессивные люди. Тюремный двор и наша гильотина гораздо удобнее. Удобнее и для тебя: благодаря твоим связям не трудно найти дорогой материал и вырвать у смерти новую жизнь. А земля? Ведь она лишь символ, она – плодородие. Земля-это женщина, она вскармливает семя, которое повергается в ее чрево, вскармливает его, дает взрасти, расцвести и принести плоды. Так возьми же то, что плодородно, как земля,

как мать-земля, – возьми женщину. Но земля также и вечная проститутка – она служит всем, она вечная мать, она вечно-готовая женщина для бесконечных миллиардов людей. Никому не отказывает она в своем развратном теле: каждому, кто хочет овладеть ею. Все, что имеет жизнь, оплодотворяет ее чрево, оплодотворяет тысячи и десятки тысяч лет. И поэтому, дядюшка, ты должен найти проститутку, – должен взять самую бесстыдную, самую наглую из всех, должен взять такую, которая рождена для разврата. Не такую, которая продает тело из нужды, которую кто-нибудь соблазнил. Нет, не такую. Возьми женщину, которая была проституткой еще тогда, когда училась ходить, такую, которой позор ее кажется радостью и для которой в нем только и жизнь. Ее чрево будет такое же, как чрево земли. Ты богат – ты найдешь, наверняка найдешь. Ты и сам ведь не школьник в таких вещах, ты можешь дать ей много денег, купить ее для этого опыта. Если она будет действительно подходящей, она будет покатываться со смеха, прижмет тебя к своей жирной груди и зацелует от радости, ибо ты предложишь то, чего не предлагал ей ни один человек-до тебя! Что нужно делать потом, ты знаешь лучше меня. Тебе удастся сделать с человеком то же самое, что ты делаешь с обезьянами и морскими свинками. Нужно быть только готовым уловить тот момент, когда голова преступника, изрыгая проклятия, отделится от туловища".

Он вскочил, облокотился на стол и пристально, пронизывающе посмотрел на старика. Тайный советник поймал его взгляд и быстро отпарировал. Все равно как грузная, кривая турецкая сабля, скрепляющаяся с ловким флореттом.

– Ну а потом, племянник? – сказал он. – Что потом? Когда ребенок родится на свет? Что будет тогда?

Студент задумался. Потом ответил медленно, точно отчеканивая каждое слово:

– Тогда-у нас будет – волшебное существо.

Голос звучал тихо, но звучно и гибко, точно звуки скрипки.

– Мы увидим тогда, сколько правды в древнем предании. Сможем заглянуть в глубочайшие тайники природы.

Тайный советник открыл было рот, но Франк Браун прервал его, не дав говорить.

– Тогда мы увидим, есть ли действительно что-нибудь, что сильнее всех известных нам законов. Мы увидим, стоит ли жить этой жизнью – стоит ли нам ею жить.

– Стоит ли нам? – повторил профессор.

Франк Браун ответил: «Да, дядюшка, – нам! Нам, тебе, мне и тем нескольким сотням людей, которые стоят над жизнью. И которые все же принуждены идти по дороге, которою идет огромное стадо».

Он вдруг резко спросил: «Дядюшка, ты веришь в Бога?»

Тайный советник нетерпеливо передернул губами. «Верю ли я в Бога? При чем тут это?»

Но племянник настаивал на ответе, не давая времени даже подумать: «Отвечай же, дядюшка, отвечай: веришь ли ты в Бога?» Он нагнулся к старику и не сводил с него глаз.

Тайный советник ответил: «Какое тебе дело до этого? Своим разумом – после всего того, что я изучил и открыл, – я, безусловно, в Бога не верю. Разве только чувством, но ведь чувство-это нечто, совершенно не поддающееся контролю, нечто!»

– Да, да, дядюшка, – перебил его студент, – так чувством, значит, все-таки.

Но профессор все еще не сдавался и беспокойно ерзал в кресле. «Ну, если уж говорить откровенно-то иногда, правда, редко, через большие промежутки...».

Франк Браун вскричал: «Ты веришь – несомненно веришь в Бога!! О, я это знал. Все Бринкены, все веруют, все вплоть до тебя».

Он поднял голову, раздвинул губы и показал ряд блестящих зубов. И продолжал опять, подчеркивая каждое слово: «Тогда ты сделаешь это, дядюшка. Тогда ты должен это сделать. Ничто не спасет тебя, ибо тебе дано нечто – что дается одному из миллиона людей».

Он замолк и зашагал крупными шагами по большому залу. Потом взял шляпу и подошел к старику.

– Спокойной ночи, дядюшка, – сказал он, – так ты это сделаешь?

Он протянул руку.

Но старик не заметил. Он тупо смотрел в пространство и о чем-то напряженно думал.

– Не знаю, не знаю, – ответил он наконец.

Франк Браун взял со стола человечка и протянул старику. Его голос звучал иронически и высокомерно. «Вот, посоветуйся с ним! – Но потом через мгновение его тон изменился. Он тихо добавил: – Я знаю, ты это сделаешь».

Он быстро направился к двери. Еще раз остановился. Обернулся и снова вернулся назад.

– Еще одно, дядюшка! Если ты это сделаешь...

Но тайный советник прервал его: «Не знаю, сделаю ли!»

– Хорошо, – ответил студент. – Я ведь больше не спрашиваю. Только в случае если ты это сделаешь – ты должен мне кое-что обещать.

– Что именно? – спросил профессор.

Тот ответил: «Не приглашай княгиню в качестве зрительницы».

– Почему? – спросил тайный советник. И Франк Браун ответил мягко, но серьезно и строго: «Потому что – потому что дело это – слишком – серьезно».

Он ушел.

Он вышел из дому и пошел к воротам, лакей отворил ему и, громыкая замком, запер за ним. Франк Браун вышел на дорогу. Остановился перед изображением святого и пытливым взглядом посмотрел на него.

– О дорогой мой святой, – сказал он. – Тебе приносят цветы, льют свежее масло в лампаду. Но не этот дом заботится о тебе. Здесь тебя ценят разве только как археологическую древность. Хорошо еще, что народ чтит твою силу. Ах, милый святой, тебе легко охранять деревню от наводнения – раз она в трех четвертях часа от Рейна. И особенно теперь, когда Рейн так успокоился и струится меж каменных стен. Но попробуй же, о старый Непомук, охранить этот дом от потока, который нахлынет на него и разрушит. Я люблю тебя, милый святой, потому что ты покровитель моей матери. Ее зовут Иоганной Непомуценой, у нее есть еще имя – Губертина, в знак того, чтобы ее не могла искушать бешеная собака. Ты помнишь еще, как родилась она в этом доме в день, посвященный тебе? Поэтому-то она и носит твоё имя – Иоганна Непомуцена! И потому, что я люблю тебя, милый святой, и ради нее я хочу тебя предостеречь. Там внутри сегодня ночью поселился святой – в сущности говоря, полная противоположность святому. Маленький человечек не из камня, как ты, и не одетый красиво в длинную мантию, – он деревянный и совершенно голый. Но он так же стар, как и ты, может быть, еще старше. Говорят, он обладает чудодейственной силой. Так попробуй же, святой Непомук, покажи свою силу! Кто-нибудь из вас должен пасть, ты или тот человечек: пусть же решится, кто из вас будет господином над домом тен-Бринкенов. Покажи же, милый святой, на что ты способен.

Франк Браун снял шляпу и перекрестился. Потом тихо, сухо рассмеялся и быстро зашагал по дороге. Вышел в поле и полной грудью стал вдыхать свежий ночной воздух. Дойдя до города, он пошел по улицам под цветущими каштанами и здесь замедлил шаг. Он шел задумавшись, слегка напевая про себя.

Но вдруг остановился. С минуту колебался. Потом повернулся. Быстро свернул налево. Опять остановился и оглянулся по сторонам. Потом быстро взобрался на низкую стену и спрыгнул на другую сторону. Побежал по тихому саду к большой красной вилле. Там остановился и взглянул вверх. Его резкий короткий свист прорезал ночную тишину, два-три раза, быстро, один за другим.

Где-то залаяла собака. Но вверху тихо распахнулось окошко, и в белом ночном одеянии показалась белокурая женщина. Ее голос прошептал в темноте: «Это ты?»

Он ответил: «Да, да!» Она скользнула в комнату, но тотчас же снова вернулась. Взяла носовой платок, что-то завернула в него и бросила вниз.

– Вот, мой дорогой, тебе ключ! Но будь потише, как можно потише, чтобы не проснулись родители!

Франк Браун взял ключ и поднялся по маленькой мраморной лестнице, открыл дверь и вошел в комнату.

ГЛАВА 4, которая рассказывает, как они нашли мать Альрауне.

Франк Браун сидел на гауптвахте. Наверху в Эренбрейтштейне. Сидел уже около двух месяцев и должен был сидеть еще три. Все лишь за то, что он выстрелил в воздух, так же как и его противник.

Сидел он наверху у колодца, с которого открывался далекий вид на Рейн. Он болтал ногами, смотрел вдаль и зевал. То же самое делали и трое товарищей, сидевших вместе с ним.

Никто не говорил ни слова.

На них были желтые куртки, купленные у солдат. Денщики намалевали на их спинах огромные черные цифры, означавшие № камер. Тут сидели сейчас второй, четырнадцатый и шестой.

У Франка Брауна был № 7.

На скалу к колодцу поднялась группа иностранцев, англичан и англичанок, в сопровождении сержанта гауптвахты. Он показал им несчастных арестантов с огромными цифрами, – которые сидели с таким печальным видом. В иностранцах зашевелилось чувство жалости, с ахами и охами они стали расспрашивать сержанта, нельзя ли дать что-нибудь несчастным. Это строго запрещено. Но в своем великодушии он повернулся и стал показывать туристам окрестности. Вот Кобленц, сказал он, а позади него Нейштадт. А там внизу у Рейна...

Между тем подошли дамы. Несчастные арестанты заложили руки за спину, держа их как раз под номерами. В протянутые ладони тотчас же посыпались золотые монеты, папиросы и табак. Нередко попадались и визитные карточки с адресами.

Игру выдумал Франк Браун и к общему удовольствию ввел ее здесь.

– В сущности, это довольно-таки унижительно, – заметил № 14, ротмистр барон Флехтгейм.

– Ты идиот, – ответил Франк Браун, – унижительно только то, что мы считаем себя такими аристократами, что отдаем все унтер-офицерам и ничего не оставляем себе. Если бы хоть по крайней мере эти проклятые английские папиросы не так пахли духами. – Он посмотрел на добычу. – Ага! Опять совершен. Сержант будет рад. Бог мой, мне бы и самому он пригодился!

– Сколько ты вчера проиграл? – спросил № 3.

Франк Браун засмеялся: «Ах – всю свою вчерашнюю получку. И еще вдобавок подписал векселей на несколько сотен, Черт бы побрал эту игру!»

№ 6 был юным поручиком, почти мальчиком, кровь с молоком. Он вздохнул глубоко: «Я тоже продурлся».

– Ну а, по-твоему, мы не проигрались? – огрызнулся на него № 14. – И только подумать, что бродяги кутят теперь на наши деньги в Париже. Сколько, по-твоему, они там пробудут?

Доктор Клаверьян, морской врач, арестант № 12, заметил:

– По-моему, дня три. Дольше они не смогут остаться, а то отсутствие их будет замечено. Да и на более долгое время не хватило бы денег".

Те трое были № 4, № 5 и № 12. В последнюю ночь они много выиграли и тотчас же рано утром спустились вниз, стараясь не опоздать к парижскому поезду. Они отправились – немного развлечься, как это называлось в крепости.

– Что же мы предпримем сегодня? – спросил № 14.

– Напряги хоть раз свои пустые мозги, – сказал Франк Браун ротмистру. Он спрыгнул со стены и пошел через казарменный двор в офицерский сад. Он был в дурном настроении и громко что-то насвистывал. Не из-за проигрыша – он проигрывал уже не в первый раз и это его мало трогало. Но жалкое пребывание здесь, невыносимое безделье!

Правда, крепостные правила были довольно свободны, и, во всяком случае, не существовало ни одного, которое бы оскорбляло хоть как-нибудь господ арестантов. У них было свое собственное собрание, в котором стоял рояль и большой гармоний; они получали десятка два газет. У каждого свой денщик. Камеры просторные, чуть ли не залы; они платили за них государству по пфеннигу в день. Обеды они брали из лучшей гостиницы города и держали обильный винный погреб. Было только одно неудобство: нельзя запирать свою камеру изнутри. Это единственный пункт, к которому комендант крепости относился невероятно строго. С тех пор как в крепости произошло самоубийство, каждая попытка приделать изнутри камеры задвижку или крючок подавлялась немедленно.

– Что за дураки они все! – подумал Франк Браун. – Точно не может человек покончить с собою без всяких засовов! Это неудобство мучило его, отравляло радость существования. Быть в крепости одному было совершенно невыносимо. Он привязывал дверь веревками и цепочками, ставил перед нею кровать и другую мебель, но ничего не помогало: после продолжительной борьбы все разрушалось и разбивалось вдребезги товарищи торжествующе врывались в его камеру.

О, эти товарищи! Каждый из них был превосходнейшим и симпатичнейшим малым. С каждым из них можно без скуки поболтать наедине полчаса. Но вместе они были невыносимы, они пели, пили, играли по целым дням и ночам в карты. А кое-когда принимали у себя женщин, которых приводили услужливые денщики. Или предпринимали продолжительные экскурсии – вот и все геройские подвиги! Ни о чем другом они никогда и не говорили. Те, что сидели в крепости дольше других, были еще хуже. Они совсем погибали в этом бесконечном безделье. Доктор Бюрмеллер, застреливший своего шурина и сидевший здесь уже целых два года, и его сосед, драгунский лейтенант граф фон Валендар, на полгода больше наслаждавшийся прекрасным воздухом крепости.

А те, что поступали сюда вновь, уже через неделю уподоблялись другим. Кто был самым грубым и необузданным, тот пользовался наибольшим почетом. Почетом пользовался и Франк Браун. На второй же день он запер рояль, потому что не захотел больше слушать несносной «Весенней песни» ротмистра. Забрал ключ и бросил потом с крепостного вала. Он привез сюда и ящики с пистолетами и часто подолгу стрелял. Что же касается выпивки и ругательств, то он мог соперничать с кем угодно.

А ведь он, собственно, радовался этим летним месяцам в крепости. Он привез с собою целую кипу книг, новые перья и массу бумаги. Он думал, что сумеет здесь работать. Радовался заранее вынужденному одиночеству. Но за все время он не раскрыл ни одной книги, не написал даже письма. Он сразу втянулся в дикий, ребяческий хаос, который, однако, был противен ему, но из которого он не мог ни за что вырваться; он ненавидел своих товарищей, любого из них...

В саду появился денщик и откозырял:

– Господин доктор, письмо.

Письмо в воскресенье? Он взял его из рук солдата. Письмо было адресовано ему домой и оттуда переслано сюда. Он узнал тонкий почерк своего дяди. От него? Что ему вдруг понадобилось? Он помахал письмом в воздухе, – ах, ему захотелось отправить его обратно. Что ему за дело до старого профессора?! Да, это было последнее, что он от него видел с тех пор, как приехал вместе с ним в Ленденх, после того торжества у Гонтрамов. С тех пор, как он старался убедить его создать Альрауне, с тех пор – прошло больше двух лет.

О, как давно это было! Он перешел в другой университет, сдал все экзамены. А теперь сидел в этой лотарингской дыре в качестве референдаря. Работал ли он? Нет, он продолжал жизнь, которую вел студентом. Его любили женщины и все те, которым нравилась свободная жизнь и дикие нравы. Начальство относилось к нему неодобрительно. Правда, он работал иногда, но работу его начальство всегда называло ерундой. Как только появлялась возможность, он уезжал, отправлялся в Париж. Был больше у себя дома на Butte Sacree, чем в суде. Но, в сущности, он не знал, чем все это кончится. Несомненно только одно: никогда не выйдет из него юриста, адвоката, судьи, даже чиновника. Но что же ему предпринять? Он

жил изо дня в день, делал новые и новые долги. Он все еще держал в руках письмо: хотел открыть, но в то же время его тянуло что-то вернуть письмо нераспечатанным.

Это был бы известного рода ответ, – хотя и запоздалый, – на другое письмо, которое написал ему дядя два года назад вскоре после той ночи. С пятью другими студентами он в полночь проезжал через деревню, возвращаясь с пикника. Вдруг ему пришла в голову мысль пригласить их в дом тен-Бринкена. Они оборвали звонок, громко кричали и неистово ломались в железные ворота. Поднялся такой адский шум, что сбежалась вся деревня. Тайный советник был в отъезде, но лакей впустил их по приказанию племянника. Они отвели лошадей в конюшню. Франк Браун велел разбудить прислугу, приготовить ужин и сам отправился за винами в дядюшкин погреб.

Они пировали, пили и пели, буйствовали в доме и в саду, шумели и ломали все, что только попадалось под руку. Только рано утром уехали они с тем же криком и шумом, повиснув на своих лошадях, точно дикие ковбои, и некоторые – словно мешки с мукой. Молодые люди вели себя, как свиньи, доложил Алоиз тайному советнику.

Тем не менее другое рассердило профессора, – про это он ни слова не сказал бы. Но на буфете лежали яблоки, свежие груши и персики из его оранжерей. Редкие плоды, взращенные с невероятными трудностями. Первые плоды новых деревьев, – они лежали там в вате на золотых тарелках и созревали. Но студенты не сочли нужным считаться со стараниями профессора и беспощадно набросились на добычу. Одни откусывали по кусочку, но, убедившись, что те еще не успели, кидали их на пол.

Профессор написал племяннику недовольное письмо и просил его не переступать больше порога его дома. Франк Браун был глубоко оскорблен, проступок казался ему пустою безделицей. Ох, если бы письмо, которое он сейчас держал в руке, пришло туда, куда оно адресовано, в Мец или даже на Монмартр, – ни минуты не колеблясь, отослал бы его обратно нераспечатанным.

Но здесь, здесь – в этой невыносимой скуке?

Он решил.

– Во всяком случае, хоть какое-нибудь развлечение, – повторил он и распечатал письмо. Дядя сообщал ему, что при зрелом размышлении он решил последовать совету, данному племянником. У него имеется уже подходящий объект для отца: прошение о пересмотре дела убийцы Неррисена оставлено без последствий, и нужно думать, что и прошение о помиловании будет также отклонено. Он ищет теперь только мать. Он сделал несколько попыток, но они не привели ни к каким результатам. По-видимому, не так-то легко найти что-нибудь подходящее. Но время не ждет, и он спрашивает племянника, не хочет ли тот помочь в этом деле.

Франк Браун повернулся к денщику.

– Что, почтальон еще здесь? – спросил он.

– Так точно, господин доктор, – ответил солдат.

– Скажи, чтобы подождал. Вот, дай ему на чай. Он пошарил в кармане и наконец нашел монету. С письмом в руках он быстро пошел к крепости, но едва он достиг казарменного двора, как навстречу показалась жена фельдфебеля, а позади нее телеграфист.

– Для вас телеграмма, – сказала она.

Телеграмма была от доктора Петерсена, ассистента тайного советника. Она гласила: «Его превосходительство сейчас Берлине, гостинице „Рим“. Ждем немедленного ответа, можете ли приехать».

Его превосходительство? Так, значит, дядюшка стал превосходительством! Поэтому-то, наверное, он и в Берлине, в Берлине – ах, жалко, лучше бы он поехал в Париж, там, наверное, легче найти что-нибудь, и, во всяком случае, более подходящее, нежели здесь...

Но безразлично, Берлин – так Берлин. Во всяком случае, хоть какая-то перемена. Он задумался на минуту. Он должен уехать, уехать сегодня же вечером. Но – у него нет ни гроша. У товарищей тоже.

Он посмотрел на жену фельдфебеля. «Послушайте... – начал он, но вовремя удержался: – Дайте ему на чай и запишите на мой счет».

Он отправился в свою комнату, упаковал чемодан и велел денщику отнести его тотчас же на вокзал и ждать там. Потом сошел вниз.

В дверях стоял фельдфебель, смотритель тюрьмы. Он ломал руки и, по-видимому, был страшно взволнован. «Вы тоже хотите уехать, господин доктор? – жалобно спросил он. – А тех трех господ уже нет, они в Париже, за границей! Господи, чем все это только кончится? Я попадусь, ведь я один – на мне вся ответственность».

– Ну, не так страшно, – ответил Франк Браун, – я уезжаю всего на два дня. Тогда, наверное, уже вернутся и те. Фельдфебель начал опять: «Да ведь я не из-за себя только. Мне все равно, но другие мне завидуют. А сегодня как раз будет дежурить сержант Беккер. Он...»

– Он будет молчать, – возразил Франк Браун, – он только что получил от нас больше тридцати марок – милосердное подаяние англичан. Впрочем, я зайду в Кобленце в комендантское управление и возьму отпуск. Ну, вы довольны?

Но смотритель вовсе не был доволен: «Как? В управление? Помилуйте, господин доктор! Ведь у вас нет пропуска в город. А вы еще хотите в комендантское управление!»

Франк Браун рассмеялся: «Именно туда-то я и пойду. Я хочу призанять деньжонок у коменданта».

Фельдфебель не произнес ни слова, – стоял неподвижно точно окаменев, с широко раскрытым ртом.

– Дай-ка мне десять пфеннигов, – крикнул Франк Браун денщику, – мне надо заплатить у моста. Он взял монету и быстрыми шагами пошел к двери. Оттуда через офицерский сад, перелез через стену, нашарил на другой стороне сук огромного дуба и спустился по стволу. Потом пробрался к реке.

Через двадцать минут он был уже внизу. По этой дороге они обыкновенно прокрадывались во время ночных прогулок. Он пошел вдоль Рейна до моста, а потом направился в Кобленц. Явился в комендантское управление, узнал, где квартира генерала, и поспешил туда. Послал свою визитную карточку и велел сказать, что пришел по крайне важному делу.

– Чем могу служить?

Франк Браун сказал: «Простите, ваше превосходительство, я арестованный с гауптвахты».

Старый генерал недовольно посмотрел на него, видимо, рассерженный неожиданным ответом.

– Что вам угодно? Да и как вы пришли в город? У вас есть пропуск?

– Есть, ваше превосходительство, – ответил Франк Браун. – Пропуск в церковь. Он лгал, но знал хорошо, что генералу нужен только какой-нибудь ответ. «Я пришел просить ваше превосходительство дать мне отпуск на три дня в Берлин. Мой дядя умирает».

Комендант вспыхнул: «Какое мне дело до вашего дяди? Нет, невозможно! Вы сидите там наверху не для своего удовольствия, а потому, что нарушили законы государства, понимаете? Всякий может прийти и сказать – что у него умирает дядя или тетка. Если бы это, по крайней мере, были родители, я еще понимаю! Я принципиально отказываю вам в отпуске!»

– Покорно благодарю, ваше превосходительство, – ответил Франк Браун. – Тогда я немедленно телеграфирую своему дяде

"Его превосходительству действительному тайному советнику профессору тен-Бринкену, что его единственному племяннику не разрешают приехать, чтобы закрыть его усталые глаза.

Он поклонился и направился к двери. Но генерал удержал его. Он этого ждал.

– Кто ваш дядя? – спросил он, колеблясь в нерешительности.

Франк Браун повторил имя и громкий титул, вынул из кармана телеграмму и протянул коменданту: «Мой бедный дядюшка приехал в Берлин делать операцию, но она, к несчастью,

прошла неудачно».

– Гм! – заметил комендант. – Поезжайте, молодой человек, поезжайте скорее. Быть может, его еще удастся спасти.

Франк Браун состроил плачевную мину и сказал: «Все зависит от Бога. Если моя молитва дойдет до Него... – Он подавил глубокий вздох и продолжал: – Благодарю вас, ваше превосходительство. Но у меня есть еще одна просьба».

Комендант вернул ему телеграмму.

– В чем дело? – спросил он.

Франк Браун решился сказать прямо.

– У меня нет денег на дорогу. Я хочу просить ваше превосходительство одолжить мне триста марок.

Генерал недоверчиво посмотрел на него.

– Нет денег, гм – так, так – нет денег? Но ведь вчера было первое! Разве вы не получили?

– Нет, получил, ваше превосходительство, – ответил он поспешно. – Но ночью все проиграл.

Старый комендант рассмеялся. «Так вам и нужно, злодей. Значит, вы хотите триста марок?»

– Да, ваше превосходительство. Мой дядюшка будет, конечно, очень обрадован, если я передам ему, что ваше превосходительство помогли мне выйти из затруднительного положения.

Генерал повернулся, подошел к несгораемому шкафу, открыл его и вынул три кредитных билета, подал Брауну перо и заставил написать расписку; потом дал деньги. Тот взял их, слегка поклонился:

– Крайне обязан, ваше превосходительство!

– Не стоит благодарности, – ответил комендант. – Поезжайте и возвращайтесь вовремя. Кроме того, передайте от меня сердечный привет его превосходительству.

Еще раз «Крайне обязан, ваше превосходительство». Потом последний поклон – и Франк Браун вышел из комнаты. Одним взмахом перескочил он шесть ступеней лестницы и еле удержался, чтобы не испустить радостный крик.

– Ну, пока все благополучно. – Он подозвал экипаж и поехал на вокзал в Эренбрейштейн. Посмотрел там расписание и увидел, что ждать еще около грех часов. Он подозвал денщика, сторожившего чемодан, велел ему скорее сбегать наверх и позвать в «Красный петух» поручика фон Плессена.

– Смотри только, не спутай, – добавил он. – Того молодого господина, который приехал недавно, у него на спине №6. Подожди-ка! Твои десять пфеннигов принесли уже проценты. – Он кинул ему десятимарковую монету.

Он отправился в ресторан, долго обдумывал меню и заказал наконец изысканный ужин. Сел у окна и стал смотреть на бесконечную толпу обывателей, гулявших по берегу Рейна.

Наконец появился поручик.

– Ну, в чем дело?

– Садись, – ответил Франк Браун. – Но молчи и не спрашивай, ешь, пей и будь доволен. – Он дал ему стомарковый билет: – Вот, заплатишь за ужин. А сдачу возьми себе и скажи там наверху, что я уехал в Берлин – получил отпуск. По всей вероятности, я опоздаю и приеду не раньше конца недели.

Белобрысый поручик посмотрел на него с почтительным удивлением: «Скажи, пожалуйста, как тебе удалось все устроить?»

– Это тайна, – ответил Франк Браун. – Но все равно вы бы ею не сумели воспользоваться, если бы я даже вам рассказал. Еще раз его превосходительство надуть не удастся. Твое

здоровье! Поручик проводил его на вокзал, помог внести чемодан и долго еще махал ему шляпой и носовым платком. Франк Браун отошел от окна и забыл в ту же минуту и

маленького поручика и своих товарищей, и крепость. Он разговорился с кондуктором и расположился в купе. Потом закрыл глаза и заснул.

Кондуктору пришлось его долго расталкивать, пока он проснулся.

– Сейчас вокзал Фридрихштрассе.

Он собрал вещи, вышел из вагона и поехал в отель. Велел дать комнату, принял ванну, переоделся. И сошел вниз, в ресторан.

В дверях его встретил доктор Петерсен.

– Ах, это вы, господин доктор, – воскликнул он. – Как обрадуется его превосходительство. Его превосходительство! Опять его превосходительство. Это слово резало слух.

– Как поживает дядюшка? – спросил он. – Ему лучше?

– Его превосходительство вовсе не болен.

– Ах, вот как, – заметил Франк Браун. – Вовсе не болен?!

Жаль, – я думал, что дядюшка умирает. Доктор Петерсен посмотрел с изумлением:

– Я вас не понимаю...

Но он перебил: «Совсем и не нужно. Мне только жаль, что профессор не на смертном одре. Это было бы очень мило. Я бы похоронил его тут. Конечно, при условии, если бы он не лишил меня наследства. Хотя это очень возможно – и даже вполне вероятно. – Он увидел недоумевающее лицо врача и насладился его смущением. Потом продолжал: – Но скажите, доктор, с каких пор мой дядюшка стал его превосходительством?»

– Уже четыре дня, по случаю...

Он перебил:

– Уже четыре дня? А сколько лет вы у него в качестве правой руки?

– Десять лет, – ответил доктор Петерсен.

– Целых десять лет вы его называли тайным советником, я теперь в четыре дня он успел настолько стать его превосходительством, что вы не можете его себе иначе представить?

– Простите, господин доктор, – возразил ассистент смущенно и робко, – что вы, собственно, хотите этим сказать?

Но Франк Браун взял его под руку и повел к столу: «О, я хочу только сказать, что вы вполне светский человек. Вы любите всякие условности, у вас врожденный инстинкт к изысканной светскости. Вот что хотел я сказать. А теперь, доктор, давайте позавтракаем, и вы мне расскажете, что вам удалось уже сделать».

Вполне удовлетворенный, доктор Петерсен сел. Он примирился со странным тоном молодого человека. Ведь этот юный референдарий, которого он знал еще мальчиком, такой ветрогон, сорвиголова. И к тому же он все-таки племянник его превосходительства.

Ассистенту было тридцать шесть лет. Он был среднего роста. Франку Брауну казалось, что все «средне» в этом человеке: не велик и не мал его нос, не уродливо, но и не красиво лицо. Он уже не молод, но и не стар, волосы не совсем темные, но и не совсем еще седые. Сам он не глуп, но и не умен, не особенно скучен, но и не особенно интересен. Одет не элегантно, но и не так уж плохо. Во всем воплощал он золотую середину: он был именно таким человеком, какой нужен тайному советнику. Хороший работник, достаточно умный, чтобы понимать и делать, что от него требовали, и притом не настолько интеллигентный, чтобы выходить из отведенных ему рамок и проникать в суть той запутанной игры, которую вел его патрон.

– Сколько вы получаете у дядюшки? – спросил Франк Браун.

– Не очень-то много, но во всяком случае достаточно, – слышалось в ответ. – Я доволен. К новому году я получил опять четыреста марок прибавки. – Он заметил к своему удивлению, что Франк Браун начал завтрак с десерта: съел яблоко и тарелку вишен.

– Какие сигары вы курите? – продолжал допытываться референдарий.

– Какие сигары? Средние, не слишком крепкие... – Он перебил себя. – Но почему вы об этом спрашиваете?

– Так, – ответил референдарий, – мне интересно... Но расскажите же, что вы, собственно, успели подготовить к нашему делу. Доверил ли вам профессор свой план? Конечно, – с гордостью сказал доктор Петерсен, – я единственный человек, который знает об этом, – кроме вас, разумеется. Опыт имеет огромное научное значение.

Франк Браун закашлялся: «Гм, вы думаете?»

– Безусловно, – ответил врач. – Прямо-таки гениально, как его превосходительство все устроил и подавил возможность каких-либо нападок. Вы ведь знаете, как нужно остерегаться. Вообще на нас, врачей, всегда нападает публика за различные опыты, безусловно, необходимые. Вот, например, вивисекция. Господи, люди буквально не переносят этого слова. Эксперименты с возбудителями болезней, прививками и так далее словцо сучок в глазу для прессы. Тогда как мы производим опыты почти исключительно над животными. Что же было бы теперь, когда вопрос идет об искусственном оплодотворении, и тем более человека? Его превосходительство нашел единственную возможность: он берет приговоренного к смерти преступника и проститутку, которой дает за это вознаграждение. Посудите же сами: за такой материал не вступится самый гуманный пастор.

– Действительно, гениально, – подтвердил Франк Браун. – Вы совершенно правы, преклоняюсь перед изобретательностью вашего патрона.

Доктор Петерсен рассказал, что его превосходительство с его помощью делал в Кельне различные попытки найти подходящую женщину, но все они были безуспешны. Оказалось, что в тех слоях населения, из которых обычно выходят эти существа, господствуют совершенно своеобразные понятия об искусственном оплодотворении. Им не удалось толком объяснить женщинам сущность дела, – не говоря уже о том, чтобы побудить какую-либо из них заключить договор. А между тем его превосходительство пускал в ход все свое красноречие, доказывал самым очевидным образом, что, во-первых, нет ни малейшей опасности, во-вторых, что они могут заработать хорошие деньги и, наконец, в-третьих, могут оказать огромную услугу медицине.

– Одна даже закричала во все горло: на всю науку ей... – она употребила очень некрасивое выражение.

– Фу! – заметил Франк Браун, – как она только могла!

– Но тут как раз подвернулся удобный случай, его превосходительство должен был поехать в Берлин на интернациональный гинекологический конгресс. Здесь, в столице, представится, несомненно, гораздо более богатый выбор. Кроме того, нужно полагать, что и понятия здесь не такие отсталые, как в провинции. Даже в этих кругах здесь, наверное, не такой суеверный страх перед всем новым и, вероятно, больше практического понимания материальных выгод и больше идеального интереса к науке.

– Особенно последнего, – подчеркнул Франк Браун.

Доктор Петерсен согласился. Просто невероятно, с какими устарелыми воззрениями пришлось им столкнуться в Кельне.

Любая морская свинка, любая обезьяна бесконечно разумнее и понятливее, чем все эти женщины. Он совершенно отчаялся в высоком интеллекте человечества. Но он надеется, его поколебленная вера снова укрепитесь здесь.

– Без всякого сомнения, – подтвердил Франк Браун. – Действительно, было бы величайшим позором, если бы берлинские проститутки спасовали перед обезьянами и морскими свинками. Скажите, когда придет дядюшка? Он уже встал?

– Давно, – любезно ответил ассистент. – Его превосходительство уже вышел: у него в десять часов аудиенция в министерстве.

– Ну, а потом? – спросил Франк Браун.

– Я не знаю, сколько он там пробудет, – ответил доктор Петерсен. – Во всяком случае, его превосходительство просил ждать его в два часа на заседании конгресса. В пять часов у него опять важное свидание здесь, в отеле, с несколькими берлинскими коллегами. А в семь часов его превосходительство будет обедать у директора. Быть может, вы в этот промежуток его повидаете...

Франк Браун задумался. В сущности, очень приятно, что дядюшка занят весь день: не нужно было и думать о нем. «Будьте добры передать дядюшке, – сказал он, – что мы встретимся с ним в одиннадцать часов вечера здесь внизу, в отеле».

– В одиннадцать? – Ассистент сделал озабоченное лицо. – Не слишком ли поздно? Его превосходительство в это время уже ложится спать. И особенно после такого утомительного дня!

– Его превосходительству придется лечь сегодня немного позднее. Будьте добры передать ему это, – категорически заявил Франк Браун. – Одиннадцать часов совсем не поздно для наших целей – скорее даже несколько рано. Назначим же лучше в двенадцать. Если бедный дядюшка слишком устанет, он может до тех пор немного поспать. А теперь, доктор, будьте здоровы – до вечера. – Он встал, поклонился и вышел. Он закусил губы и почувствовал вдруг, как глупо было все то, что он тут говорил добродушному доктору. Как мелочна была ирония, как дешевы остроты. Ему стало стыдно. Нервы его требовали какого-нибудь дела – а он болтал чепуху; мозг его излучал искры – а он делал потуги на остроумие.

Доктор Петерсен долго смотрел ему вслед. «Какой он заносчивый, – сказал он сам себе. – Даже руки не подал». Он налил еще кофе, подбавил молока и намазал аккуратно бутерброд. А потом подумал с искренним убеждением: заносчивость к добру не ведет.

И, как нельзя более удовлетворенный своей обывательской мудростью, стал есть хлеб и поднес ложку к губам. Был почти час ночи, когда явился Франк Браун.

– Прости, дядюшка, – сказал он небрежно.

– Да, племянничек, – заметил тайный советник, – долго заставляешь себя ждать.

Франк Браун широко раскрыл глаза: «Я был очень занят, дядюшка. Впрочем, ведь ты тут ждал не из-за меня, а из-за своих собственных планов».

Профессор посмотрел на него недовольно.

– Послушай!... – Начал было он. Но овладел собою. – Впрочем, оставим. Благодарю тебя во всяком случае, что приехал мне помочь. Ну, пойдем.

«Нет, – заявил Франк Браун все с тем же ребяческим упрямством. – Мне хочется выпить сначала стакан виски, у нас еще времени много». Доводить все до крайних пределов было в его натуре. Чувствительный к малейшему слову, к малейшему упреку, он все же любил быть упрямым до дерзости со всеми, с кем встречался. Он постоянно говорил самую грубую правду, а сам не мог переносить даже намека на нее. Он чувствовал, что задевает старика. Но именно тот факт, что дядюшка рассердился, что он так серьезно и даже трагически относился к его ребяческим выходкам, – это именно и оскорбляло его. Ему казалось чуть ли не унижительным, что профессор не понимает его, что не может проникнуть в его белокурую упрямую голову, и он невольно должен был с этим бороться, должен был доводить до конца свои капризы. Ему пришлось еще плотнее надвинуть на себя маску и идти по тому пути, который обрел на Монмартре: «*Ecraser les bourgeois!*» Он медленно опорожнил стакан и поднялся небрежно, точно меланхолический принц, которому скучно. «Ну, если хотите! – Он сделал жест, точно говорил с кем-то, стоящим гораздо ниже его. – Кельнер, прикажите подать экипаж».

Они поехали. Тайный советник молчал; его нижняя губа свешивалась вниз, а на щеках под глазами виднелись большие мешки. Огромные уши выдавались в обе стороны; правый глаз отливал каким-то зеленоватым блеском. «Он похож на сову, – подумал Франк Браун, – на старую уродливую сову, которая ждет добычи».

Доктор Петерсен сидел напротив на скамеечке, широко раскрыв рот. Он не понимал всего этого, – этого непозволительного отношения племянника к его превосходительству.

Но молодой человек скоро обрел обычное равновесие. «Ах, к чему сердиться на старого дядюшку? Ведь и у него есть свои хорошие стороны».

Он помог выйти профессору из экипажа.

– Приехали! – воскликнул он. – Пожалуйста.

На большой вывеске, освещенной дуговым фонарем", красовалось: «Кафе Штерн». Они

вошли, прошли мимо длинных рядов маленьких мраморных столиков, через толпу кричавших и шумевших людей. Найдя наконец свободное место, они уселись.

Здесь был целый базар. Вокруг сидело множество проституток, разряженных в пух и прах, с огромными шляпами, в пестрых шелковых блузках. Исполинские груды мяса, ожидавшие покупателя, точно разложенные во всю ширь, как в окнах мясной.

– Это достойное заведение? – спросил тайный советник.

Племянник покачал головою. «Нет, дядюшка, далеко нет, мы едва ли даже найдем тут, что нам нужно. Здесь еще все хорошо. Нам придется спуститься пониже».

У рояля сидел человек в засаленном потертом фраке и играл один танец за другим. По временам посетители были недовольны его игрой. Пьяные начинали кричать. Но явился директор и заявил, что ничего подобного не должно иметь места в приличном учреждении.

Тут было много приказчиков, несколько мирных обывателей из провинции, – они казались самим себе очень передовыми людьми и до крайности безнравственными в разговорах с проститутками. А между столами шныряли неряшливые кельнеры, подавали стаканы и чашки. А иногда и большие графины с водой. К столику подошли две женщины, попросили угостить их кофе. Беспрепятственно уселись и заказали.

– Быть может, блондинка, – шепнул доктор Петерсен.

Но Франк Браун покачал головою: «Нет, нет – совсем не то, что нам нужно. Это только мясо. Тогда уж лучше остаться вам с обезьянами».

Он обратил внимание на одну маленькую женщину, сидевшую сзади, поодаль. Она была смуглая с черными волосами; глаза ее горели огоньком сладострастия. Он встал и знаком позвал ее в коридор. Она покинула своего собеседника и подошла к нему.

– Послушай-ка... – начал он.

Но она поспешно ответила: «На сегодня у меня уже есть кавалер. Завтра, если хочешь».

– Брось его, – настаивал он, – пойдем, возьмем кабинет.

Это было очень заманчиво.

– Завтра, – нельзя ли, миленький, завтра? – спросила она. – Право, я сегодня не могу, это старый клиент, он платит двадцать марок.

Франк Браун взял ее за руку: «Я заплачу больше, гораздо больше, – понимаешь? Ты можешь сделать карьеру? Это не для меня – а для старика, вот видишь, там. И дело совсем особенное».

Она замолчала и посмотрела на тайного советника.

– Вот этот? – спросила она разочарованно. – Чего же он хочет?

– Люси, – закричал ее спутник.

– Иду, иду, – ответила она. – Ну, так еще раз – сегодня я не могу. А завтра поговорим, если хочешь. Приходи сюда в это время.

– Глупая женщина, – пробормотал он.

– Не сердись. Он убьет меня, если я с ним не пойду. Он всегда такой, когда напивается. Приходи завтра, слышишь? И брось старика, приходи один. Тебе не нужно даже платить, если не можешь.

Она оставила его и подбежала к своему столику. Франк Браун видел, как черный господин начал ее упрекать. О да, она должна остаться верной ему по крайней мере, на эту ночь.

Он медленно пошел по зале, разглядывая женщин. Но не нашел ни одной, которая показалась бы ему более или менее подходящей. Повсюду были еще видны следы буржуазной порядочности, какое-то воспоминание о принадлежности к обществу. Нет, нет, тут не было ни одной, которая освободилась бы от всего, которая дерзко, самоуверенно идет своею дорогою: «Смотрите на меня – я проститутка». Он затруднялся даже определить точно, чего, в сущности, искал. Он только чувствовал. Она должна быть такой, думал он, должна принадлежать сюда и никуда больше. Не как все эти, которых привлекла какая-нибудь слепая случайность. С тем же успехом они могли бы стать порядочными женщинами, работницами, горничными, манекенщицами или даже телефонистками, если бы

только ветер жизни подул в другую сторону. Все они были проститутками только потому, что их делала проститутками грубая животность мужчин.

Нет, нет, – та, которую он искал, должна быть проституткой потому, что не может быть никем другим. Потому что кровь ее так устроена, потому что каждый кусочек тела ее жаждет постоянно новых объятий, потому что в объятиях одного ее душа уже жаждет поцелуев другого. Она должна быть проституткой так же, как он... Он задумался: кто же он, в сущности?

Утомленно и нехотя он подумал: «Ну, так же, как я, – фантазером».

Он повернулся к столу.

– Пойдем, дядюшка, здесь нет ничего!

Тайный советник запротестовал было, но племянник настаивал на своем.

– Пойдем, дядюшка, – повторил он, – я обещал найти, что тебе нужно, и найду.

Они встали, расплатились и пошли по улице по направлению к северу.

– Куда? – спросил доктор Петерсен. Франк Браун не ответил, он шагал вперед и рассматривал большие вывески кафе. Наконец остановился.

– Здесь, – сказал он.

В грязном кафе не было даже претензии на внешний лоск. Правда, стояли посредине маленькие белые мраморные столики, красные плюшевые диваны. Здесь тоже горели повсюду электрические лампы и тоже шныряли неряшливые кельнеры в засаленных фраках. Но все выглядело так, будто и не хочется быть иным, чем кажется.

Было накурено, душно, – но все чувствовали себя, однако, свободно и приятно в этой атмосфере. Не церемонились, держались так, как хотели.

За соседним столиком сидели студенты. Пили пиво, перекидывались циничными замечаниями с женщинами. Цинизм их не знал пределов: из уст лился целый поток грязи. Один из них, маленький, толстый, с бесчисленными шрамами на лице, казался неисчерпаемым. А женщины ржали, покатывались со смеху и громко визжали.

Вокруг у стен сидели сутенеры и играли в карты или же молча смотрели по сторонам и насвистывали в такт пьяным музыкантам, пили водку. По временам с улицы заходила какая-нибудь проститутка, подходила к одному из них, говорила пару слов и вновь исчезала.

– Вот тут хорошо, – заметил Франк Браун. Он кивнул кельнеру, заказал вишневую воду и велел позвать к столу нескольких женщин.

Подшли четверо. Но только они сели, как он увидел еще одну, выходившую как раз из кафе. Высокая, стройная женщина в белой шелковой блузе; из-под небольшой шляпы выбивались пряди огненно-рыжих волос. Он быстро вскочил и бросился за нею на улицу.

Она перешла дорогу, небрежно, медленно, слегка покачивая бедрами. Повернула налево; зашла в ворота, над которыми красовался красный транспарант. Танцевальный зал «Северный полюс», прочел он.

Он последовал по грязному двору и почти одновременно с нею вошел в закопченный зал. Но она не обратила на него ни малейшего внимания, остановилась и посмотрела на пляшущую толпу.

Тут кричали, шумели, высоко поднимали ноги – и мужчины и женщины. Плясали с такой яростью, что подымали целые столбы пыли; кричали в такт музыке. Он стал смотреть на новые танцы, кракетт и ликетт, которые видел в Париже на Монмартре и в Латинском квартале. Но там все было как-то легче, грациознее, веселее и изящнее. А здесь грубо, ни следа того, что Мадинет называла «флю». Но в бешеной пляске чувствовалась разгоряченная кровь, дикая страсть, наполнявшая собою весь низкий зал...

Музыка замолкла, в грязные потные руки танцмейстер стал собирать деньги-с женщин, а не с мужчин. Потом этот герой предместья подал знак оркестру начинать снова.

Но они не хотели рейнлендера. Они кричали что-то капельмейстеру, хотели заставить его прекратить музыку. Но она не замолкала и точно боролась с залом, чувствуя себя в безопасности там наверху, за балюстрадой.

Они обрушились на танцмейстера. Тот знал этих женщин и мужчин, не испугался их

пьяных криков и угрожающе поднятых кулаков. Но он знал все-таки, что уступить не мешает.

– Эмиль! – закричал он наверх. – Играйте Эмиля!

Толстая женщина в огромной шляпе подняла руки и обвила их вокруг пыльного фрака танцмейстера:

– Браво, Густав, вот это так!

Его оклик тотчас же успокоил недовольную толпу. Они рассмеялись, закричали «браво» и стали похлопывать его снисходительно по плечу.

Начался вальс.

– Альма! – закричал кто-то посреди зала. – Альма, сюда! – Он оставил партнершу, подбежал и схватил за руку рыжую проститутку. Это был маленький черный парень с гладко прилизанными на лбу волосами и с блестящими пронизывающими глазами.

– Идем же! – крикнул он и крепко обнял ее за талию.

Проститутка начала танцевать. Еще наглее, чем другие, закружилась она в быстром вальсе. Через несколько тактов она совсем оживилась, раскачивала бедрами, опрокидывалась назад и вперед. Выставляла тело, соприкасалась коленями с кавалером. Бесстыдно, грубо, чувственно.

Франк Браун услышал возле себя чей-то голос и увидел танцмейстера, который со своего рода восхищением смотрел на танцующую пару: «Здорово она вертится!»

«Она не стесняется», – подумал Франк Браун. Он не спускал с нее глаз. Когда музыка замолкла, он быстро подошел и положил ей на плечо руку.

– Сперва заплати! – закричал кавалер.

Он дал ему монету. Проститутка быстро оглядела его с ног до головы. «Я живу недалеко, – сказала она, – минуты три, не больше...»

Он перебил ее: «Мне безразлично, где ты живешь. Пойдем!»

Тем временем в кафе тайный советник угощал женщин. Они пили шерри-бренди и просили его заплатить за них по старому счету: за пиво, еще за пиво, потом за пирожные и за чашку кофе. Тайный советник заплатил А затем начал пытаться счастье. Он мог предложить им кое-что интересное; кто из них захочет, пусть скажет. Если же на его выгодное предложение согласятся две или три, или даже четыре, то пусть они кинут жребий.

Худошавая Женни положила руку ему на плечо: «Знаешь, старикашка, лучше уж мы кинем жребий сейчас. Это будет умнее. Потому что и я, и они – мы согласны на все, что бы ты ни предложил». А Элли, маленькая блондинка с кукольной головкой, поддержала ее: «Что сделает моя подруга, то сделаю и я. Нет ничего невозможного! Только бы получить деньжонок. – Она вскочила с места и принесла кости: – Ну, дети, кто хочет кидать жребий?»

Но толстая Анна, которую они называли «курицей», запротестовала. «Мне всегда не везет, – сказала она. – Может, ты заплатишь и другим, тем, которые не вытянут?»

– Хорошо, – согласился тайный советник, – по пяти марок каждой. – Он выложил на стол три монеты.

– Какой ты хороший! – похвалила его Женни и, чтобы подкрепить похвалу, заказала еще шерри-бренди.

Как раз она и выиграла. Взяла три монеты и протянула подругам: «Вот вам в утешение, а ты, старикашка, выкладывай: впрочем, я заранее согласна на все!»

– Ну, так слушай, голубушка, – начал тайный советник – речь идет о довольно-таки необычном деле...

– Не стесняйся, лысенький! – перебила его проститутка.

– Мы давно не девочки, и уж во всяком случае не я, длинная Женни! Разные, конечно, бывают мужчины, – но у кого есть опыт, того ничем не удивишь.

– Вы не понимаете меня, милая Женни, – сказал профессор, – я отнюдь не требую от вас ничего особенного, дело идет просто-напросто о чисто научном эксперименте.

– Знаю, знаю! – взвизгнула Женни. – Знаю! Ты доктор, наверное. У меня уже был раз такой, – он всегда начинал с науки – это самые большие свиньи! Ну, за твое здоровье,

старикашка, я не имею ничего против. Мною ты будешь доволен!

Тайный советник чокнулся с нею: «Я очень рад, что у тебя нет никаких предрассудков, — мы с тобою скоро сойдемся. Короче говоря, дело идет об опыте искусственного оплодотворения».

— О чем? — перебила Женни. — Об искусственном — оплодотворении? Какое же тут особое искусство? Ведь это всегда очень просто!

А черная Клара захохотала: «Мне, во всяком случае, было бы приятнее искусственное бесплодие!»

Доктор Петерсен пришел на помощь своему патрону.

— Разрешите мне объяснить?

И когда профессор утвердительно кивнул головою, он прочел небольшую лекцию об их планах и достигнутых до сих пор результатах и о возможностях в будущем. Он подчеркнул особенно выразительно, что опыт совершенно безболезнен, и что все животные, над которыми до сих пор производились эти опыты, всегда чувствовали себя превосходно.

— Какие животные? — спросила Женни.

Ассистент ответил: «Ну, крысы, обезьяны, морские свинки».

Она вскочила: «Как? Морские свинки! Я, может быть, правда, свинья, — пожалуй и грязная! Но морской свиньей меня не называл еще никто! А ты, плешивый, хочешь еще обращаться со мною, как с морскою свиньею? Нет, дорогой мой, на это я не пойду!»

Тайный советник попробовал ее успокоить и налил ей еще рюмку. «Пойми же, дитя мое...» — начал он. Но она не дала ему говорить. «Прекрасно понимаю! — закричала она. — Чтобы я позволила с собою то, что вы делаете с грязными животными! Чтобы вы мне впрыскивали всякую дрянь — а в конце концов сделали бы какую-нибудь вивисекцию? — Она не унималась и вся покраснела от злобы и возмущения. — Или чтобы я родила какое-нибудь чудовище, которое вы стали бы показывать людям за деньги?! Ребенка с двумя головами и крысиным хвостом? Или чтобы он походил на морскую свинью? Я знаю, знаю, откуда они берут этих чудовищ в паноптикуме, — вы, наверное, агенты от них?! И чтобы я согласилась на искусственное оплодотворение?! Вот тебе, старая свинья, — твое искусственное оплодотворение!» Она вскочила с места, перегнулась через стол и плюнула тайному советнику прямо в лицо.

Потом взяла рюмку, спокойно выпила коньяк, быстро повернулась и с гордым видом отошла.

В эту минуту в дверях показался Франк Браун и подал знак следовать за ним.

— Подите-ка, господин доктор, подите-ка сюда поскорее! — взволнованно крикнул ему доктор Петерсен, помогая в то же время профессору вытереться.

— В чем дело? — спросил реферндарий, подходя к столу.

Профессор искоса посмотрел на него злым, как ему показалось, недовольным взглядом. Три проститутки стали кричать взапуски, между тем как доктор Петерсен объяснял ему, что без него произошло. «Что же теперь делать?» — заключил он. Франк Браун пожал плечами:

— Делать? Ничего. Заплатить и уйти, — больше ничего. Да и к тому же я нашел, что нам нужно.

Они вышли на улицу. Перед выходом стояла рыжая девушка и зонтиком подзывала экипаж. Франк Браун подсадил ее и помог сесть профессору и его ассистенту. Потом крикнул кучеру адрес и сел тоже.

— Позвольте, господа, представить вас друг другу, — сказал он. — Фрейлейн Альма — его превосходительство тайный советник тен-Бринкен — доктор Карл Петерсен.

— Ты с ума сошел? — закричал на него профессор.

— Нисколько, дядюшка, — спокойно ответил племянник. — ведь все равно, если фрейлейн Альма пробудет долгое время у тебя в доме или в клинике, она узнает твое имя, хочешь ты того или нет. — Он повернулся к девушке. — Простите, фрейлейн Альма, мой дядюшка действительно слишком состарился!

В темноте он не видел, но слышал, как в бессильной ярости сжимались толстые губы.

Ему это было приятно, он ждал, чтобы дядюшка обрушился на него.

Он ошибся. Тайный советник ответил спокойно: «Ты, значит, уже рассказал ей, в чем дело?»

Франк Браун рассмеялся ему прямо в лицо. «Ничего подобного! Я не говорил ни слова об этом. Я прошел с фрейлейн Альмой всего несколько шагов – и не сказал с нею больше десяти слов. А до того – я видел, как она танцевала...»

– Но, господин доктор, – прервал его ассистент, – ведь после того, чему мы сейчас были свидетелями...

– Дорогой Петерсен, – сказал Франк Браун несколько свысока, – успокойтесь. Я убедился, что эта барышня именно то, что нам нужно. По-моему, этого совершенно достаточно.

Экипаж остановился перед рестораном. Они вышли. Франк Браун потребовал отдельный кабинет, и кельнер проводил их.

Он подал карточку вин, и Франк Браун заказал две бутылки Роттегу и бутылку коньяку. «Только поскорее, пожалуйста!» – сказал он. Кельнер принес вино и удалился.

Франк Браун закрыл двери. Потом подошел к девушке:

– Пожалуйста, фрейлейн, снимите шляпу.

Она сняла шляпу: дикие, освобожденные от шпилек волосы рассыпались по лбу и щекам. Ее лицо было почти прозрачного цвета, как у всех рыжих женщин, – только кое-где виднелись небольшие веснушки. Глаза сверкали зеленоватым блеском, а небольшие блестящие зубы вырисовывались между тонкими синеватыми губами. На всем лежал отпечаток всепоглощающей, почти неестественной чувственности.

– Снимите блузу, – сказал он.

Она молча повиновалась. Он расстегнул пуговицы на плечах и спустил с нее сорочку.

Франк Браун посмотрел на дядюшку. «Я думаю, достаточно, – сказал он. – Остальное вы и так видите. Бедра ее не оставляют желать ничего лучшего. – Он повернулся снова к девушке: – Благодарю вас, Альма, можете одеться!»

Девушка повиновалась, взяла бокал, который он ей протянул, и опорожнила. И с этой минуты он стал следить за тем, чтобы ее бокал ни на секунду не оставался пустым.

Он начал говорить. Рассказывал о Париже, говорил о красивых женщинах в «Moulin de Galette», «Elisee Monmartre», описывал подробно, как они выглядят, рассказывал об их ботинках, об их шляпах и платьях.

Потом обратился к Альме. «Знаете, Альма, просто безобразие, что вы тут бегаете. Только не обижайтесь на меня. Ведь вы же нигде не показываетесь. Были вы хоть в Унион-баре или в Аркадии?» Нет, она еще не была. Она не была даже в залах Амура. Как-то один кавалер взял ее с собою на бал, но когда на следующий вечер она пришла туда одна, ее не пустили. Нужно иметь подходящий туалет...

– Конечно, нужно! – подтвердил Франк Браун. – Неужели она думает, что добьется чего-нибудь здесь, в этих кафе? Она рассмеялась: «Ах, в конце концов, не все ли равно – мужчины всегда мужчины!»

Но он не унимался, принялся рассказывать о всяких чудесных историях, о женщинах, которые нашли свое счастье в больших бальных залах. Говорил ей о жемчужных нитях, об огромных бриллиантах, рассказывал об экипажах, о блестящих выездах. Потом вдруг спросил: «Скажите, вы уже давно так живете?»

Она спокойно ответила: «Два года, с тех пор, как я ушла из дому».

Он принялся ее расспрашивать и шаг за шагом выпытал все, что хотел знать. Чокался с нею, подливал ей беспрестанно вина и незаметно для нее добавлял в шампанское коньяк.

Ей еще нет двадцати лет, она из Гальберштадта. Ее отец – булочник, честный, порядочный, – также и мать, и шестеро братьев и сестер. Она, как только кончила школу, через несколько дней после конфирмации сошлась с одним человеком, с одним из подмастерьев отца. Любила ли она его? Ничуть не бывало – то есть почти нет – только разве когда... Да, а потом был еще один, и еще. Отец бил ее и мать тоже, но она каждый день

убегала и проводила ночи вне дома. Так продолжалось несколько лет – пока в один прекрасный день родители не выгнали ее. Она заложила часы и уехала в Берлин. И вот теперь она здесь...

Франк Браун заметил: «Да, да, такие-то дела. – Потом продолжал: – Но сегодня пробил для вас счастливый час!»

– Вот как? – спросила она. – Неужели? – Ее голос звучал как-то хрипло. – Мне ничего не нужно – только мужчину, ничего больше!

Но он знал, как к ней подойти. «Но, Альма, вам ведь приходится довольствоваться всяким мужчиной, который вас хочет! Разве вам не хотелось, чтобы это было наоборот? Чтобы вы сами могли брать того, кто вам понравится?»

Ее глаза засверкали: «Да, этого мне бы очень хотелось!»

Он засмеялся: «Разве вам никогда не встречался на улице кто-нибудь, кто бы вам очень нравился? Разве не было бы великолепно, если бы вы сами могли выбирать?»

Она засмеялась в свою очередь: «Тебя, милый, я уж наверняка бы выбрала...»

– И меня, – подтвердил он, – и всякого – кого бы захотела! Но это ты сможешь делать только тогда, когда у тебя будут деньги. Вот поэтому-то я и говорю, что сегодня для тебя счастливый день. Ты можешь, если захочешь, – заработать сегодня много денег.

– Сколько? – спросила она.

Он ответил: «Во всяком случае, достаточно, чтобы купить себе самые красивые платья, чтобы перед тобою открылись двери самых лучших и самых шикарных кафе. Сколько? Ну, скажем, тысяч десять – или даже двенадцать».

«Что?» – перебил его ассистент. А профессор, который даже и не помышлял о такой сумме, сказал: «По-моему, ты немного бесцеремонно распоряжаешься чужими деньгами!»

Франк Браун весело рассмеялся: «Послушай, Альма, как господин тайный советник удивился, услышав про деньги, которые он должен тебе заплатить. Но я тебе говорю: дело не в деньгах. Ты ему поможешь, – значит, и он тебе должен помочь. Ну, хочешь – пятнадцать тысяч?»

Она удивленно посмотрела на него:

– Да, но что я должна сделать?

– Тут-то и начинается самое смешное, – сказал он. – В сущности, делать ничего не нужно. Только немного молчать, вот и все. Твое здоровье!

Она выпила.

– Молчать? – весело вскричала она. – Молчать-то я не особенно люблю. Но если нужно-за пятнадцать тысяч. – Она выпила вино, и он снова наполнил бокал.

– Это очень интересная история, – начал он. – Есть один господин граф – или, вернее, даже князь. Красивый малый, – он, наверное, очень бы тебе понравился. Но, к сожалению, ты не сумеешь его увидеть – он сидит в тюрьме, и его скоро казнят. Бедный малый – он, в сущности, так же невинен, как ты или я. Он только вспылывал немного. Вот поэтому-то и произошло несчастье. В пьяном виде он поссорился и застрелил своего лучшего друга. И теперь его скоро казнят.

– При чем же тут я? – спросила она поспешно. Ее ноздри раздулись: в ней пробудился уже интерес к этому чудесному князю.

– Да – видишь ли, – продолжал он, – ты должна помочь исполнить его последнюю волю...

– Да, да, – быстро закричала она, – я понимаю! Он хочет еще раз побыть с женщиной, не так ли? Я сделаю это, сделаю с удовольствием.

– Bravo, Альма, – похвалил Франк Браун, – ты добрая девушка. Но дело не так просто. Послушай, что я тебе расскажу. Итак, когда он заколол своего друга – то есть застрелил, хотел я сказать, – он бросился к своим близким, он думал найти у них защиту, думал, что они помогут бежать. Но они не сделали этого. Они знали, что он страшно богат, и поняли, что им представился удобный случай завладеть его состоянием. Они позвали полицию.

– Черт бы их побрал! – с негодованием вставила Альма.

– Да, не правда ли, – продолжал он, – это была страшная подлость?! Ну, так вот, его посадили в тюрьму – и что же, ты думаешь, хочет сделать теперь этот князь?

– Отомстить? – ответила она быстро.

– Правильно, Альма, ты не даром начиталась романов. Он решил отомстить, только лишив их наследства. Ты понимаешь?

– Конечно, понимаю, – сказала она. – Эти негодяи не должны получить ничего. И будет вполне справедливо.

– Но как это сделать, – продолжал он, – вот в чем вопрос! После долгого размышления он нашел единственное средство: он только тогда может лишить родственников своих миллионов, если у него самого будет ребенок!

– Разве у князя есть уже ребенок? – спросила она.

– Нет, – ответил он, – пока нет. Но ведь он еще жив. Он может еще...

Она задумалась, ее грудь порывисто подымалась и опускалась. «Я понимаю, – сказала она, – я должна иметь ребенка от князя».

– Именно! – подтвердил он. – Ты согласна?

Она закричала: «Да, да!» Она откинулась в кресле, вытянула ноги и широко раскрыла объятия: из прически ее выбился тяжелый красный локон и упал на затылок. Она вскочила с места и снова опорожнила бокал. «Как здесь жарко, – сказала она. – Страшно жарко!» Она расстегнула блузку и стала обмахиваться носовым платком. Потом протянула свой стакан. «У тебя еще есть? Выпьем же за здоровье князя!»

Он чокнулся.

– Недурную историю наболтал ты ей тут, – шепнул профессор племяннику, – мне хотелось бы знать, как ты выпутаешься.

«Не бойся, дядюшка, – ответил тот, – впереди еще целая глава». Он снова обратился к девушке: «Так, значит, по рукам, Альма, – ты нам поможешь? Но есть одна маленькая загвоздка. Дело в том, что, как ты знаешь, барон в тюрьме...»

Она перебила: «Барон – я думала, он князь».

– Князь, – поправился Франк Браун. – Но когда он инкогнито, он именует себя только бароном: такова уж мода у князей. Итак, его высочество...

Она прошептала: «Он даже высочество?»

– Ну да, – ответил он, – императорское и королевское высочество! Но ты должна дать клятву, что никому не скажешь ни слова – ни одному человеку. Так вот, значит, князь сидит в тюрьме, его сторожат очень строго. К нему никого не пускают – только его адвокат. Совершенно невозможно ввести к нему женщину...

– Ах! – вздохнула она. Ее интерес к несчастному князю, видимо, упал.

Но Франк Браун не обратил внимания. «Но, – продолжал он, не смущаясь, декламировать с повышенным пафосом, – в страшном горе, в бесконечном отчаянии и в своей неутолимой жажде мести он вспомнил вдруг о чудесных опытах его превосходительства действительного тайного советника, профессора доктора тен-Бринкена, этого светила науки. Молодой, красивый князь, который в расцвете лет должен сказать „прости“ всему миру, помнил еще с детства доброго старого господина, тот ухаживал за ним, когда у него был коклюш, и приносил тогда много раз конфеты. Вот он сидит, Альма. Взгляните на него: он – орудие мести несчастного князя!» И великолепным жестом он указал на своего дядю.

– Этот достопочтенный господин, – продолжал он, – опередил на много миль свое время. Как появляются дети на свет, ты, Альма, знаешь, конечно. Но ты не знаешь тайны, которую открыл этот благодетель рода человеческого. Тайны рождасть детей без того, чтобы мать и отец даже виделись друг с другом. Благородный князь будет спокойно сидеть в тюрьме – или покоиться в холодном гробу, а между тем при благосклонном содействии этого почтенного господина и при участии уважаемого доктора Петерсена ты станешь матерью его ребенка.

Альма взглянула на тайного советника – внезапная перемена фронта, неприятная смена

красивого, благородного, обреченного на смерть, юного князя на старого и безобразного профессора ей не понравилась.

Франк Браун заметил это, но постарался тотчас же рассеять ее сомнения. «Ребенок князя, Альма, и твой ребенок – должен будет появиться на свет в полнейшей тайне. Его необходимо строго спрятать, пока он не вырастет, чтобы защитить его от интриг и нападков злых родственников. Он будет, конечно, тоже князь – как и его отец».

– Мой ребенок – князь? – прошептала она.

– Да, разумеется, – подтвердил он. – Или, быть может, княжна. Предсказать очень трудно. У него будут дворцы и огромные земли и много миллионов. Но ты не должна становиться потом у него на пути, не должна навязывать своего материнства, не должна его компрометировать.

Это подействовало: по щекам девушки катились крупные слезы. Она вошла уже в новую роль, и теперь испытывала мучительную тихую скорбь по любимому ребенку. Она была проституткой – но ее ребенок будет князем! Разве посмеет она приблизиться к нему? Она будет молча терпеть – она будет только молиться за ребенка. Он никогда не узнает, кто его мать...

Она громко зарыдала; все тело ее сотрясало. Она бросилась на стол, закрыла лицо руками и горько заплакала. Ласково, почти нежно, отвел он от лица ее руки и погладил дикие, растрепавшиеся локоны. Он сам почувствовал вкус того сентиментального лимонада, который тут развел. На минуту все показалось ему совершенно реальным. «Магдалина, – прошептал он, – Магдалина...»

Она выпрямилась и протянула ему руку: «Я обещаю вам – что не буду ему навязываться, никогда не подам признака жизни. Но-но...»

– В чем дело? – тихо спросил он.

Она взяла его за руки, упала перед ним на колени.

– Только одно – только одно! – закричала она. – Сумею ли я когда-нибудь посмотреть на него? Хоть издали, чтобы он не заметил?

– Ну, скоро ли ты кончишь, наконец, эту комедию? – шепнул ему тайный советник.

Франк Браун недовольно посмотрел на него. Именно потому, что он чувствовал, как прав его дядя, именно поэтому его кровь так возмутилась. Он прошипел: «Молчи, старый дурак! Разве не чувствуешь, как это красиво?» Он нагнулся к девушке: «Ты увидишь его, увидишь своего юного князя. Я буду брать тебя с собою, когда он пойдет со своими гусарами. Или в театр, когда он будет сидеть в своей ложе, – ты увидишь его...»

Она не ответила ничего, но стиснула его руки и со слезами принялась их целовать...

Потом он медленно поднял ее, осторожно посадил в кресло и снова налил ей вина. Целый бокал шампанского пополам с коньяком.

– Ну, ты согласна? – спросил он.

– Да, – тихо ответила она. – Я согласна – но что же все-таки должна я делать?

Он засмеялся. «Сперва мы составим маленький договор. – Он обратился к ассистенту: – Доктор, у вас найдется бумага? И перо? Превосходно. Ну, так пишите. Пишите в двух экземплярах».

Он начал диктовать. «Нижеподписавшаяся добровольно отдает себя в распоряжение для опыта, который намеревается произвести его превосходительство профессор тен-Бринкен. Она твердо обещает следовать в точности приказаниям этого господина. После родов она отказывается от всех притязаний на ребенка. За это его превосходительство обязывается внести на книжку нижеподписавшейся тотчас же пятнадцать тысяч марок и вручить ей книжку после разрешения от бремени. Он обязуется, далее, нести издержки по ее содержанию и до родов выплачивать ей ежемесячно по сто марок карманных денег».

Он взял написанное и еще раз громко прочел.

– Но тут ведь ничего нет о князе? – заметила она.

– Конечно, нет, – ответил он. – Ни звука. Это должно быть строжайшей тайной.

Она понимала. Но было нечто, что ее беспокоило. «Почему – спросила она, – почему

вы выбрали именно меня? Для бедного князя, наверное, всякая женщина сделала бы все что в ее силах».

Он не знал, что ответить. Вопрос застал его врасплох своею неожиданностью. Но он все же скоро нашелся. – Да, знаешь ли, – начал он, – дело в следующем: князь в юности любил одну красавицу графиню. Любил ее так сильно, как может любить настоящий князь. И она тоже любила прекрасного благородного юношу. Но она умерла.

– Отчего она умерла? – спросила Альма.

– Она умерла от кори. И у этой прекрасной возлюбленной благородного князя были такие же золотисто-красные локоны, как у тебя. Вообще, она очень на тебя похожа, и вот последняя воля князя – чтобы мать его ребенка напоминала возлюбленную юных дней. Он дал нам портрет и, кроме того, подробно описал ее: мы искали по всей Европе, но ничего подходящего не находили. И вот сегодня мы увидели тебя.

Она рассмеялась, польщенная: «Неужели, правда, я так похожа на эту графиню?»

– Как две капли воды! – ответил он. – Вы могли бы быть сестрами. Впрочем, мы и тебя снимем. Вот обрадуется князь, когда увидит твой портрет.

Он подал ей перо: «Ну, подпиши!»

Она взяла перо и бумагу... "Ал... ", – начала она. Что-то попало на перо. Она взяла салфетку и обтерла перо.

– Черт побери... – пробормотал Франк Браун. – Мне только сейчас пришло в голову, что она несовершеннолетняя. В сущности, нам следовало бы еще иметь подпись и ее отца. А впрочем – для нас и этого договора будет достаточно. Пиши же, – громко сказал он, – как фамилия твоего отца?

Она ответила:

– Мой отец – булочник Рауне в Гальберштадте.

И она подписала свою фамилию. Франк Браун взял из ее рук бумагу. Опустил и снова поднял, пристально посмотрел.

– Господи, – вскричал он. – Это же – это...

«В чем дело?» – спросил ассистент. Тот протянул договор: «Посмотрите – посмотрите – прочтите-ка подпись».

Доктор Петерсен посмотрел на бумагу. «Ну? – удивленно спросил он. – В чем дело? Я не нахожу ничего странного».

– Нет, нет, вы, конечно, этого не поймете, – воскликнул Франк Браун. – Передайте-ка договор профессору. Прочтите-ка, дядюшка.

Профессор прочел подпись. Девушка забыла дописать до конца свое имя. На бумаге стояло – «Ал Рауне».

– Да-да-замечательная случайность, – заметил профессор. Он аккуратно сложил бумагу и положил в боковой карман.

Но племянник воскликнул: «Случайность! Прекрасно – пусть будет случайность. Все, что удивительно и таинственно, – для вас только случайность?» Он позвал кельнера. «Вина, еще вина, – закричал он. – Дайте мне выпить. Альма Рауне, Ал Рауне, за твое здоровье».

Он сел за стол и перегнулся к профессору.

– Ты помнишь, дядюшка, старого коммерции советника Бруннера из Кельна? И его сына, которого он назвал Марко? Он учился со мною в одном классе. Хотя и был на два года старше меня. Назвав его Марко, отец просто хотел сострить: его сын назывался теперь Марко Бруннер – так же как известная марка рейнвейна. Ну, а теперь начинается случайность. Старый коммерции советник – самый трезвый человек во всем мире, его жена тоже, то же и все его дети. По-моему, в их доме никогда не пили ничего, кроме воды, молока, чаю и кофе. Пил один только Марко. Начал пить, когда был еще в школе, – мы часто приносили его домой пьяным. Потом он стал поручиком и лейтенантом. Тогда началось уж как следует. Он пил, пил все больше и больше, натворил глупостей, его прогнали из полка. Трижды помещал его старик в санаторий, – но через несколько недель он становился еще более горьким пьяницей, нежели раньше. А вот две случайности: он, Марко Бруннер, пил –

Маркобруннер. Это стало для него *idée fixe*, он бегал по всем ресторанам, искал эту марку, ездил по Рейну и выпивал все, что находил в ресторанах. Он мог себе это позволить, – у него были деньги от бабушки. «Алло! – кричал он очень часто. – Маркобруннер поглотит Марко Бруннера! Почему? Потому что Марко Бруннер поглощает Маркобруннер». И люди смеялись над его остротами. Все только одно остроумие, все только случайность, – как и вся жизнь – она сплошная случайность! Но я знаю, что старый коммерции советник отдал бы много сотен тысяч, лишь бы вернуть свою неудачную остроту, – знаю также, что он себе никогда не простит, что назвал своего бедного сына Марко, а не Гансом или Петером. А тем не менее – это случай, глупый, причудливый случай, – все равно как подпись этой невесты князя.

Девушка встала и, шатаясь, облокотилась на стул. «Я – невеста князя, – повторила она, – дайте-ка мне сюда князя!»

Она взяла бутылку коньяка и налила себе полный стакан:

«Я хочу князя, слышите? За ваше здоровье, дорогой князь!»

– Его, к сожалению, нет, – сказал доктор Петерсен.

– Нет? – рассмеялась она. – Нет! Так пусть будет другой! Да! Ты – или ты – или даже ты, старикашка! Безразлично – лишь бы мужчина! – Она сорвала блузку, спустила юбку, расстегнула корсаж и бросила его в зеркало: – Мужчину...

– Постыдись, – заметил доктор Петерсен, – разве делает так невеста? – Но взгляд его с жадностью был устремлен на ее полную грудь.

Она захохотала: «Ах, что там – князь или не князь! Меня может взять всякий, кто только захочет! Мои дети, публичные дети – их может родить кто угодно-нищий и князь!»

Ее тело дрожало от страсти, грудь подымалась, возбужденная чувственность гнала ее кровь по синеватым жилам, а взгляд, и дрожащие губы, и жаждущее тело-все кричало, полное страсти: «Сюда – ко мне!» Она не была уже проституткой – она, освобожденная от всех оболочек, свободная от всех пут и оков, была могучим прообразом женщины: пол с ног до головы.

– О, она действительно то, что нам нужно! – прошептал Франк Браун. – Земля-мать...

Ею овладела дрожь. Ей стало холодно. Еле волоча ноги, она шатнулась к дивану.

– Не знаю, что со мною, – пробормотала она, – все вертится.

– Выпила лишнее, – поспешно объяснил Франк Браун. – Выпей еще и постарайся заснуть. – Он поднес ей опять полный стакан коньяку.

– Да, я засну... – пробормотала она.

Она бросилась на диван и подняла в воздух обе ноги. Громко захохотала, потом зарыдала и наконец тихо заплакала. Легла на бок и закрыла глаза.

Франк Браун накрыл ее и подsunул ей под голову большую подушку.

Заказал кофе, подошел к окну и распахнул его настежь.

Но тотчас же снова закрыл, как только в комнату ворвался свет раннего утра.

Он отвернулся:

– Ну, господа, вы довольны этим объектом?

Доктор Петерсен восторженным взглядом смотрел на проститутку. «По-моему, она подойдет как нельзя больше, – сказал он. – Ваше превосходительство, обратите внимание на ее телосложение... Оно как бы предназначено для безукоризненных родов».

Вошел кельнер и подал кофе. Франк Браун сказал:

– Протелефонируйте на станцию медицинской помощи. Пусть пришлют носилки. Наша дама тяжело захворала.

Тайный советник удивленно посмотрел на него:

– Что должно это означать?

– Это должно означать, – засмеялся племянник, – что я кую гвозди с головками, дядюшка. Должно означать, что я думало за тебя, и я, по-моему, думаю умнее тебя. Неужели ты воображаешь, что эта девушка, когда протрезвеет, согласится поехать с тобою? Пока я опьянял ее словами и вином, не давал ей даже опомниться, до тех пор она соглашалась со

всем. Но от вас она убежит через несколько шагов, – несмотря на все деньги и на всех князей. Поэтому-то и нужно ее теперь взять. Как только принесут носилки, вы, доктор Петерсен, должны не медля ни минуты, отправиться с нею на вокзал! Первый поезд, если не ошибаюсь, идет в шесть часов, вы поедете им. Возьмите отдельное купе и уложите там пациентку, я думаю, она не проснется, а если и проснется, то дайте ей еще коньяку. Вы можете даже влить в него несколько капель морфия. А вечером вы уже приедете в Бонн вместе с добычей. Телеграфируйте, чтобы вас ждал на вокзале экипаж профессора, отнесите девушку в карету и отвезите прямо в клинику. Когда она окажется там, уйти ей будет не так-то легко, – у вас есть всевозможные средства.

– Но простите, – вставил ассистент, – ведь это же напоминает насильственный увоз.

– Хоть бы и так, – заметил Франк Браун. – Впрочем, ведь ваша буржуазная совесть спокойна: у вас имеется договор.

А теперь не теряйте времени попусту – делайте, что вам говорят.

Доктор Петерсен обернулся к патрону, который молча, задумчиво стоял посреди комнаты. Взять ему купе первого класса? И какую комнату отвести девушке? Не лучше ли нанять особого служителя для нее? И может быть...

Между тем Франк Браун подошел к спящей.

– Красивая девушка, – прошептал он. – Как золотые змейки, ползут твои локоны!

Он снял с пальца тонкое золотое кольцо с маленькой жемчужиной. Взял ее руку и надел кольцо: «Возьми. Эмми Стенгоб дала его мне, когда меня отравили ее дивные чары. Она была красива, сильна, была, как ты, странная женщина! Спи, дитя, – пусть тебе снится твой князь и твой ребенок от князя!» Он нагнулся и тихо поцеловал ее в лоб...

Принесли носилки. Носильщики уложили спящую, одели ее, закрыли шерстяным одеялом и вынесли.

«Как труп», – подумал Франк Браун.

Доктор Петерсен простился и тоже вышел. Они остались вдвоем. Прошло несколько минут, оба молчали. Потом тайный советник подошел к племяннику.

– Благодарю тебя, – сухо сказал он.

– Не стоит, – ответил племянник. – Я сделал это только потому, что мне самому доставило это удовольствие, – было для меня хоть каким-нибудь развлечением. Я должен был бы солгать, если бы сказал, что сделал это для тебя.

– Я так и думал. Между прочим, могу сообщить новость, которая тебя, вероятно, заинтересует. Когда ты болтал тут о ребенке, мне пришла в голову одна мысль. Когда ребенок родится, я усыновлю его. – Он зло улыбнулся: – Вот видишь, мой дорогой племянник, твоя теория не совсем уж неправильна: маленькое существо Альрауне, еще не рожденное, даже еще не зачатое, отнимает у тебя состояние. Я сделаю его своим наследником. Тебе я сейчас говорю об этом только для того, чтобы ты не строил излишних иллюзий.

Франк Браун почувствовал удар. Но посмотрел профессору прямо в лицо.

– Хорошо, дядюшка, – сказал он спокойно, – ведь все равно в конце концов ты бы лишил меня наследства, не правда ли?

Но профессор выдержал взгляд и ничего не ответил.

Франк Браун продолжал: «Ну, так было бы недурно, если бы мы сейчас свели наши счета, я часто сердил тебя, огорчал – за это ты лишил меня наследства: мы квиты. Но, согласись, ведь эту мысль подал тебе я. И в том, что ты получил теперь возможность ее осуществить, ты тоже целиком обязан мне. Значит, ты должен теперь меня отблагодарить. У меня есть долги...»

Профессор насторожился. По его лицу пробежала легкая тень. «Сколько?» – спросил он.

Франк Браун ответил: «Не так уж много! Тысяч двадцать наберется, пожалуй».

Он ждал, но профессор упорно молчал.

– Ну? – нетерпеливо спросил он.

Старик ответил: «То есть как это – ну? Неужели ты серьезно думаешь, что я заплачу твои долги?»

Франк Браун смотрел на него, в висках его стучало. Но он овладел собою.

– Дядюшка, – сказал он, и голос его слегка задрожал, – я бы тебя не просил, если бы мне не было нужно. Некоторые из моих долгов необходимо погасить теперь же. Среди них есть карточные долги, долги чести.

Профессор пожал плечами: «К чему же ты играл...»

– Я сам это знаю, – ответил Франк Браун. Он все еще одерживался, напрягая все свои нервы. – Конечно, я не должен был этого делать. Но раз сделано – я должен теперь заплатить. Еще одно – я не могу больше просить у матери. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что она делает для меня больше, чем в ее силах. К тому же она только недавно привела в порядок мои дела. В довершение всего она больна – словом, я не могу просить ее и не стану.

Тайный советник злорадно улыбнулся: «Мне очень жаль твою бедную мать, но это отнюдь не заставляет меня изменить решение».

– Дядюшка! – вскричал он, вне себя от этого холодного иронического голоса. – Дядюшка, ты не знаешь, что делаешь. В крепости я задолжал товарищам несколько тысяч и должен их заплатить еще на этой неделе. У меня также есть целый ряд мелких долгов разным людям, которые мне одолжили на честное слово, – я не могу их обмануть. Я взял займы даже у коменданта, чтобы поехать сюда.

– И у него? – перебил профессор.

– Да, и у него! – повторил он. – Я наврал, что ты при смерти и что я должен быть возле тебя. Он согласился дать мне денег.

Тайный советник покачал головой.

– Ах, вот что ты ему рассказал? Ты истинный гений в надувательстве и обмане! Этому необходимо положить конец.

– Господи, – вскричал племянник, – будь же благоразумен, дядюшка. Мне нужны деньги: я погиб, если ты не поможешь.

Тайный советник ответил: «Ну, особой разницы я тут не вижу. Ты и так погиб – порядочный человек из тебя никогда уже не выйдет».

Франк Браун схватился руками за голову:

– И это говоришь мне ты, ты?

– Конечно, – ответил профессор. – Куда ты девал все свои деньги? Ты тратишь их самым бессовестным образом.

Он не выдержал: «Может быть, дядюшка, но я никогда еще не брал их бессовестным образом – как ты, например...»

Он закричал, ему показалось, будто он поднял хлыст и опустил прямо на уродливое лицо старикашки. Он почувствовал, как попал в цель; он почувствовал также, как хлыст просвистел насквозь, не встретив преград, словно сквозь клейкую грязь...

Спокойно, почти дружелюбно тайный советник ответил: «Я вижу, ты все еще не поумнел. Позволь же твоему старому дяде дать тебе добрый совет, – быть может, он принесет пользу. Если чего-нибудь хочешь от людей, то нужно уступать некоторым их слабостям, – заметь себе это. И воспользуйся. Ты соглашаешься со мною, что я много приобрел. Я добился того, чего хотел. Теперь же наоборот – ты просишь меня, но и не думаешь идти нужным путем. Не воображай, однако, мой дорогой, что это могло бы помочь тебе в чем-нибудь – у меня. Нет, нет! Но, быть может, это поможет тебе у других, – ты поблагодаришь меня за добрый совет».

Франк Браун заметил: «Дядя, я пошел путем унижения. Сделал это-первый раз в жизни; сделал, когда попросил тебя – попросил! Но еще раз этим путем я не пойду. Неужели ты хочешь, чтобы я еще больше перед тобою унижался? Будет, довольно – дай мне денег».

Тайный советник ответил: «Я тебе предложу кое-что, дорогой. Только обещаю тебя выслушать и не приходи в бешенство, – что бы ни было!»

Он сказал спокойно: «Хорошо, дядюшка».

– Ну, слушай. Я тебе дам денег, столько, сколько тебе понадобится, чтобы привести в порядок дела. Дам даже больше, – относительно цифры мы уж сойдемся. Но мне ты нужен-нужен у меня в доме. Я постараюсь устроить так, чтобы тебя перевели ко мне в город, – устрою так, чтобы тебя выпустили из крепости.

– С удовольствием! – ответил Франк Браун. – Мне безразлично, здесь я или там. Но сколько будет это длиться?

– Около года, пожалуй, даже меньше, – ответил профессор.

– Согласен. Что же я должен делать?

– Почти ничего. Это просто маленькое побочное занятие – ты привык к нему, оно тебе не покажется трудным.

– В чем же дело? – настаивал Франк Браун.

– Видишь ли, мой дорогой, – продолжал тайный советник, – понадобится маленькая помощь девушке, которую ты раздобыл. Ты прав: она от нас убежит. Ей будет невыносимо скучно, и она, конечно, постарается сократить время ожидания. Ты преувеличиваешь средства, которыми мы сумеем ее удержать. В частной психиатрической лечебнице очень легко удержать человека, гораздо легче, чем в тюрьме или в остроге. К сожалению, наше учреждение не так хорошо приспособлено. Не могу же я запереть ее в террариум вместе с лягушками или в клетку с обезьянами или морскими свинками, правда?

– Конечно, дядюшка, – ответил племянник, – надо изобрести что-нибудь. Старик кивнул: «Я уже придумал, что сделать. Мы должны иметь что-нибудь, что бы ее там удерживало. Но доктор Петерсен не представляется мне подходящим человеком для того, чтобы приковать на продолжительное время ее интерес, по-моему, его будет мало и на одну ночь. Но это должен быть, конечно, мужчина; поэтому-то я и подумал о тебе...»

Франк Браун сжал с такой силой спинку кресла, точно хотел сломать. Он тяжело дышал. «Обо мне... – повторил он.

– Да, о тебе, – продолжал тайный советник, – по-видимому, это одна из немногих вещей, к которым ты способен. Ты сумеешь ее удержать. Будешь болтать ей всякий вздор – по крайней мере, твоя фантазия получит какую-то разумную цель. А за неимением князя она влюбится в тебя – ты сумеешь, значит, удовлетворить и ее чувственные потребности. Если же ей будет мало, у тебя найдется достаточно друзей и знакомых, которые с удовольствием воспользуются случаем провести несколько часов в обществе прелестного создания.

Франк Браун задыхался, голос его звучал глухо и хрипло;

«Дядюшка, ты знаешь, что ты от меня требуешь? Я должен быть любовником этой проститутки, в то время как она будет носить в себе ребенка убийцы?»

– Да, да, – спокойно прервал его профессор. – Ты прав. Но это, по-видимому, единственное, на что ты пригоден еще, мой дорогой.

Он ничего не ответил. Он испытывал жгучее оскорбление, чувствовал, как щеки покрываются багровым румянцем, как в висках стучит от волнения. Казалось, будто по всему лицу его горят длинные полосы, которые оставил хлыст профессора. Он понимал: да-да, старик наслаждается своею мстостью.

Тайный советник заметил это, и довольная, злорадная улыбка легла на его отвислые губы. «Подумаем как следует, – произнес он размеренным тоном, – нам не в чем упрекать друг друга и нечего скрывать. Мы можем называть вещи своими именами: я намерен пригласить тебя в качестве сутенера этой проститутки».

Франк Браун почувствовал: он низвергнут. Он беспомощен, безоружен. Он не может пошевеливать даже пальцем. А безобразный старик топчет его своими грязными ногами и плюет в его раскрытые раны своею ядовитую слюною... Он ничего не ответил. Он шатался, ему было дурно. Не помнил он, как спустился, очутился на улице и увидел ясное утреннее солнце. Он почти не создавал, что идет. У него было чувство, будто он лежит, растянувшись на грязной мостовой, поверженный глухим страшным ударом в голову...

Он шел долго. Прошел много улиц. Останавливался перед афишными столбами, читал большие плакаты. Но видел только слова – не понимая их. Потом попал на вокзал. Подошел

к кассе и попросил билет.

– Куда? – спросил кассир.

Куда? Да – куда же? И он сам удивился, когда его голос ответил: «В Кобленц». Он стал шарить в карманах, отыскивая деньги.

– Билет третьего класса, – крикнул он. На это денег еще хватало.

Он поднялся по лестнице на перрон и только тут заметил, что он без шляпы.

Сел на скамейку и стал ждать. Потом увидел, как пронесли носилки, позади них шел доктор Петерсен. Он не двинулся с места. У него было чувство, точно он тут совсем не при чем, он видел, как подъехал поезд, заметил, как врач вошел в купе первого класса и как носильщики осторожно внесли свою ношу. Он сел в последний вагон.

По губам его пробежала странная улыбка. «Правильно, правильно... – подумал он. – В третьем классе – как раз для слуги, для – сутенера».

Но тотчас же забыл обо всем, забился в угол и стал смотреть пристально в пол. Глухое чувство не оставляло его. Он слышал, как выкрикивают названия станций; временами казалось, будто они следуют непрерывно одна за другой, точно мчатся, как искры по проволоке. А потом снова вечность стала отделять один город от другого...

В Кельне ему пришлось пересест и ждать поезда, который шел вверх по Рейну. Но он не заметил никакой перемены, не почувствовал, сидит он на скамейке перрона или в вагоне.

Потом он очутился вдруг в Кобленце, вышел из вагона и пошел снова по улице. Наступила ночь; он вдруг вспомнил, что ему ведь нужно в крепость. Он перешел через мост, взобрался в темноте на скалу по узкой тропинке.

Неожиданно очутился он наверху – на казарменном дворе, в своей камере, на постели. Кто-то шел по коридору. Вошел к нему в камеру со свечой в руке. Это был морской врач, доктор Клаверьян.

– Вот как! – слышалось на пороге. – Значит, фельдфебель был все-таки прав! Ты вернулся! Ну, так пойдем же скорее – ротмистр держит банк.

Франк Браун не шевелился, он почти не слышал слов товарища. Тот взял его за плечо и встряхнул.

– Ты уже спишь? Соня! Не глупи, пойдем!

Франк Браун вскочил точно ужаленный. Схватил стул, поднял его, подошел ближе.

– Убирайся вон, – прохрипел он, – вон, негодяй!

Доктор Клаверьян застыл, как вкопанный, посмотрел на его бледные, искаженные черты лица с тупыми угрожающими глазами. В нем проснулось вдруг все, что оставалось еще от врача, и он моментально понял, в чем тут дело.

– Вот как? – сказал он спокойно. – Тогда извини... – он вышел из камеры.

Франк Браун постоял минуту со стулом в руках. Холодная улыбка играла на его губах. Но он не думал ни о чем, решительно ни о чем.

Он услышал стук в дверь – точно откуда-то издали, поднял глаза – перед ним стоял маленький поручик.

«Ты уже вернулся? – спросил он. – Что с тобой?» Он испугался, выбежал из камеры, когда тот ничего не ответил, и вернулся со стаканом и бутылкой Бордо: «Выпей, тебе станет лучше».

Франк Браун выпил вина. Он чувствовал, как проникало оно в его кровь, чувствовал, как ноги дрожат, точно грозят подломиться. Он тяжело опустился на постель.

Поручик помог ему лечь. «Пей, пей», – настаивал он. Но Франк Браун отстранил стакан. «Нет, нет, – прошептал он. – Я опьянен. – Он слабо улыбнулся. – Кажется, я еще сегодня не ел...»

Откуда-то слышался шум, громкий смех и крики.

– Что они там делают? – спросил он равнодушно.

Поручик ответил: «Играют. Вчера приехало двое новых, – он опустил руку в карман. – Да, кстати, чтобы не забыть, я получил за тебя телеграфный перевод на сто марок, только что, вечером. Вот!»

Франк Браун взял бланк, но должен был прочесть его дважды, прежде чем понял. Дядюшка посылал сто марок и телеграфировал: «Посылаю в виде аванса».

Он вскочил. Туман разорвался, и красный кровавый дождь хлынул перед глазами... Аванс! Аванс? За то, что предложил ему старик?! Поручик протянул деньги. Он взял их, он чувствовал, как они жгут ему пальцы, и эта боль, которую он испытывал чисто физически, принесла какое-то странное облегчение. Он закрыл глаза и стал наслаждаться этой жгучей болью, та пронизывала все тело. Сжигала чувство последнего страшного оскорбления...

– Давай сюда! – закричал он. – Давай вина! – Он пил, выпил много; ему казалось, вино заглушает это жгучее пламя.

– Они играют? – спросил он и взял поручика за руку. – Пойдем-пойдем к ним!

Они пошли в собрание.

– Вот и я! – вскричал он. – Сто марок на восьмерку. – Он положил деньги на стол. Ротмистр вынул семерку.

ГЛАВА 5, повествующая о том, кого они выбрали отцом и как смерть была восприемницей Альрауне.

Доктор Карл Петерсен подал тайному советнику большую красиво переплетенную книгу, которую заказал по специальному его распоряжению: на красной коже в верхнем левом углу красовался старинный герб тен-Бринкенов, а в середине сияли большие золотые инициалы: А.т.-Б. Первые страницы были пусты: профессор оставил их для того, чтобы записать всю предварительную историю. Рукопись начиналась рукою доктора Петерсена и содержала краткое и простое жизнеописание матери того существа, которому посвящена была книга. Ассистент заставил девушку рассказать еще раз свою жизнь и тотчас же записал в эту книгу. Здесь были перечислены даже те наказания, которым она подвергалась: дважды осуждена за бродяжничество, пять или шесть раз за нарушение полицейских правил, касающихся ее профессии, и один раз даже за воровство, – но она утверждала, что в этом совершенно не повинна: ей просто подарили бриллиантовую булавку.

Далее шло – опять рукою доктора Петерсена – жизнеописание отца, безработного горняка Петера Вейнанда Нерриссена, осужденного на смертную казнь по приговору суда присяжных. Прокуратура любезно предоставила в распоряжение доктора все документы, и с помощью их он и составил биографию.

Судя по ней, Нерриссен еще с детства был предназначен самою судьбою к тому, что его теперь ожидало. Мать – закоренелая алкоголичка, отец – поденщик, судился несколько раз за жестокое обращение. Один из братьев сидел уже десять лет в тюрьме. Сам Петер Вейланд Нерриссен после окончания школы поступил в учение к кузнецу, который засвидетельствовал затем на суде его искусную работу, а также невероятную силу. Тем не менее кузнец его скоро прогнал, потому что тот не позволял говорить себе ни единого слова, да и кроме того на него жаловались все женщины. После этого он служил на многих фабриках и поступил наконец на завод «Феникс» в Руре. От военной службы его освободили по физическим недостаткам: на левой руке не хватало двух пальцев. В профессиональных союзах он никогда не участвовал: ни в старых социалистических, ни в христианских, ни даже в гириш-дункеровских, – это обстоятельство старался использовать в его защиту адвокат на суде. С завода его прогнали, когда он в драке тяжело ранил ножом обер-штейгера. Его судили и приговорили к году тюрьмы. С момента выхода из тюрьмы точных сведений о нем не имеется: тут приходится полагаться всецело на его собственные показания. Судя по ним, он начал бродяжничать, дошел до Амстердама. По временам работал и несколько раз сидел за бродяжничество и мелкие кражи. Но, по-видимому, – так утверждал, по крайней мере, прокурор – он и за те семь-восемь лет совершил несколько более тяжелых преступлений. Преступление, за которое его осудили теперь, было не совсем ясно, – остался нерешенным вопрос, было ли то убийство с целью грабежа или на половой почве. Защита старалась изобразить его в следующем виде: обвиняемый однажды вечером встретил в поле

девятнадцатилетнюю, хорошо одетую помещичью дочь Анну Сивиллу Траутвейн и сделал попытку ее изнасиловать. Но встретил сопротивление и, главным образом затем, чтобы заглушить ее дикие крики, выхватил нож и убил ее. Вполне естественно, что желая скрыться, он украл затем бывшие при ней деньги и снял некоторые драгоценные вещи. Объяснение противоречило, однако, данным вскрытия трупа, которое установило страшное надругательство над жертвой: преступник изрезал ее ножом, причем удары были нанесены с изумительной правильностью. Документ заканчивался так, что пересмотр дела был отклонен, что корона не воспользовалась последним своим правом помилования и что казнь назначена была на следующий день в шесть часов утра. В заключение еще значилось, что преступник согласился на предложение доктора Петерсена, потребовав за это две бутылки водки, которые он получил сегодня в восемь часов вечера. Тайный советник прочел описание и возвратил доктору книгу"

– Отец дешевле матери! – рассмеялся он. Потом обратился к ассистенту: – Так, значит, вы будете присутствовать на казни. Не забудьте взять с собою физиологический раствор соли и торопитесь по возможности – дорога каждая минута. Особых распоряжений на этот счет я вам не даю. Сиделки приглашать не нужно; нам поможет княгиня.

– Княгиня Волконская, вероятно? – спросил доктор Петерсен.

– Да, да, – кивнул профессор, – у меня есть основание привлечь ее к операции – да и она сама очень интересуется. Да, кстати, как сегодня наша пациентка?

Ассистент ответил: "Ах, ваше превосходительство, старая песня, одна и та же все три недели, что она здесь. Плачет, кричит и буянит, – требует, чтобы ее выпустили. Сегодня опять она разбила два таза.

– Пробовали вы ее уговаривать? – спросил профессор.

– Конечно, пробовал, но она не дает говорить, – ответил доктор Петерсен. – Поистине счастье, что завтра все будет кончено. Но как сумеем мы удержать ее до рождения ребенка, для меня загадка.

– Вам не придется ее разрешать, Петерсен. – Тайный советник снисходительно потрепал его по плечу. – Мы уже найдем средство, сделайте только свое дело.

Ассистент почтительно ответил: «Можете во всем на меня положиться, ваше превосходительство».

Раннее утреннее солнце поцеловало густую листву чистенького садика, в котором была расположена женская клиника тайного советника. Оно скользнуло лучами по пестрым, еще влажным от росы клумбам георгинов и приласкало высокий, выющийся, кудрявый хмель на стене. Пестрые чижики и большие дрозды прыгали по гладким дорожкам, по скошенной траве. Проворно взлетели они в воздух, когда восемь железных копыт загремели по каменной мостовой улицы.

Княгиня вышла из экипажа и быстрыми шагами прошла через сад. Щеки ее горели, высокая грудь подымалась, когда она взошла по лестнице в дом.

Навстречу ей вышел тайный советник и сам отворил дверь: «Да, ваше сиятельство, вот это я называю пунктуальностью! Войдите, пожалуйста. Я приготовил для вас чаю».

Она сказала – голос едва повиновался ей, она задыхалась от волнения: «Я – прямо – оттуда. Я видела все. Это – это – меня так – взволновало!»

Он провел ее в комнату:

– Откуда, ваше сиятельство? С казни?

– Да, – ответила она. – Доктор Петерсен тоже сейчас будет здесь. Получила билет – еще вчера вечером... Это было – так – страшно – так...

Тайный советник подал ей стул: «Может, налить вам чаю?»

Она кивнула: «Пожалуйста, ваше превосходительство, будьте добры! Как жаль, что вас не было там! Какой он красивый – здоровый – сильный – высокий...»

– Кто? – спросил профессор. – Преступник?

Она начала пить чай: «Ну да, убийца! Сильный, стройный – могучая грудь – как у атлета. Огромные мускулы – будто у быка...»

– Вы, ваше сиятельство, видели всю процедуру? – спросил тайный советник.

– Превосходно видела! Я стояла у окна, как раз передо мной был эшафот. Когда его выводили, он немного шатался – его должны были поддерживать. Будьте добры еще кусок сахара.

Тайный советник подал сахар: «Он что-нибудь говорил?»

– Да, – ответила княгиня. – Даже дважды. Но всякий раз по одному слову. Первое, когда прокурор прочел приговор. Он закричал вполголоса – но, право, я не могу повторить этого слова...

– Но – ваше сиятельство! – тайный советник ухмыльнулся и слегка погладил ее по руке. – Передо мною вам, во всяком случае, стесняться нечего.

Она рассмеялась: «Конечно, конечно, нет. Ну, так вот – дайте мне, пожалуйста, кусочек лимона, мерси, положите прямо в чашку – ну, так вот, он сказал – нет, я не могу повторить...»

– Ваше сиятельство! – тоном легкого упрека заметил профессор.

– Тогда закройте глаза.

Тайный советник подумал: «Старая обезьяна!» Но все же закрыл глаза. «Ну?» – спросил он.

Она все еще жеманилась: «Я – я скажу по-французски».

– Ну – хоть по-французски! – воскликнул он с нетерпением.

Она сложила губы, нагнулась к нему и шепнула что-то на ухо.

Профессор откинулся немного назад, крепкие духи княгини были ему неприятны: «Так вот, значит, что он сказал!»

– Да, – и произнес это так, точно хотел сказать, что ему все безразлично. Мне в нем это понравилось.

– Еще бы, – согласился тайный советник. – Жаль только, что он не сказал этого – по-французски. Ну, а другое слово?

– Ах, оно было уж неинтересно. – Княгиня пила чай и ела кекс. – Второе слово испортило хорошее впечатление, которое он на меня произвел. Подумайте только, ваше превосходительство: когда палач взял его, он начал вдруг кричать, плакать, как ребенок.

– Ах, – воскликнул профессор. – Еще чашечку чаю, ваше сиятельство? Что же он закричал?

– Сначала он сопротивлялся молча, но изо всех сил, хотя руки были у него связаны за спиной. Помощники палача кинулись на него, а сам палач во фраке и белых перчатках стоял спокойно и только смотрел. Мне понравилось, как преступник стряхнул с себя троих молодцов, – они опять бросились на него, но он не давался. О, как это взволновало меня, ваше превосходительство!

– Могу себе представить, ваше сиятельство, – заметил он.

– А потом один из помощников палача подставил ему ногу и быстро поднял сзади за связанные руки. Он упал. И, наверное, понял, что сопротивление не приведет ни к чему, что его песенка спета. Быть может – он был пьян – а потом вдруг протрезвился. Да – и вдруг закричал... Тайный советник улыбнулся: «Что же он закричал? Не закрыть ли мне снова глаза?»

– Нет, вы можете спокойно открыть их. Он стал сразу каким-то робким, жалким, беспомощным и закричал: «Мама – мама – мама». Много раз. Наконец они поставили его на колени и впихнули голову в круглое отверстие доски.

– Так, значит, до последней минуты он звал свою мать? – переспросил тайный советник.

– Нет, – ответила она, – не до последней. Когда доска обхватила шею и голова показалась с другой стороны, он сразу вдруг замолчал, в нем что-то, наверное, произошло.

Профессор стал слушать со вниманием: «Вы хорошо видели его лицо, ваше сиятельство?»

Княгиня ответила: «Видела я превосходно, но что было с ним – я не знаю. Да ведь это

продолжалось всего одно мгновение: палач посмотрел вокруг, все ли в порядке, а рука уже искала кнопку, чтобы опустить нож. Я увидела глаза убийцы, они были широко раскрыты в какой-то безумной страсти, увидела широко раскрытый рот и жадные, искаженные черты лица...»

Она замолчала. «Это все?» – спросил профессор.

– Да, потом нож упал, и голова скатилась в мешок, который держал тут же помощник. Дайте мне еще мармеладу. Раздался стук в дверь; вошел доктор Петерсен. В руках у него была длинная пробирка, тщательно закрытая и закутанная ватой.

– С добрым утром, ваше превосходительство! – сказал он. – С добрым утром, ваше сиятельство, вот-здесь все.

Княгиня вскочила с места: «Дайте мне посмотреть...»

Но тайный советник удержал ее: «Подождите, ваше сиятельство, вы еще успеете увидеть. Если ничего не имеете против, то мы немедленно приступим к работе. – Он обратился к ассистенту: – Я не знаю, нужно ли это, но на всякий случай позаботьтесь...» Его голос понизился, и он шепнул что-то на ухо доктору.

Тот кивнул: «Хорошо, ваше превосходительство, я сейчас же распоряжусь».

Они прошли по коридору и остановились в конце его перед №17.

– Она здесь, – сказал тайный советник и осторожно открыл дверь.

Комната была вся белая и сияла от яркого солнца. Девушка крепко спала на постели. Светлый луч сквозь решетку окна дрожал на полу, вползал по золотой лестнице, крался по белью, ласкал нежно ее щеки и зажигал ярким пламенем красные волосы. Губы были полураскрыты и шевелились – казалось, будто она тихо шепчет слова любви.

«Ей что-то снится, – заметил тайный советник, – наверное, князь!» Он положил свою большую холодную руку ей на плечо и встряхнул: «Проснитесь, Альма!» Она испуганно задрожала, приподнялась немного.

– Что? В чем дело? – пробормотала она в полусне. Потом узнала профессора и откинулась на подушку. – Оставьте меня!

– Бросьте, Альма, не делайте глупостей, – сказал тайный советник. – Все готово. Будьте же благоразумны и не мешайте нам.

Быстрым движением он сорвал с нее одеяло и бросил на пол. Глаза княгини широко раскрылись. «Очень хороша! – сказала она. – Девушка прекрасно сложена».

Но Альма спустила сорочку и закрылась, насколько могла, подушкой. «Прочь! прочь! – закричала она. – Не хочу».

Тайный советник кивнул ассистенту: «Давайте! Поторопитесь, нам нельзя терять времени». Доктор Петерсен быстро вышел из комнаты.

Княгиня села на постель и начала уговаривать девушку: «Малютка моя, не глупите, ведь вам совсем не будет больно». Она начала ласкать ее и своими толстыми пальцами, унизанными кольцами, стала гладить. Альма оттолкнула ее: «Что вам нужно? Уйдите, уйдите, я не хочу».

Но княгиня не отводила: «Я желаю тебе только добра, я подарю тебе кольцо и новое платье...»

– Не хочу я кольца, – закричала Альма, – не нужно мне платья. Пустите меня, оставьте меня в покое!

Тайный советник спокойно, с улыбкой открыл пробирку;

«Вас скоро оставят в покое и скоро отпустят. Пока вы должны исполнить взятое на себя обязательство. Вот и доктор. – Он обернулся к ассистенту, который вошел с хлороформом: – Давайте скорее!» Проститутка посмотрела на него широко раскрытыми испуганными глазами. «Нет! – закричала она, – нет, нет». Она сделала движение, чтобы выскочить из постели и толкнула ассистента, который попытался ее удержать, толкнула обеими руками в грудь так, что он зашатался и едва не упал. Но княгиня бросилась на девушку и повалила ее огромным весом своего тела на постель. Обвила ее руками, впиалась пальцами в тело и схватила зубами длинные красные волосы. Альма продолжала кричать,

била ногами, но не могла подняться под этой невероятной тяжестью. Она почувствовала, как врач опустил ей на лицо маску и услышала, как он тихо считает: «Раз – два – три...» Она неистово закричала: «Нет, нет, не хочу! Не хочу! Ах – ах – я задыхаюсь...»

Крик ее замер и сменился жалким, еле слышным рыданием. «Мама – мама – мама...»

Две недели спустя проститутка Альма Рауне была арестована и посажена в тюрьму. Арест последовал на основании донесения его превосходительства действительного тайного советника тен-Бринкена, по подозрению в краже со взломом.

В первые дни профессор несколько раз осведомлялся у своего ассистента о той или другой вещи, которые у него пропадали. Пропало старинное кольцо с печатью – он снял его, когда мыл руки, и оставил на умывальнике; пропал и маленький кошелек, который, как он перкрасно помнит, оставался у него в палате. Он попросил доктора Петерсена последить за прислугой. В один прекрасный день из запертого ящика письменного стола ассистента исчезли золотые часы. Ящик был взломан. Но тщательный обыск клиники, произведенный тотчас же по просьбе самих же служащих, дал отрицательный результат.

– Это, наверное, кто-нибудь из пациенток, – заметил тайный советник и распорядился произвести обыск в палатах.

Но и тот не дал никаких результатов.

– Вы обыскали все палаты? – спросил Петерсена патрон.

– Все, ваше превосходительство! – ответил ассистент. – Кроме комнаты Альмы.

– Почему же вы там не посмотрели? – спросил опять профессор.

– Но, ваше превосходительство! – возразил доктор Петерсен. – Этого совершенно не может быть. Ее охраняют день и ночь. Она ни разу не выходила из палаты, и, кроме того, с тех пор как она знает, что наш опыт удался, она совершенно обезумела. Она кричит и вопит целыми днями, сводит нас всех с ума, – она думает только о том, как бы ей выйти отсюда и как бы устроить, чтобы разрушить наш план; кстати сказать, ваше превосходительство, я считаю абсолютно невозможным удержать ее здесь все время.

– Вот как? – Тайный советник рассмеялся: – Ну, Петерсен, прежде всего поищите-ка в № 17. Я вовсе не считаю этого совсем невозможным.

Через несколько минут ассистент вернулся, неся что-то в носовом платке.

– Вещи, – сказал он. – Я нашел их спрятанными у нее в мешке с бельем.

– Вот видите! – обрадовался тайный советник. – Протелефонируйте же скорее в полицию.

Ассистент медлил: «Простите, ваше превосходительство, позволю себе возразить. Девушка, безусловно, невиновна, хотя, конечно, улики и против нее. Нужно было посмотреть на нее, когда я со старой сиделкой обыскивал комнату и нашел эти вещи. Она была совершенно апатична, все это ее нисколько не трогало. Она, безусловно, невиновна в краже. Кто-нибудь из персонала украл вещи и, боясь, что его накроют, спрятал у нее в комнате». Профессор улыбнулся: «Вы большой рыцарь, Петерсен, но – безразлично!»

– Ваше превосходительство, – не унимался ассистент. – Может быть, еще немного подождем? Не лучше ли сперва подвергнуть допросу персонал...

– Послушайте, Петерсен, – сказал тайный советник. – Вы должны немного больше думать. Украла она вещи или нет, нам, в сущности, безразлично. Главное то, что мы избавимся от нее и в то же время поместим в надежное место. В тюрьме она будет в сохранности. Гораздо больше, чем здесь. Вы знаете, как хорошо я ей плачу, – я даже согласен прибавить немного за причиненные неприятности – конечно, если все пройдет благополучно. В тюрьме ей не будет хуже, чем у нас: комната, правда, поменьше, постель потверже и еда не такая хорошая, но зато ведь у нее появится общество – а это кое-что значит.

Доктор Петерсен посмотрел на него, все еще немного колеблясь: «Вы совершенно правы, ваше превосходительство, но – не станет ли она там болтать? Ведь будет очень неприятно, если...»

Тайный советник улыбнулся: «Почему? Пускай болтает сколько заблагорассудится.

Histeria mendax – вы же знаете, она истеричка, а истерички имеют полное право лгать! Никто ей не поверит. Просто-напросто истерическая беременная женщина. А что может она там рассказать? Историю с князем, которую наврал мой милый племянничек? Неужели вы думаете, что судья, прокурор, смотритель тюрьмы, пастор или вообще какой-нибудь разумный человек обратит внимание на то, что эта проститутка будет болтать? Кроме того, я сам поговорю с тюремным врачом – кто там сейчас?»

– Мой коллега, доктор Першейт, – ответил ассистент.

– Ах, ваш приятель, маленький Першейт, – продолжал профессор. – Я тоже знаю его. Я его попрошу особенно следить за нашей пациенткой. Скажу, что она прислана в клинику моим знакомым, имевшим с нею связь; скажу, что этот господин готов позаботиться об ожидаемом ребенке. Обращу внимание на болезненную склонность ее ко лжи и даже передам то, о чем она, по всей вероятности, будет говорить. Кроме того, мы за наш счет поручим ее защиту советнику юстиции Гонтраму и тоже расскажем ему все так, чтобы он ни на секунду не поверил словам проститутки. Ну, у вас есть еще какие-нибудь опасения?

Ассистент с восхищением взглянул на патрона. «Нет, ваше превосходительство! – сказал он. – Вы подумали решительно обо всем. Я сделаю то, что в моих силах, чтобы помочь вам в этом деле».

Тайный советник громко вздохнул и протянул руку: «Благодарю вас, дорогой Петерсен. Вы не поверите, как тяжела мне эта маленькая ложь. Но что же делать? Наука требует таких жертв. Наши мужественные предшественники, врачи средневековья, были вынуждены красть трупы с кладбищ, когда хотели изучать анатомию, – им приходилось считаться с опасностью строгого преследования за осквернение трупов и тому подобной чепухой. Не надо, однако, роптать. Нужно заранее примириться со всеми неприятностями – в интересах нашей святой науки. А теперь, Петерсен, идите и телефонируйте!»

Ассистент вышел, испытывая в душе безмерное почтение к своему патрону.

Альма Рауне была осуждена за кражу со взломом. На обвинительный приговор подействовало ее упорное заперательство, а также и тот факт, что она уже раз судилась за кражу. Но, тем не менее, ей оказали снисхождение, – вероятно потому, что она была очень красива, и еще потому, что ее защищал советник юстиции Гонтрам. Ей дали полтора года тюрьмы и зачли даже предварительное заключение. Но профессор тен-Бринкен добился того, что ей простили значительную часть наказания, хотя ее поведение в тюрьме было отнюдь не образцовым. Во внимание приняли, однако, что это дурное поведение объясняется ее истерически-болезненным состоянием, на которое указывал тайный советник в своем прощении. Кроме того, принято было в соображение и то, что она должна скоро стать матерью.

Ее выпустили, как только появились первые признаки родов, и перевезли в клинику тен-Бринкена. Там ее положили в прежнюю белую комнату № 17 в конце коридора. Уже по дороге начались схватки, – но доктор Петерсен уверял ее, что роды будут легкие.

Однако он ошибся. Схватки продолжались весь день, ночь и следующий день. По временам они ослабевали, но потом возобновлялись с удвоенной силой. Альма кричала, стонала и извивалась от страшной боли.

Об этих трудных родах говорит третья глава в кожаной книге А. т.-Б., также написанная рукою ассистента. Вместе с тюремным врачом он присутствовал при родах, которые наступили лишь на третий день и завершились смертью матери.

Сам тайный советник на них не присутствовал. В своем описании доктор Петерсен указывает на чрезвычайно крепкий организм и превосходное телосложение матери, что служило, по-видимому, гарантией легких и быстрых родов. Только чрезвычайно редкое, ненормальное положение ребенка вызвало осложнения, которые в конце концов сделали невозможным спасение обеих – и матери, и ребенка. Он упоминает далее, что девочка, находясь почти еще в материнской утробе, подняла невероятный крик, такой пронзительный и резкий, какого ни оба врача, ни акушерка никогда еще не слышали у новорожденных. В этом крике звучала чуть ли не сознательность, точно ребенок при насильственном отделении

от матери испытывал невероятную боль. Крик был настолько пронзителен и страшен, что они не могли удержаться от какого-то страха, – его коллега, доктор Першейт, должен был даже сесть: у него на лбу выступили крупные капли пота. Но зато потом ребенок успокоился и больше не плакал.

Акушерка тут же при обмывании заметила у в общем очень нежной и хрупкой девочки наличность *atresia vaganalis* – настолько, что даже кожа ног до самых колен срослась. Это странное явление после тщательного осмотра оказалось лишь поверхностным сращением эпидермы и легко могло быть устранено оперативным путем.

Что касается матери, то ей пришлось испытывать страшные боли и муки. От хлороформирования или лумбальной анестезии, а также и от впрыскивания скопаломин-морфия пришлось отказаться, так как безостановочное кровотечение вызвало сильное ослабление сердечной деятельности. Она все время невероятно кричала и плакала, но в момент родов пронзительный крик ребенка заглушил ее стоны. Они стали вдруг тише, слабее, и через два с половиной часа она, не приходя в сознание, скончалась. Непосредственной причиной смерти следует считать разрыв матки и обильную потерю крови.

Тело проститутки Альмы Рауне было передано в анатомический музей, так как извещенные о ее смерти родственники в Гальберштадте не захотели приехать и заявили, что не согласны даже нести расходы по устройству похорон. Тело послужило для научных целей профессору Гольдсбергеру и, несомненно, способствовало более успешному прохождению науки со стороны его слушателей. За исключением, впрочем, головы, которую препарировал кандидат медицинских наук Фасман. Но он во время каникул совершенно забыл про нее, а потом, вернувшись, решил сделать из черепа красивый стакан для игры в кости: все равно хорошего препарата из него бы не вышло. У него уже было пять костей из скелета казненного убийцы Нерриссена и не доставало как раз стакана. Кандидат медицинских наук Фасман не был суеверен, но утверждал, что стакан из черепа приносит ему в игре невероятное счастье. Он так много говорил о нем, что стакан этот и кости мало-помалу приобрели широкую известность. Сперва в доме самого Фасмана, потом в корпорации, к которой он принадлежал, и, наконец, во всем студенчестве. Фасман полюбил этот стакан и счел своего рода вымогательством, когда – на экзамене профессора тен-Бринкена – тайный советник попросил подарить ему и стакан, и кости. Он бы, наверное, отказал, если бы не чувствовал себя очень слабым в гинекологии и если бы как раз этот профессор не считался таким строгим и страшным экзаменатором. Факт тот, что кандидат все же успешно сдал экзамен: таким образом, стакан все-таки приносил счастье, пока он им обладал. Даже то, что еще оставалось от обоих людей, которые, никогда не видев друг друга, стали отцом и матерью Альрауне тен-Бринкен, пришло после смерти в некоторое соприкосновение: служитель анатомического театра Кноблаух бросил кости и остатки трупов, как всегда, в яму в саду, возле театра, позади стены, где так грустно росли белые, дикие розы...

INTERMEZZO

Горячий южный ветер, дорогая подруга моя, принес из пустыни все грехи мира! Там, где солнце уже тысячелетия горит и сверкает, там над спящими песками вздымается прозрачный, беловатый туман. И туман этот сгущается в белые облака, а вихрь сгоняет их в тучи, превращает в такие круглые странные яйца: и они вмещают в себя горящий зной солнца.

А в бледные ночи крадется вокруг василиск, которого произвел когда-то на свет диск луны. Лунный диск, неплодородный, – его отец, а мать – песок, такой же неплодородный: такова тайна пустыни. Многие говорят, что он зверь, но это неправда. Он – мысль, которая выросла там, где нет почвы, нет семени, которая родилась из вечного плодородного и приняла лишь странные формы, незнакомые жизни. Поэтому-то никто и не может описать

это существо: его нельзя описать, как нельзя описать пустое ничто.

Но правда то, что оно ядовито. Оно пожирает раскаленные яйца солнца, которые сгоняет вихрь пустыни. Поэтому-то и глаза его дышат пурпурным пламенем, а дыхание полно горячих серных испарений. Но не только эти раскаленные яйца пожирает василиск, дитя лунного диска. Когда он насытился, наполнил чрево свое раскаленным ядом, он извергает свою зеленую слюну на всех, которые лежат в песке, – острыми когтями срывает мягкую кожу, чтобы проникала туда страшная слизь. А когда утром подымается ветер, он видит странное движение и волнение под тонкими оболочками, словно окутанными лиловыми и влажно-зелеными покрывалами.

А когда вокруг в полуденной стране лопаются яйца, высиженные раскаленным солнцем, – яйца крокодилов, кротов и змей, яйца уродливых пресмыкающихся и насекомых, – тогда с легким треском лопаются и ядовитые яйца пустыни. Но в них нет жизни, в них нет ни змей, ни крокодилов, только какие-то странные бесформенные существа. Пестрые, переливающиеся, как покрывало танцовщиц в огненной пляске, дышащие всеми ароматами мира, словно бледные цветы санги, звучащие всеми звуками, точно бьющееся сердце ангела Израфила, содержащие все яды, как отвратительное тело василиска.

Но в полдень проносится южный ветер. Он выползает из трясины раскаленной лесной страны и пляшет по бездонным пескам пустыни... Он подымает скалы, покрывала яиц и уносит их далеко к лазурному морю. Уносит с собою, будто легкие облака, будто свободные одежды ночных жриц.

И к светлomu северу несется ядовитая чума всех страстей и пороков...

Холодны, сестра моя, как весь твой север, – наши тихие дни. Твои глаза лазурны и добры, они не знают ничего о раскаленных страстях, словно тяжелые плоды синих глицин – часы твоих дней, они падают один за другим на мягкий ковер: и вот по сверкающим солнцем аллеям скользят мои легкие шаги.

Когда же падают тени, белокурая сестренка моя, тогда твое юное тело загорается и дышит жарким зноем. С юга несутся клубы тумана, и твоя жадная душа впитывает их, твои губы дрожат от кровавых, ядовитых поцелуев пустыни... Но не тогда, белокурая сестренка моя, спящее дитя моих мечтательных дней! Когда мистраль слабо колеблет лазурные волны, когда в высоких верхушках деревьев слышатся птичьи голоса, тогда я перелистываю тяжелую кожаную книгу Якоба тен-Бринкена. Медленно, точно море, катится кровь по моим жилам, и я читаю твоими тихими глазами с бесконечным спокойствием историю Альрауне. И излагаю ее просто, понятно совсем как человек, свободный от страсти...

Но я пью и кровь, которая струится из твоих ран, – и смешиваю ее со своей красной кровью, отравленной греховным ядом горячей пустыни. И когда мозг мой лихорадочно содрогается от твоих поцелуев и от страсти твоей, тогда я вырываюсь из твоих объятий...

Пусть сижу я, погруженный в мечты, у окна, перед морем, в которое сирокко бросает свои раскаленные волны, пусть я снова берусь за кожаную книгу тайного советника и читаю историю Альрауне, читаю твоими ядовито-раскаленными глазами. Море бьется о неподвижные скалы – так и кровь моя бьется о стенки сосудов. Иначе, совершенно иначе представляется мне теперь то, что читаю, и излагаю историю эту бурно и пылко, как человек, полный могучею дикой страстью.

ГЛАВА 6, которая повествует о том, как вырос ребенок Альрауне

О приобретении стакана из черепа проститутки упоминает в своей кожаной книге и тайный советник. С того дня она ведется не четким почерком доктора Петерсена, а его собственным, мелким и неразборчивым. Но еще перед этим небольшим эпизодом в книге имеется несколько кратких заметок, из них некоторые интересны для нашей истории.

Первая касается операции *asteria vaginalis* у ребенка, которую произвел тот же доктор Петерсен и которая, по-видимому, была причиной преждевременной кончины доктора. Тайный советник упоминает, что ввиду экономии, доставленной смертью матери, а кроме

того, ввиду ценных услуг ассистента, он дал ему трехмесячный отпуск с сохранением жалования и обещал сверх того выдать особое вознаграждение в размере тысячи марок.

Доктор Петерсен чрезвычайно обрадовался отпуску и решил предпринять путешествие, первое более или менее продолжительное за всю свою жизнь. Но он настаивал на том, чтобы предварительно произвести эту довольно легкую операцию, хотя, в сущности, ее с успехом можно было бы отложить и на осень. Он произвел операцию за два дня до предполагаемого отъезда: для ребенка она прошла очень успешно. К сожалению, однако сам он получил при этом тяжелое заражение крови, – что тем более удивительно, ибо доктор Петерсен всегда отличался почти преувеличенной акуратностью. Через двое суток в страшных мучениях он умер. Прямой причины заражения крови установить невозможно. На левой руке у него оказалась, правда, ранка, еле заметная невооруженным глазом: вероятно, его слегка оцарапала маленькая пациентка. Профессор упоминает еще о том, что он вторично сэкономил довольно крупную сумму. Никаких комментариев по этому поводу он, однако, не делает.

Далее в книге рассказывается, что ребенок, остававшийся часто в клинике под присмотром сиделок, оказался чрезвычайно тихим и спокойным. Только один раз девочка кричала: когда ее крестили. Она кричала так страшно, что присутствующие – нянька, возившая ее в церковь, княгиня Волконская и советник юстиции Гонтрам, бывшие восприемниками, священник, кюстер и даже сам профессор – не знали, что с нею поделать. Она начала кричать с той самой минуты, когда ее вынесли из церкви. В церкви крик был настолько невыносим, что священник постарался ускорить церемонию, чтобы избавить себя и других от этого невыносимого крика. Все облегченно вздохнули, когда церемония окончилась, и нянька с девочкой сели в экипаж.

В первые годы жизни девочки, которой профессор дал имя Альрауне, не произошло, по-видимому, ничего особенного, – по крайней мере, в кожаной книге не имеется никаких достойных упоминания данных. Там сообщается только, что профессор "осуществил давно задуманное намерение усыновить девочку и в составленном им завещании назначил ее единственной наследницей, категорически лишив наследства всех своих родственников. Сообщается также, что княгиня подарила ребенку очень дорогое, но крайне безвкусное кольцо, состоящее из четырех золотых цепочек, усыпанных бриллиантами, и двух ниток крупного жемчуга. В середине же, в медальоне, тоже усыпанном жемчугом находилась прядь огненно-красных волос, которую княгиня отрезала у матери во время мучительной операции.

В клинике девочка оставалась до четырех лет, до того времени, когда тайный советник продал это учреждение и другие, смежные. Вместе с девочкой он поселился в своей усадьбе в Лендене.

Там у девочки нашелся товарищ, правда, четырьмя годами старше ее: это был Вельфхен Гонтрам, младший сын советника юстиции. Тайный советник тен-Бринкен рассказывает в самых общих чертах о крушении дома Гонтрамов; он коротко упоминает о том, что в конце концов смерти надоела эта бесконечная игра в белом доме на Рейне и она в один год похитила мать и троих сыновей. Четвертого мальчика, Иосифа, предназначенного по желанию матери к служению церкви, взял к себе пастор Шредер, а Фрида вместе со своей подругой Ольгой Волконской, вышедшей замуж за одного довольно сомнительного испанского графа, уехала в Рим и живет там в ее доме. В то же время произошло и финансовое крушение советника юстиции, которое не удалось предотвратить, несмотря на блестящий гонорар, выплаченный княгиней за удачное окончание ее бракоразводного процесса. Тайный советник упоминает о том, что он взял к себе младшего ребенка, совершив тем самым акт высокой гуманности, но забывает добавить, что Вельфхен получил в наследство от тетки со стороны матери несколько виноградников и небольшой участок земли и будущее его было почти обеспечено. Тен-Бринкен упоминает только, что он принял на себя управление его имуществом, и объясняет его своей деликатностью: чтобы у мальчика потом не было чувства, будто его воспитали в чужом доме из милости. Воспитание

должно оплачиваться процентами с капитала.

Надо думать, тайному советнику не приходилось добавлять из своих средств. Кроме того, из всех заметок, которые заносил в этот год тен-Бринкен в кожаную книгу, можно вывести заключение: Вельфхен Гонтрам сам зарабатывал себе хлеб, который ел в Ленденихе. Он был хорошим товарищем для Альрауне, и даже больше – он был ее единственной игрушкой и в то же время нянькой. Привыкнув буяннить со своими братьями, он переносил любовь на маленькое нежное существо, которое бегало одно по этому огромному саду, по конюшням, оранжереям и другим постройкам. Четыре смерти в родительском доме и внезапное крушение всего, что было его миром, произвело на него сильное впечатление, несмотря на равнодушие характера Гонтрамов. Маленький, хорошенький мальчик, унаследовавший от матери большие, черные мечтательные глаза, стал тихим, молчаливым и замкнутым. Неожиданно подавленный интерес к чисто мальчишеским забавам обвился, словно ползучее растение, вокруг маленького существа Альрауне и укрепился там твердо своими тонкими бесчисленными корнями. Все, что было в его юной груди, отдавал он новой сестренке, отдавал с той огромной безграничной добротой, которая перешла по наследству от родителей. Когда он днем возвращался из гимназии, где сидел всегда на последних скамьях, он пробегал мимо кухни, как ни бывал голоден. Бежал прямо в сад и отыскивал Альрауне. Прислуге приходилось приводить его силою, чтобы накормить. Никто не заботился о детях, но в то время как все питали к маленькой девочке какое-то странное недружелюбное чувство, – Вельфхена все очень любили. На него перешла несколько неуклюжая любовь черни, долгие года направленная на хозяйского племянника Франка Брауна, когда он ребенком проводил здесь каникулы. Фройтсгем, старый кучер, пускал Вельфхена к лошадям, сажал на седло, и он ездил по двору и саду. Садовник отдавал ему лучшие плоды, а служанки подогревали кушание и следили за тем, чтобы он всегда был сыт. Мальчик умел относиться к ним как к себе равным, между тем в девочке, сколь она еще ни была мала, – развилась какая-то странная привычка проводить резкую границу между собой и всеми ними. Она никогда с ними не разговаривала, а если открывала рот, то только для того, чтобы высказать желание, звучавшее всегда повелительно: между тем люди эти на Рейне не переносят никаких приказаний. Не переносят даже от своего господина, – а не только от чужой девочки...

Они не били ее – тайный советник это строго запретил, – но постоянно давали чувствовать ребенку, что нисколько о нем не заботятся, и держали себя так, будто его вовсе и не было. Девочка бегала повсюду – пусть бегают, сколько угодно. Они, правда, заботились о ее пище, постельке, о белье и одежде, – но так же, как о старой дворняжке, которой приносили еду, выметали конуру и на ночь спускали с цепи.

Тайный советник нисколько не заботился о детях и предоставлял им полную свободу, С тех пор как после продажи клиники он бросил и профессуру, он занимался, помимо своих земельных и закладных операций, только археологией. Занимался, как всем, за что ни брался, – как умный купец: ему удавалось продавать во все музеи земного шара по очень высоким ценам свои умело составленные коллекции. Земля вокруг усадьбы Бринкенов с одной стороны вплоть до Рейна и до города, а с другой до самых предгорий Эйфеля кишмя кишела всякими вещами, относившимися к римскому периоду. Бринкены давно уже собирали эти древности, и когда окрестные крестьяне плугами своими натыкались в земле на что-нибудь твердое, они тотчас же тщательно выкапывали клады и несли их в Лендених в старый дом, посвященный Иоганну Непомуку. Профессор брал все – большие горшки с монетами, заржавленное оружие и пожелтевшие кости, урны, запястья и слезники. Он платил гроши, но крестьяне знали наперед, что им поднесут в кухне стаканчик и дадут даже денег, – правда, за очень высокие проценты, но зато без поручительства, которое требуется в банке.

Профессор устанавливает в своей кожаной книге тот факт, что земля никогда не давала ему столько сокровищ, сколько в те годы, когда в доме была Альрауне. Он смеялся: она приносит богатство. Он знал превосходно, что это происходит самым естественным путем,

что только большая интенсивность в занятиях служила причиной. Но он умышленно связывал этот факт с присутствием маленького существа: он играл этой мыслью. Он пускался в очень рискованные спекуляции, приобретал большие участки вокруг усадьбы, раскапывал землю, заставлял обшаривать каждый вершок. Он не останавливался перед величайшим риском и учредил даже земельный банк, которому пророчили вернейшее банкротство в самом ближайшем будущем. Но банк удержался. За что он ни брался, все преуспевало. Потом благодаря какой-то случайности открылся минеральный источник на одном из его участков в горах. Он принялся источник эксплуатировать, образовал небольшой трест, снабдил ради декорума национальным флагом и заявил, что намерен бороться с иностранными продуктами, с англичанами, которые ввозят в Германию «Аполлинарис». Мелкие заводчики толпились вокруг своего вождя, благоговели перед его превосходительством и охотно согласились предоставить ему, как учредителю, большое число акций. Они не ошиблись: тайный советник неустанно заботился об их интересах и довольно жестоко расправлялся с конкурентами.

Он пускался в самые разнообразные предприятия, – у них было одно только общее: они обязательно должны быть связаны с землей. Это тоже было его суеверием – сознательной игрой мыслей. «Альрауне извлекает из земли золото», – думал он и не отдалялся от того, что имело с землей хоть какую-нибудь связь. В душе он нисколько в это не верил: но при каждой рискованной земельной спекуляции у него проявлялось какое-то твердое убеждение, что дело окончится полной удачей. Все остальное он отвергал. Даже чрезвычайно выгодные биржевые спекуляции с ясными как день расчетами без всякого малейшего риска. Но зато он скупал участок за участком, приобретал железо и уголь, – ему везло во всем.

– Это Альрауне, – говорил он улыбаясь.

Наступил, однако, день, когда эта мысль для него стала не просто шуткой.

Вельфхен копался в саду позади конюшен под большим тутовым деревом. Альрауне потребовала, чтобы он построил ей крепость. Он копал уже несколько дней. Ему помогал сын садовника, а девочка только глядела, ничего не говорила и даже не смеялась.

Однажды вечером заступ наткнулся на что-то твердое. Подбежал сын садовника, они осторожно начали рыть – и скоро принесли профессору ценную перевязь, запястье и целый горшок монет. Он тотчас же велел продолжать раскопки, – нашли целый клад: множество галльских монет и всякой утвари, редкой и очень дорогой.

Странного тут ничего не было. Если крестьяне находили кладов повсюду, – отчего же не найти в саду? Но дело осложнилось: он спросил мальчика, почему он стал рыть именно здесь, под деревом. Вельфхен ответил, что так велела Альрауне: тут – и нигде в другом месте.

Он спросил и Альрауне. Но та упорно молчала.

Тайный советник подумал: «Она как волшебная палочка – она чувствует, где в земле зарыт клад». Но он тотчас же рассмеялся, конечно, – все еще продолжал смеяться.

Иногда он брал ее с собою. Ходил с нею к Рейну, прогуливался по участкам, где люди его производили раскопки. И спрашивал ее, по возможности более равнодушно: «Где надо рыть?» – и зорко следил за нею, когда она шла по дороге, – не появится ли на лице ее какого-нибудь признака, чего-нибудь, что могло бы заставить подуматься...

Но она молчала, и ее личико не говорило решительно ничего.

Но вскоре она поняла. Останавливалась по временам и говорила: «Здесь».

Землю раскапывали, но ничего не находили. Она только громко смеялась.

Профессор думал: «Она издевается». Но продолжал раскопки в тех местах, на которые она указывала.

Несколько раз они действительно увенчивались успехом. Раз как-то наткнулись на римскую могилу; потом на большую урну с серебряными монетами.

Тайный советник говорил: «Это случайность», – но про себя думал: «Быть может, это случайность!»

Однажды вечером, когда тайный советник вышел из библиотеки, он увидел, что

мальчик стоит у колодца полуобнаженный, нагнувшись, а старый кучер качает воду и обливает голову, спину и руки мальчика. Кожа его была вся воспаленной, в маленьких пупырышках.

– Что с тобой, Вельфхен? – спросил тайный советник.

Мальчик стиснул зубы и молчал; его черные глаза были полны слез.

Но кучер заметил:

– Это от крапивы. Девочка обожгла его крапивой.

Но тот стал отрицать: «Нет, нет, она не обожгла меня. Я сам виноват: я сам полез в крапиву».

Тайный советник начал его допрашивать; только от кучера ему удалось добиться правды.

Дело было так: он разделся до пояса и стал кататься по земле. Но – так хотела Альрауне. Она заметила, что он обжег руку, когда случайно дотронулся до крапивы, заметила, что рука вся покраснела и покрылась сыпью. Она заставила его сунуть и другую руку, а потом раздеться и залезть в самую чащу...

– Глупый мальчишка! – выругал его тайный советник, но потом спросил, не дотрагивалась ли и Альрауне до крапивы.

– Дотрагивалась, – ответил мальчик, – но не обожглась.

Профессор пошел в сад и наконец нашел девочку. Она стояла у высокой стены и рвала крапиву. Потом голыми руками переносила ее в беседку и устраивала там ложе.

– Для кого это? – спросил он.

Девочка посмотрела на него и сказала серьезно:

– Для Вельфхена.

Он взял ее руки, но нигде не было и следа какой-либо сыпи.

– Пойдем-ка! – сказал он.

Он провел ее в оранжерею: там длинными рядами стояли японские примулы.

– Сорви-ка несколько цветов, – сказал он.

Альрауне повиновалась. Ей приходилось подыматься на цыпочки. Ее руки и даже лицо соприкасались с ядовитыми листьями. Но нигде не показывалось никакой сыпи.

– Она иммунна, – пробормотал профессор.

И написал в своей кожаной книге подробное исследование о появлении urticaria при соприкосновении с *Urtica dioica* и *Primula obconica*. Он заметил, что действие их чисто химическое, что крохотные волоски стеблей и листьев, обжигая кожу, испускают из себя кислоту, вызывающую на пораженных местах местное заражение. Он задался вопросом, не стоит ли иммунность по отношению к примуле и крапиве, так редко встречающаяся на практике, в связи с нечувствительностью колдуний и одержимых и нельзя ли объяснить оба этих явления самовнушением на истерической почве. Заметив в маленькой девочке особое странное свойство, он стал теперь собирать мелкие подробности, которые подтверждали бы его мысль. Тут же в книге имеется небольшая заметка: доктор Петерсен упустил из виду, как нечто совершенно неважное, – что ребенок родился ровно в полночь.

В усадьбу профессора пришел старый Брамбах. Это был полуинвалид; он ходил по крестьянским деревням, продавал билеты церковной лотереи, а также небольшие ладанки и даже дешевые четки. Придя в усадьбу, он попросил доложить профессору, что принес римские древности, которые нашел на пашне один крестьянин. Профессор велел передать, что ему некогда и чтобы он подождал. Брамбах ничего не имел против, присел на скамейку во дворе и закурил трубку. Потом через два часа профессор позвал его (он всегда заставлял ждать, даже когда был совершенно свободен; «Ничто не сбивает так цену, как ожидание», – говорил он). Но на этот раз он был действительно занят: у него сидел директор нюрнбергского музея и купил целую коллекцию галльских вещей. Тайный советник не пустил Брамбаха в библиотеку и вышел к нему в переднюю. «Ну, старина, покажите, что у вас есть!» – крикнул он. Инвалид развязал большой красный платок и аккуратно выложил на

стул все, что в нем было: много монет, несколько каких-то странных обломков, рукоять щита и красивый слезник. Тайный советник не шевельнулся и только искоса посмотрел на слезник. «Это все, Брамбах?» – спросил он с упреком, и когда старик кивнул головою, он как следует его выругал: так стар, а все еще глуп, как мальчишка. Четыре часа шел сюда и четыре пойдет обратно – два часа прождал: неужели стоит терять целый день из-за хлама! Это не стоит ни гроша, пусть он возьмет все обратно, тайный советник ничего не купит. Сколько раз приходится повторять, чтобы крестьяне не бегали из-за всякой дряни в Лендених! Пусть ждут, пока соберется побольше, и тогда приносят! Неужели ему с хромой ногой приятно ходить так далеко и не получить ни гроша? Просто стыдно!

Инвалид почесал за ухом и смущенно стал вертеть шапку. Ему хотелось что-нибудь сказать, чтобы смягчить профессора. Он ведь так хорошо умел продавать. Но на ум не пришло ничего, кроме дальней дороги, – а как раз за нее и упрекал профессор. Ему стало досадно, но он понял, что он действительно глуп. И не возразил ни слова. Попросил только позволения оставить все эти вещи, – ему не хотелось тащить их обратно. Тайный советник кивнул головою и дал ему пятьдесят пфеннигов.

– Вот вам, на дорогу! Но в следующий раз будьте умнее и делайте, что говорят! А теперь отправляйтесь на кухню, там дадут бутерброды и стакан пива. – Инвалид поблагодарил, довольный, что еще так окончилось, и заковылял по двору к кухне.

Профессор же быстро взял красивый слезник, вынул из кармана шелковый платок, тщательно очистил от грязи и начал разглядывать со всех сторон маленькую лиловую бутылочку. Потом открыл дверь, вернулся в библиотеку, где сидел нюрнбергский археолог, и с гордостью показал ему слезник.

– Смотрите, дорогой доктор, – начал он, – вот еще одна драгоценность. Она из могилы Тулии, сестры полководца Авла, из лагеря при Шварирейндорфе. Я ведь вам уже показывал другие находки оттуда! – Он протянул бутылочку и продолжал: – Ну-ка, попробуйте определить, какой она эпохи!

Ученый взял бутылочку, подошел к окну и поправил очки. Потом выпросил лупу и шелковый платок, стал чистить и вытирать, поднес бутылочку к свету, вертел ее в разные стороны. Наконец произнес неуверенным тоном: «Гм, по-видимому это сирийский фабрикант из стеклянного завода в Пальмире».

– Bravo! – вскричал тайный советник. – Вас нужно остерегаться, вы тонкий знаток! Если бы ученый привел другую гипотезу, все равно встретил бы такое же воодушевление.

– Ну, доктор, а эпоха?

Археолог еще раз повертел бутылочку. «Второй век, – сказал он, – первая половина второго века». На этот раз ответ звучал довольно уверенно.

– Я в восхищении! – подтвердил тайный советник. – Кажется, никто не может давать определения так быстро и так непогрешимо!

«Конечно, кроме вас, ваше превосходительство!» – польщенно ответил ученый. Но профессор скромно возразил: «Вы преувеличиваете мои познания, доктор. Мне понадобилось не меньше недели усиленной работы, чтобы определить с точностью происхождение этого слезника. Я перелистал целую кучу томов. Но мне не жаль времени: это действительно редкая вещь, – правда, она досталась мне не дешево. Тому, кто мне ее продал, она действительно принесла счастье».

– Мне бы очень хотелось приобрести ее для музея, – заметил доктор. – Сколько бы вы за нее взяли?

– Для нюрнбергского музея всего пять тысяч марок, – ответил профессор. – Вы знаете, что для германских учреждений я назначаю особые цены. На будущей неделе ко мне приезжают два англичанина, с них я потребую не менее восьми тысяч, – они, конечно, не упустят удобного случая.

– Но, ваше превосходительство, – возразил ученый, – пять тысяч марок! Вы знаете, что я не могу заплатить такой суммы. Это превосходит мои полномочия.

Тайный советник сказал: «Мне очень жаль, но я не могу взять меньше».

Ученый еще раз повертел редкую находку: «Изумительный слезник. Я прямо влюблен в него. Три тысячи я охотно бы за него дал».

Тайный советник ответил: «Нет! нет, ни гроша меньше пяти тысяч! Но знаете, что я вам скажу: раз вещь эта вам так нравится, то позвольте мне поднести ее вам в подарок. Примите ее на память о вашем поразительно метком определении»

– Благодарю вас, ваше превосходительство, благодарю вас! – сказал археолог. Он поднялся и крепко пожал руку профессора. – Но мое положение не позволяет мне принимать подарков, простите поэтому, если я должен его отклонить. Впрочем, я готов заплатить требуемую сумму, – мы должны сохранить эту редкую вещь для нашего отечества. Мы не имеем никакого права уступать ее англичанам.

Он подошел к письменному столу и написал чек. Но до его ухода тайный советник навязал ему несколько менее интересных вещей – из могилы Тулии, сестры полководца Авла. Профессор велел заложить экипаж для гостя и проводил его до самой коляски. Возвращаясь по двору, он увидел Вельфхена и Альрауне, стоявших возле инвалида, который показывал им свои иконы и четки. Старый Брамбах, закусив и выпив немного, снова повеселел и успел уже продать нитку четок кухарке: он убедил ее, что вещь освящена самим епископом и потому на тридцать пфеннигов дороже прочих. Все это развязало ему язык, он собрался с духом и заковылял навстречу профессору.

– Господин профессор, – пробормотал он, – купите деткам изображение святого Иосифа!

Тайный советник был в хорошем настроении и ответил:

– Святого Иосифа! Нет! Нет ли у вас Иоганна Непомука?

Нет, у Брамбаха его не было. Был и Антоний, и Иосиф, и Фома, но Непомука, к сожалению, не было. Он снова стал упрекать себя в глупости: в Лендене действительно можно делать дела только со святым Непомуком, а не с другими святыми. Он сконфузился, но все-таки сделал последнюю попытку:

– А церковная лотерея, господин профессор? Купите билет? В пользу восстановления церкви святого Лаврентия в Дюльмене! Стоит всего одну марку – и вдобавок всякий купивший получает отпуск на сто дней из ада пекла! Вот тут даже написано! – Он показал билет.

– Нет, – ответил тайный советник, – нам никакого отпущения не нужно, мы не так грешны и, даст Бог, попадем прямо в рай. А выиграть в лотерею все равно ведь не удастся.

– Как? – возразил инвалид. – Нельзя выиграть? В лотерею триста выигрышей, первый – пятьдесят тысяч марок, вот тут написано, – и он грязными пальцами указал на билет.

Профессор взял билет у него из рук. «Ах ты, старый осел! – засмеялся он. – А вот тут стоит еще: пятьсот тысяч билетов! Ну-ка, посчитай, сколько шансов на выигрыш!»

Он хотел было уйти, но инвалид заковылял следом и удержал его за рукав. «Попробуйте, господин советник, – попросил он, – ведь и нам нужно жить».

– Нет! – ответил тайный советник. Но инвалид не унимался: «У меня предчувствие, что вы выиграете!»

– У тебя вечно предчувствия!

– Пусть барышня вытянет билет! – настаивал Брамбах.

Профессор задумался.

– Надо попробовать! – пробормотал он. – Поди-ка сюда, Альма! Вытяни билет.

Девочка подбежала ближе, инвалид поднес ей целую кучу билетов.

– Закрой глаза, – велел профессор. – Ну, а теперь тяни!

Альма взяла билет и подала его тайному советнику. Тот задумался на мгновение, а потом подозвал и мальчика. «Вытяни билет и ты, Вельфхен», – сказал он.

В кожаной книге профессор тен-Бринкен сообщает, что в дюльменской церковной лотерею он выиграл пятьдесят тысяч марок. К сожалению, невозможно утверждать, добавляет он, на какой именно билет пал выигрыш – на вытянутый Альмой или Вельфхеном. Он не записал на билетах имен детей и положил оба в письменный стол. Но он почти не

сомневался, что выигрыш пал на билет Альрауне.

Старого Брамбаха, который почти навязал ему эти билеты, он отблагодарил: подарил пять марок и устроил так, что тот стал получать из вспомогательной кассы для старых инвалидов ежегодную пенсию в тридцать марок.

ГЛАВА 7, которая рассказывает, что произошло когда Альрауне была девочкой

С восьми до двенадцати лет Альрауне тен-Бринкен воспитывалась в монастыре Sacre-Coeur в Нанси, а с двенадцати до семнадцати – в пансионе мадемуазель де Винтелен в Спа, на улице Карто. Два раза в году на каникулы она приезжала в Лендених к профессору.

Сначала тайный советник пробовал дать ей домашнее образование. Пригласил бонну для воспитания, потом учителя, а затем еще одного. Но все они скоро от нее отказались: при всем желании с девочкой ничего нельзя было поделаться. Она была, правда, вовсе не непослушная, не шалила, но никогда не отвечала, – ее никак не могли отучить от упрямого молчания. Она сидела спокойно и тихо и смотрела куда-то в пространство; трудно сказать, слушала ли она вообще слова учителя. Правда, она брала в руки грифель, но нельзя было убедить ее начать писать, – она только рисовала каких-то странных зверей с десятью ногами или лица с тремя глазами и двумя носами. Тому, чему она научились до тех пор, пока тайный советник поместил ее в монастырь, она была целиком обязана Вельфхену. Мальчик, сам застревавший в каждом классе, ленивый в школе и смотревший с высокомерным презрением на школьные занятия, дома с невероятным терпением занимался с сестренкой. Она заставляла его писать длинные ряды цифр или сто раз имена, его и свое, и радовалась, когда он уставал и в изнеможении бросал грифель. Тогда она сама брала его, училась писать цифры и буквы, быстро соображала и снова заставляла писать мальчика. Тогда уже она начинала делать ему замечания, – то то, то другое ей не нравилось. Она разыгрывала из себя учительницу, – таким образом училась она.

Когда однажды учитель Вельфхена приехал к тайному советнику пожаловаться на плохие успехи воспитанника, она поняла, что Вельфхен очень слаб в науках. И начала играть с ним в школу, следила за ним, заставляла сидеть до поздней ночи и выслушивала уроки. Запирала его и не выпускала из комнаты, пока он не кончал заниматься. Она делала так, словно сама знала все, – не терпела никаких сомнений в своем превосходстве.

Воспринимала она все очень легко и быстро. Ей не хотелось знать меньше, чем Вельфхен, – и она проглатывала одну книгу за другой. Читала без всякого разбора, без связи. Дело дошло до того, что в конце концов мальчик, чего-то не зная, приходил к ней в твердом убеждении, что она должна это знать. Она не смущалась, говорила, чтобы он подумал как следует, бранила его, а сама пользовалась временем, рылась в книгах, бегала к тайному советнику и спрашивала. Потом возвращалась к мальчику и осведомлялась, не надумал ли он сам чего-нибудь. Когда он отрицательно качал головою, она давала ему ответ.

Профессор замечал эту игру, – она ему нравилась. Ему бы никогда не пришла в голову мысль отдать девочку из дому, если бы не настаивала княгиня. С детства правоверная католичка, эта женщина с каждым годом становилась все более и более набожной, будто каждый фунт жира, прибавлявшийся к ней, увеличивал ее благочестие.

Она настаивала, что ее крестница должна быть воспитана в монастыре. И тайный советник, бывший уже много лет ее финансовым советником и оперировавший ее миллионами, как своими собственными, счел нужным уступить ей. И Альрауне была отправлена в Нанси в монастырь.

Об этом периоде в кожаной книге, помимо кратких заметок, написанных рукою профессора, имеются еще вклеенными длинные письма настоятельницы. Профессор улыбался, получая их, особенно когда описывались исключительные успехи девочки: он знал, что такое монастырь, и прекрасно понимал, что нигде в мире нельзя научиться меньшему, чем у благочестивых сестер. Поэтому он был даже рад, когда первоначальные

хвалебные тирады, получаемые всеми родителями, скоро Сменились относительно Альрауне другими, противоположными. Настоятельница все чаще и чаще стала жаловаться на всевозможные жестокости. Жалобы были почти одинаковы: она жаловалась не на поведение самой девочки, не на ее поступки, а скорее на то влияние, которое она оказывала на подруг.

"Надо быть справедливой, – писала настоятельница, – девочка сама никогда не мучит животных, – по крайней мере, этого никто не видел. Но столь же достоверно, что все те жестокости, в которых повинны другие, придуманы ею. В первый раз была поймана маленькая Мария, очень хорошая и послушная девочка: надзирательница заметила, как она в монастырском саду надувала лягушку через соломинку. Ее спросили, почему она это делает, и она призналась, что мысль была подана ей Альрауне. Мы сперва не поверили, подумали, что это только отговорка, чтобы свалить с себя хотя бы часть вины. Но вскоре двух других девочек застигли, когда они посыпали солью несколько больших улиток, – бедные животные страшно страдали. И снова обе девочки признались, что их подговорила на это Альрауне. Я сама спросила ее, и она призналась, заявляя, что ей про это рассказали и она захотела посмотреть, так ли на самом деле. Она созналась и в том, что уговорила Марию сделать опыт с лягушкой: по ее словам, ей очень нравится, когда такая надутая лягушка с треском вдруг лопается. Сама она этого бы, конечно, не сделала, – внутренности лягушки могли пометь ей на руки. Я спросила ее, сознает ли она свой грех, но она ответила: «Нет, я ничего дурного не сделала, а то, что делают другие, меня ничуть не касается».

Возле этого места имеется замечание профессора: «Она совершенно права!»

«Несмотря на строгие наказания, – продолжало письмо, – мы заметили скоро еще несколько прискорбных фактов, виновницей которых опять-таки была Альрауне. Так, Клара Маассен из Дюрена, девочка немного постарше Альрауне, живущая у нас уже четыре года и никогда не подававшая повода ни к одной жалобе, проткнула кроту раскаленной спицей глаза. Она сама так взволновалась своим поступком, что несколько дней до ближайшей исповеди была крайне возбуждена и без всякого малейшего повода плакала. И успокоилась только тогда, когда получила отпущение грехов. Альрауне заявила в ответ, что кроты живут в темной земле и им должно быть совершенно безразлично, видят они или нет... Потом через несколько дней мы нашли в саду силки для птиц, очень остроумно устроенные: маленькие преступницы, слава Богу, ничего не поймавшие, не хотели ни за что признаться, кто их навел на эту мысль. И только под страхом тяжелого наказания они сознались, что их уговорила Альрауне и в то же время обещала жестоко отомстить, если ее выдадут. К сожалению, дурное влияние девочки за последнее время настолько усилилось, что мы очень часто не в силах доискаться даже правды. Так, одну из воспитанниц поймали на том, как она ловила мух, осторожно обрезала ножницами крылышки, обрывала ножки и бросала затем в муравейник. Девочка заявила, что сделала это по собственной инициативе и даже перед духовником продолжала настаивать, что Альрауне тут ни при чем. С таким же упрямством отрицала вину Альрауне и кузина этой девочки, привязавшая к хвосту нашей общей любимицы, кошки, большую кастрюлю, от которой бедное животное едва не взбесилось. Тем не менее мы твердо убеждены, что это опять-таки дело рук Альрауне».

Настоятельница писала далее, что она созвала конференцию и что они порешили просить его превосходительство взять Альрауне из монастыря и сделать это возможно скорее. Тайный советник ответил, что он очень скорбит обо всем происшедшем, но просит покамест оставить девочку в монастыре: чем тяжелее работа, тем больше окажется последствий успеха. Он не сомневается, что терпению и благочестию сестер монахинь удастся вырвать сорную траву из сердца ребенка и превратить его в прекрасный сад Божий.

В душе он хотел только убедиться, действительно ли влияние ребенка сильнее строгой монастырской дисциплины и влияния монахинь. Он знал превосходно, что в дешевом монастыре Sacre-Coeur в Нанси воспитываются дети небогатых семейств и что монахини должны гордиться присутствием в числе их воспитанниц дочери его превосходительства. Он не ошибся: настоятельница ответила, что, уповая на милосердие Божие, они еще раз произведут опыт и что все сестры дали обет ежедневно включать в молитвы свою особую

молитву за Альрауне. В ответ тайный советник великодушно послал им в пользу бедных сто марок.

Во время каникул профессор наблюдал за маленькой девочкой. Он знал семью Гонтрамов очень давно и знал, что они с молоком матери впитали и любовь к животным. Каково же будет влияние девочки на Вельфхена: оно должно встретить здесь сильную преграду и сокрушиться об искреннее чувство безграничной доброты.

Тем не менее в один прекрасный день он встретил Вельфхена Гонтрама около маленького пруда в саду. Тот стоял на коленях, а перед ним на камне сидела большая лягушка. Мальчик засунул ей в рот горящую папиросу. И лягушка в смертельном страхе дымила. Она проглатывала дым и не выпускала обратно, а становилась все толще и толще. Вельфхен смотрел на нее, и крупные слезы катились градом у него по щекам. Но когда папироса потухла, он зажег еще одну, вынул окурочек изо рта лягушки и дрожащими руками всунул вторую папиросу. Лягушка вздулась до крайних пределов, глаза ее совершенно выскочили из орбит. Это было сильное животное: две с половиною папиросы выкурило оно, пока лопнуло. Мальчик закричал: казалось, будто ему было больнее, чем даже животному, которое он замучил до смерти. Он вскочил и бросился было бежать, но потом оглянулся, увидел, что лопнувшая лягушка все еще движется, подбежал к ней и в отчаянии стал ее топтать каблуками, чтобы убить наконец и избавить от страданий. Тайный советник подбежал к нему и первым делом обыскал карманы. Он нашел еще две папиросы, и мальчик сознался, что взял их с письменного стола в библиотеке. Но он упорно молчал и не хотел говорить, кто убедил его сделать опыт с лягушкой. Ни уговоры, ни порка, которую задал ему профессор с помощью садовника, не могли заставить его открыть всю правду. Альрауне тоже упорно отрицала свою вину, даже тогда, когда одна из служанок заявила, что она сама видела, как девочка давала Вельфхену папиросы. Тем не менее каждый из них остался при своем: мальчик – что он украл папиросы, и девочка – что она тут совсем ни при чем.

Еще год пробыла Альрауне в монастыре, а потом посреди занятий ее вдруг прислали домой. И на этот раз действительно несправедливо: только суеверные сестры могли поверить в ее вину, – а быть может, и сам тайный советник. Но ни один разумный человек не сделал бы этого.

В Sacre-Coeur однажды уже была эпидемия кори. Пятьдесят девочек лежало в постелях, и только немногие, среди них и Альрауне, остались здоровыми. На этот раз было хуже: разразилась эпидемия тифа. Умерло восемь девочек и одна монахиня. Заболели почти все, одна только Альрауне тен-Бринкен никогда не была так здорова, как сейчас: она полнела, цвела, несмотря на то что бегала по комнатам, где лежали больные. Никто не заботился о ней в это время. Она присаживалась на кровати и говорила девочкам, что они должны умереть, что они умрут уже завтра и попадут прямо в ад. Она же, Альрауне, будет жить и попадет на небо. Она раздавала повсюду образки, говорила больным, что они должны усердно молиться Мадонне, – хотя и это ничему не поможет, жариться на вечном огне они все-таки будут, им будет жарко и страшно... Просто удивительно, с какими подробностями она описывала им страшное пекло. По временам же, когда она бывала в хорошем настроении, она немного смягчалась и обещала только сотни тысяч лет пребывания в чистилище. Но в конце концов и этого достаточно для больного воображения набожных маленьких детей. Врач собственноручно выгнал из комнаты Альрауне, а сестры в твердом убеждении, что она навлекла болезнь на монастырь, отослали ее в тот же день домой. Профессор рассмеялся: он был в восторге от этого сообщения. И совершенно не испугался, когда, по прибытии ребенка, две служанки заболели тифом и скоро умерли в больнице. Настоятельнице же монастыря в Нанси он написал возмущенное письмо, в котором негодовал, как она могла при таких обстоятельствах послать ему в дом ребенка. Он, конечно, отказался заплатить за последнее учебное полугодие и энергично потребовал возвращения денег, которые пришлось ему затратить на лечение обеих служанок. В сущности, он был прав: с санитарной точки зрения сестры монастыря Sacre-Coeur не должны были бы так поступить.

Сам профессор не боялся заразы, но, как и всякому врачу, ему болезнь была гораздо

симпатичнее у других людей, чем у себя самого. Он оставил Альрауне в Ленденихе только до тех пор, пока не нашел для нее в городе хорошего пансиона. Уже на четвертый день отослали ее в Спа в известное учебное заведение мадемуазель де Винтелен. Провожать ее поехал молчаливый Алоиз. Для девочки путешествие прошло без всяких приключений, но для лакея оно осталось памятным: по дороге в Спа он нашел портмоне с несколькими серебряными монетами, а на обратном пути раздробил себе палец, неосторожно захлопнув дверцу вагона. Тайный советник одобрительно кивнул головою, когда Алоиз рассказал ему об этом.

О годах, проведенных Альрауне в Спа, много поведала тайному советнику фрейлейн Беккер, немецкая учительница, родом из их города, проводившая там каникулы. Уже с первого дня Альрауне начала оказывать влияние – и не только на подруг, но и на учительниц, особенно же на воспитательницу англичанку, которая уже спустя несколько недель стала почти безвольной игрушкой нелепых капризов маленькой девочки. С первого же дня Альрауне заявила за завтраком, что она не любит мед и варенье, что она хочет масла. Мадемуазель де Винтелен масла, конечно, не дала. Но через несколько дней и другие ученицы потребовали масла, и в конце концов весь пансион стал его требовать. Англичанка, никогда в жизни не пившая по утрам чай иначе как с вареньем, почувствовала внезапно тоже непреодолимую потребность в масле. Начальнице пришлось уступить и согласиться на общие просьбы. Но Альрауне с этого дня стала есть исключительно варенье. Мучений животных, по словам фрейлейн Беккер в ответ на особый вопрос профессора, в это время в пансионе мадемуазель де Винтелен не наблюдалось, – по крайней мере, не было замечено ни одного случая. Вместо этого Альрауне стала мучить как подруг, так и учителей и учительниц, особенно же бедного учителя музыки. В табакерке, которую он постоянно оставлял в коридоре в пальто, чтобы не входить в искушение во время уроков, со дня приезда Альрауне он стал находить самые странные вещи: толстых пауков, тараканов, порошок, перец, песок и один раз даже тщательно размельченную сороконожку. Несколько раз девочек заставляли за такими проделками и строго наказывали, – но Альрауне никогда не попадалась, однако по отношению к старому музыканту она выказывала невероятное упрямство: никогда не готовила уроков, а на самих уроках упрямо складывала руки и ни за что не садилась за рояль. Когда же однажды профессор пришел в отчаяние и пожаловался начальнице, Альрауне спокойнейшим образом заявила, что старик врет. Мадемуазель де Винтелен пришла самолично на урок – Альрауне превосходно сыграла сонату, гораздо лучше, чем остальные. Начальница в присутствии учениц упрекнула учителя в несправедливости, – тот стоял в недоумении и мог только ответить: «Но это невероятно, просто невероятно!» С тех пор ученицы называли его не иначе как Мистер Невероятно, причем само слово произносили так же, как он, будто шамкая беззубым ртом.

Что же касается англичанки, то она не видела ни одного спокойного дня, – каждую минуту она была готова стать жертвой какой-нибудь новой проделки. На постель ее сыпали чесательный порошок, а однажды пустили даже целую коллекцию блох. То пропадал ключ от ее шкафа, то от комнаты, то вдруг, надевая пальто, она замечала, что все пуговицы и крючки оторваны. То ученицы намазывали ее стул клеем или краской, то в кармане она находила мертвую мышь или голову курицы. И так без конца, – бедная мисс приходила прямо-таки в отчаяние. Начальница производила одно следствие за другим, находила всегда виновных и наказывала. Но никогда среди них не было Альрауне, хотя все были убеждены, что она истинная виновница шалостей. Единственным человеком, который с негодованием отвергал это подозрение, была сама англичанка; она клялась в невинности девочки и была непоколебима в своей уверенности до того самого дня, когда ушла из пансиона мадемуазель де Винтелен: из этого ада, как она говорила, в котором был только один маленький прелестный ангел. Тайный советник улыбнулся, когда записывал в свою кожаную книгу: «Этот маленький прелестный ангел – Альрауне».

Что касается ее самой, продолжала рассказ фрейлейн Беккер, то она с первого же дня избегала всякого соприкосновения со странным ребенком. Ей это было тем легче, что она

занималась почти исключительно с француженками и англичанками, – Альрауне же обучалась только гимнастике и рукоделию. От последнего она отказалась, заметив, что Альрауне не только не интересуется это занятие, но что оно ей буквально противно. На уроках же гимнастики, на которых та, между прочим, всегда отличалась, она постоянно делала вид, будто не замечает капризов ребенка. Только один раз, вскоре после приезда Альрауне, она имела с нею небольшое столкновение, причем потерпела поражение, как ей ни больно в этом признаться. Во время перемены она случайно услышала, как Альрауне рассказывала подругам о своем пребывании в монастыре и притом говорила такие ужасные вещи, что она сочла своим долгом вмешаться. Так как она сама воспитывалась в монастыре Sacte-Coeur в Нанси и поэтому знает, что дело там поставлено превосходно и что монахини – самые невинные существа в мире, то она позвала к себе Альрауне и сделала ей выговор, потребовав, чтобы девочка тотчас же призналась подругам во лжи. Когда же Альрауне категорически отказалась, она сказала, что сама заявит об этом девочкам. В ответ Альрауне выпрямилась во весь рост, молча посмотрела на нее и спокойно заявила: «Если вы это сделаете, я расскажу всем, что у вашей матери молочная лавка».

Она, фрейлейн Беккер, должна сознаться, что была настолько слаба, что поддалась чувству ложного стыда и уступила девочке. В тихом голосе ребенка, добавила она, звучала такая сила, что в ту минуту она совершенно растерялась, оставила Альрауне и ушла в свою комнату, довольная, что не вступила в спор с этим маленьким существом. Впрочем, за то, что она постыдилась своей матери, она была наказана по заслугам: уже на следующий день Альрауне все-таки поведала подругам о молочной, и ей стоило много трудов восстановить свой поколебленный престиж.

Гораздо хуже, однако, чем учительскому персоналу, приходилось подругам Альрауне – в пансионе не было ни одной, которая бы от нее не пострадала. И странно: после каждой новой проделки девочки ее любили сильнее и сильнее. Жертвы ее, правда, всякий раз роптали, но другие были на стороне Альрауне. Фрейлейн Беккер рассказала тайному советнику множество подробностей, и несколько самых ярких случаев он записал в кожаную книгу.

Бланш де Бонвиль вернулась с каникул, которые провела у родственников в Пикардии. Будучи юным пятнадцатилетним существом, она по уши влюбилась в своего родственника, кузена. Она написала ему из Спа, и мальчик ответил по адресу: Б. д. Б., до востребования. Но потом, очевидно, он нашел себе что-нибудь получше – письма не приходили. Альрауне знала, в чем дело, знала и маленькая Луизон. Бланш была, конечно, очень несчастна и плакала целые ночи напролет. Луизон сидела рядом и старалась ее успокоить. Альрауне же заявила, что утешать вовсе не нужно; кузен изменил ей, и Бланш должна умереть от несчастной любви. Это единственное средство доказать изменнику его преступление, всю жизнь будет он мучиться угрызениями совести. Она привела много известных примеров, где возлюбленные поступали именно так. Бланш согласилась умереть, но не знала, как это сделать: несмотря на горе, она была все-таки весела и обладала превосходнейшим аппетитом. Тогда Альрауне заявила, что Бланш должна покончить с собою. Она рекомендовала кинжал или револьвер, – но ни того, ни другого не нашлось. Выпрыгнуть из окна Бланш тоже не соглашалась; не хотела она ни заколоться булавкой от шляпы, ни повеситься. Она соглашалась только отравиться. Альрауне помогла ей. В маленькой аптеке мадемуазель де Винтелен стояла бутылка с лизолем. Луизон стащила ее. Но там, к сожалению, оказалось всего несколько капель, – Луизон пришлось обломить фосфор со спичек из двух коробок. Бланш написала несколько прощальных писем: родителям, начальнице и неверному возлюбленному. Потом выпила лизоль, проглотила спичечные головки, – и то и другое было страшно невкусно. Для верности Альрауне заставила ее проглотить еще три пачки иголок. Сама она, правда, не присутствовала при самоубийстве, а под предлогом необходимости сторожить дверь вышла из комнаты, но предварительно заставила Бланш поклясться на Распятии, что она выполнит все в точности. Маленькая Луизон сидела на кровати подруги, с жалобным плачем подала ей сперва лизоль, потом

спичечные головки и, наконец, пачки иголок. Когда же этот тройной яд заставил бедняжку закричать от невыносимой боли, Луизон тоже закричала, выбежала из комнаты и помчалась за начальницей с криком, что Бланш умирает.

Бланш де Бонвиль не умерла, искусный врач дал ей хорошее рвотное – лизоль, фосфор и пачки иголок вышли обратно. Правда, одна из пачек рассыпалась, и полдюжины их застряло в желудке: они стали блуждать по телу и долгие годы напоминали еще маленькой самоубийце о ее первой любви.

Бланш долго пролежала в постели и тяжело страдала: по-видимому, она была сильно наказана. Все жалели ее, ласкали как только могли, исполняли любые ее желания. Но она хотела одного – чтобы не наказывали ее подруг, Альрауне и маленькую Луизон. Она просила и умоляла до тех пор, пока начальница не обещала этого, – и Альрауне поэтому не исключили из пансиона.

Очередь была за Гильдой Альдекерк. Она очень любила берлинские пирожные; их обычно покупали в немецкой кондитерской на площади Ройаль. Она хвасталась, что может съесть двадцать штук, а Альрауне дразнила ее, говоря, что с тридцатью ей ни за что не справиться. Они держали пари: кто проиграет, тот платит за пирожные. Гильда действительно выиграла – но заболела и две недели пролежала в постели. «Обжора! – сказала Альрауне тен-Бринкен. – Так тебе и надо». И все девочки стали называть теперь толстую Гильду обжорой. Та сначала плакала, но потом привыкла к прозвищу и стала наконец самой верной подругой Альрауне, совсем как Бланш де Бонвиль.

Только один раз, по словам фрейлейн Беккер, Альма была наказана и, что всего удивительнее, безусловно несправедливо. Однажды ночью учительница французского языка выскочила в ужасе из своей комнаты, разбудила весь дом криком и заявила, что на перилах ее балкона сидит белое привидение. В комнату зайти никто не решался. Разбудили наконец портье, который, вооружившись огромной дубиной, вошел в комнату. Привидение оказалось Альрауне, которая спокойно сидела там в ночной сорочке и широко раскрытыми глазами смотрела на полнолуние. Как она пробралась туда, добиться от нее было невозможно. Начальница сочла поступок злой проделкой, – только впоследствии выяснилось, что девочка действовала, очевидно, под влиянием луны. Она оказалась лунатичкой. Удивительно то, что Альрауне послушно снесла наказание и очень добросовестно выполнила его: ее заставили после обеда дописать несколько глав из «Телемака». Всякое справедливое наказание, наверное бы, возмутило ее.

Фрейлейн Беккер заявила тайному советнику: «Боюсь, ваше превосходительство, что вы не увидите много радости от своей дочки».

Но тайный советник ответил: «Я с вами не согласен. До сих пор я был ею очень доволен».

Два последних года Альрауне не приезжала домой на каникулы. Он позволял ей поехать вместе с подругами: один раз в Шотландию с Мод Макферсон, потом с Бланш к ее родителям в Париж, наконец с обеими Роденберг в Мюнстерланд. Точных сведений о поездках Альрауне он не имел, – но рисовал себе, что она, по всей вероятности, там делает. Он с удовольствием думал: это существо, созданное мною, распространяет далеко свое влияние. В газете он прочел, что в то лето, когда Альрауне была в Больтенгагене, лошади из конюшни старого графа Роденберга брали один приз за другим. Далее он узнал, что мадемуазель де Винтелен получила довольно неожиданное наследство, которое дало ей возможность закрыть пансион: новых учениц она больше не принимала и решила только довести до конца образование тех, кто уже есть. И то, и другое он приписал присутствию Альрауне и был почти убежден, что она принесла богатство и в другие дома, где жила: и в монастырь в Нанси, и Макферсонам в Эдинбурге, и дому де Бонвиль на бульваре Гаусман в Париже: так трижды исправила она свои небольшие злодеяния. Он считал, что все эти люди должны быть благодарны его ребенку; у него было чувство, словно созданное им существо щедро сыплет розы на жизненном пути тех людей, которым посчастливилось встретиться с нею. Он засмеялся, когда ему пришлось в голову, что розы не без острых шипов, могущих

причинить тяжелые раны.

Он как-то спросил фрейлейн Беккер: «Скажите, как дела вашей матушки?»

– Мерси, ваше превосходительство, – ответила та, – она не может пожаловаться. За последние годы дело очень поднялось.

Тайный советник только заметил: «Вот видите!» – и отдал распоряжение, чтобы с этого дня сыр покупался исключительно у фрау Беккер на Мюнстерштрассе, – и рокфор, и старый голландский.

ГЛАВА 8, которая рассказывает о том, как Альрауне стала госпожой в поместье Тен-Бринкен.

Когда Альрауне снова вернулась в дом на Рейне, посвященный святому Непомуку, тайному советнику тен-Бринкену пошел семьдесят шестой год. Но об этом знал только календарь: сам он оставался крепок, бодр и никогда ничем не болел. Ему было тепло и уютно в старой деревне, которую готов схватить все более растущий и протягивающий свои щупальца город: словно упрямый паук в крепкой паутине власти, простиравшейся во все концы света. Тайный советник испытывал что-то – будто желанную игрушку для капризов своих, а вместе с тем и как приманку, которая завлечет в паутину много глупых мух и бабочек.

Приехала Альрауне, и старику показалось, что она совсем не изменилась, осталась тем же ребенком. Он долго смотрел на нее, когда она сидела перед ним в библиотеке, и не находил ничего, что бы напоминало о ее отце или о матери. Молоденькая девушка была небольшого роста, изящная, грациозная, с худой грудью и слабо развитой фигурой. Она походила на мальчика

своими торопливыми, немного угловатыми движениями. У него мелькнула мысль: «Куколка». Но нет, головка ее совсем не голова куклы. На лице слегка выделялись скулы, тонкие и бледные губы укрывали ряд мелких зубов. Волосы спадали пышными локонами, однако не рыжие, как у матери, а тяжелые, темно-каштановые. «Как у фрау Гонтрам», – подумал тайный советник, и мысль эта понравилась, будто напомнила о доме, в котором задумано было создание Альрауне. Он посмотрел на нее, сидевшую перед ним молча, разглядывал критически, слов – но картину, высматривал, рылся в воспоминаниях...

Да, ее глаза! Они широко раскрывались под дерзкими, тонкими черточками бровей, отделявшими узкий лоб, они смотрели холодно и насмешливо, но в то же время мягко и мечтательно. Травянисто-зеленые, жестко-стальные, – как у племянника его, Франка Брауна.

Профессор выпятил широкую нижнюю губу – эта мысль ему не понравилась, но в то же время он пожал плечами, – почему бы и Франку, который придумал ее, не иметь в ней своей доли?

Это было дорого куплено: много миллионов принесла эта тихая девушка...

«У тебя большие глаза», – сказал он. Она кивнула головой. Он продолжал: «И красивые волосы. Такие волосы были у матери Вольфа».

Альрауне сказала: «Я их обрежу».

Тайный советник вспылil: «Ты не сделаешь этого! Слышишь?»

...Но когда она сошла к ужину, волосы были уже острижены. Она стала похожа на пажа: вокруг мальчишеской головы спадали мягкие локоны.

– Где твои волосы? – закричал он.

Она спокойно ответила: «Вот». Она принесла с собой большую коробку: там лежали блестящие, длинные пряди.

Он начал опять: «Зачем ты их обрезала? Не потому ли, что я тебе это запретил? Из упрямства?»

Альрауне улыбнулась: «Вовсе нет. Я бы и так это сделала».

– Зачем же? – не унимался профессор.

Она взяла коробку и вынула волосы, семь длинных прядей, каждая завязана тонким

шнурком, а на шнурках висело по маленькой карточке. Семь имен на семи карточках: Эмма, Маргарита, Луизон, Эвелина, Анна, Мод и Андреа.

– Это твои подруги? – спросил тайный советник. – И ты, глупая девочка, обрезала волосы, чтобы послать им сувениры?! – Он рассердился. Неожданная сентиментальность подростка ему не понравилась, он считал девушку гораздо более зрелой и трезвой.

Она широко раскрыла глаза. «Нет, – ответила она. – Они мне безразличны. Только затем...»

Она запнулась.

– Зачем?! – настаивал профессор.

– Только затем, только затем, чтобы и они обрезали себе волосы.

– Что? – спросил старик.

Альрауне расхохоталась: «Чтобы они тоже обрезали волосы. Совсем обрезали! Еще больше, чем я. Коротко. Я им напишу, чтобы они совсем остриглись, – и они это сделают».

«Ну, такими глупыми они, наверное, не будут», – заметил он. "Нет, будут! – воскликнула она.

– Они это сделают. Я сказала, что мы все острижемся, и они обещали, если я сделаю это первая. Но я позабыла и вспомнила только тогда, когда ты заговорил о моих волосах".

Тайный советник рассмеялся: «Они обещали, – мало ли, что обещаешь; но они не сделают: ты останешься в дурах». Она встала со стула и подошла вплотную к профессору.

«Нет, – хрипло прошептала она, – они сделают. Они знают превосходно, что я им вырву все волосы, если они этого не сделают. А они-они боятся меня даже когда я не с ними».

Взволнованная, слегка дрожа, стояла она перед тайным советником.

«Ты так уверена, что они это сделают?» – спросил он. И она ответила с самоуверенной гордостью: «Иначе быть не может!»

Он заразился тотчас же ее самоуверенностью и больше не удивлялся.

– Зачем тебе это нужно? – спросил он.

В одно мгновение она преобразилась. Все странное вдруг исчезло, она снова предстала перед ним капризным, упрямым ребенком.

– Да, да, – засмеялась она, и ее маленькие ручки погладил ли пышные пряди волос. – Да, да. Видишь, в чем дело: мне тяжело с волосами, у меня иногда болела голова. И кроме того – мне очень идут короткие локоны, я знаю. А они будут уродами, – как обезьяны будут они там, в первом классе мадемуазель де Винтелен. И будут выть, все эти дуры, а мадемуазель де Винтелен будет ругаться, а новая мисс и классная дама побелеют от злости.

Она захлопала в ладоши и громко, весело рассмеялась.

– Ты мне pomoжешь? – спросила она. – Как их упаковать?

Тайный советник ответил: «Поодиночке. Заказною бандеролью». Она кивнула: «Хорошо, хорошо».

За столом она начала рассказывать ему, как будут выглядеть девочки – без волос. Высокая, стройная Эвелина Клиффорд с гладкими белокурыми волосами и толстушка Луизон, которая носит высокую прическу. И две графини Роденберг, Анна и Андреа, – их длинные кудри вьются вокруг хорошеньких личиков.

– Все остригутся, – засмеялась она, – они станут похожи на морских котов, над ними все будут смеяться.

Они пошли в библиотеку. Тайный советник помог уложить волосы, дал ей коробки, бечевку, сургуч, почтовые марки. Закурил сигару, изжевал кончик, глядя, как она пишет письма.

Семь писем к семи девушкам в Спа. На конверте старинный герб тен-Бринкенов: наверху Иоганн Непомук, а внизу серебристая цапля, борющаяся со змеей. Цапля – эмблема тен-Бринкенов.

Он посмотрел на нее, и по его старой коже пробежали мурашки. Проснулись старые воспоминания, сластолюбивые мысли о подростках, мальчиках и девочках... Она,

Альрауне, – и мальчик и девочка в одно и то же время.

По его толстым губам потекла слюна, увлажняя черную гаванну. Он опять посмотрел на нее жадным дрожащим взглядом. И он понял в одну минуту, что влечет людей к этому странному маленькому созданию. Они будто рыбы, которые плывут на приманку и не видят крючка, он же хорошо видит острый крючок и думает, как бы его избегнуть – и все-таки съесть лакомый кусок...

Вольф Гонтрам служил в городской конторе тайного советника. Приемный отец взял его из гимназии и поместил волонтером в один из крупных банков. Вольф забыл там, чему с трудом научился в школе, и пошел своею дорогой, делая все, что от него требовали. Потом, когда окончилось время учения, он поступил в контору тайного советника, которую тот назвал своим «секретариатом».

Это было странное учреждение, секретариат его превосходительства. Заведовал им Карл Монен, доктор четырех факультетов, – старый патрон был им доволен. Он все еще не женился, но имел много знакомств и завязывал новые. Но все они ни к чему не вели. Волос у него давно уже не было, но он остался по-прежнему чутким: он всюду что-нибудь чуял – жену для себя, дела для тайного советника.

Двое молодых людей оформляли книги и корреспонденцию. В конторе существовала особая комната с дощечкой: юрисконсульство. Здесь советник юстиции Гонтрам и Манассе, все еще не достигший этого звания, сидели по утрам. Они вели процессы тайного советника, которые росли изо дня в день: Манассе – наиболее верные, оканчивавшиеся выигрышем, а старый советник юстиции – безнадежные: он постоянно откладывал их и в конце концов приводил к желанному результату.

Доктор Монен тоже имел отдельную комнату, вместе с ним сидел Вольф Гонтрам, которому он протезировал и которого старался образовывать на свой лад. Этот Монен знал много, едва ли меньше маленького Манассе, но никогда его познания ни в чем не соприкасались с его личностью. Он никогда не умел применять их на деле. Он собирал познания, будто мальчик коллекцию почтовых марок, – только потому, что их собирают сверстники. Они лежали где-то в ящике, он о них не заботился: только когда кто-нибудь выражал желание видеть редкую марку, вынимал альбом и раскрывал его: «Вот саксонская, три гроша, красная».

Его что-то влекло к Вольфу Гонтраму. Быть может, большие черные глаза, которые он когда-то любил, когда они еще принадлежали его матери, – любил, как мог он любить и как любил сотни других. Чем отдаленнее были отношения с какой-либо женщиной, тем значительнее казались они ему. Он считал себя теперь интимным советником женщины, хотя на самом деле ни – когда не отваживался даже поцеловать ей руку. К тому же молодой Гонтрам так доверчиво выслушивал его любовные похождения, не сомневался ни на секунду в его геройских подвигах и видел в нем величайшего ловеласа, которым хотелось сделаться самому.

Доктор Монен одевал его, учил завязывать галстук; давал книги, брал с собою в театр и на концерты, чтобы постоянно иметь благодарного слушателя для своей болтовни. Он считал себя светским человеком – и такого же хотел сделать из Вольфа Гонтрама.

Нельзя отрицать, что одному ему Вольф был обязан тем, чем он стал. Ему нужен был такой учитель, который не требовал ничего и постоянно только давал, день за днем, почти каждую минуту, который воспитывал его совершенно незаметно, – и жизнь пробуждалась в Вольфе Гонтраме.

Он был красив, – это видел и знал весь город. Один только Карл Монен не замечал этого: для него мысль о красоте была возможна лишь в тесной связи с какой-нибудь юбкой. И ему казалось красивым все то, что носило длинные волосы, – ничего больше. Но другие видели это. Когда он еще учился в гимназии, старики оборачивались, глядя ему вслед. Зато теперь за ним устремлялись взгляды из-под вуалей и из-под больших шляп, глаза красивых

женщин.

– Что-нибудь да выйдет, – проворчал маленький Манассе, сидя с советником юстиции и его сыном в концертном саду, – если она не отвернется, клянусь честью. У нее скоро заболит шея.

– У кого? – спросил советник юстиции.

– У кого? Да у ее королевского высочества, – воскликнул адвокат. – Поглядите, коллега, уже с полчаса она смотрит, не отрываясь, на вашего сына. Шею скоро себе свернет.

– Ах, оставьте ее, – равнодушно заметил советник юстиции.

Но маленький Манассе не унимался: «Сядь-ка сюда, Вольф!» – сказал он. Молодой человек повиновался и сел рядом с ним, повернувшись спиной к принцессе.

Ах, эта красота пугала маленького адвоката, – как у его матери казалось ему, он видит за ней маску смерти. Это его мучило, терзало: он почти ненавидел мальчика, так же как когда-то любил его мать. Ненависть была какой-то странной – точно кошмар, точно горячее желание, чтобы судьба молодого Гонтрама свершилась скорее, – все равно она должна неминуемо разразиться над его головою – так лучше сегодня, чем завтра. Адвокату казалось, это принесло бы избавление, но тем не менее он делал все, лишь бы отсрочить его, помогал во всем, в чем только мог, молодому человеку, поддерживал словами и делом.

Когда его превосходительство тен-Бринкен украл капитал приемного сына, он был вне себя. «Вы болван, вы идиот», – обрушился он на советника юстиции и чуть в него не вцепился, словно его покойная собачка Циклоп.

Он рассказал отцу со всеми подробностями, как нагло надули его сына. Тайный советник взял себе виноградники и участки земли, которые Вольф получил по наследству от тетки, и заплатил за них ничтожную сумму. А ведь он открыл там целых три источника минеральной воды и теперь их эксплуатировал.

– Ведь вам никогда бы это и в голову не пришло, – спокойно возразил советник юстиции.

Маленький Манассе плюнул с досады. Не все ли равно? Земля стоит сейчас вшестеро больше. А то, что заплатил старый мошенник, он почти все засчитал за содержание мальчика. Это уж прямо свинство...

Но сказанное не произвело никакого впечатления на советника юстиции. Он был добр, настолько добр, что видел в каждом человеке лишь хорошие стороны. В самых жестоких преступниках он умел находить частицу доброго чувства. Он был от души благодарен тайному советнику, что тот поместил мальчика в своем секретариате, и говорил постоянно о том, что профессор обещал не позабыть Вольфа в своем завещании.

– Профессор? – адвокат побагровел от скрытого негодования. – Он не оставит ни гроша мальчику!

Но советник юстиции закончил спор: «Да, впрочем, ведь ни одному Гонтраму никогда не было плохо».

До некоторой степени он был действительно прав.

С тех пор, как вернулась Альрауне, Вольф каждый вечер ездил верхом в Лендених. Доктор Монен достал ему лошадь у своего друга ротмистра графа фон Герольдингена. Ментор заставил подопечного учиться танцам и фехтованию. «Это должен уметь каждый светский человек», – заявил он и начал рассказывать о победных поединках и неотразимых успехах на балах, – хотя сам никогда не садился на лошадь, никогда не дрался на дуэли и едва мог танцевать старомодную польку.

Вольф Гонтрам отводил графскую лошадь в стойло и шел по двору в господский дом. Он привозил с собою розу, никогда не больше одной, как его учил доктор Монен, – но всегда самую лучшую во всем городе.

Альрауне тен-Бринкен брала розу и начинала медленно дощипывать ее. Так бывало каждый вечер. Она обрывала лепестки, складывала их и хлопала о лоб и щеки. Это был знак особого расположения к нему.

Большого он и не требовал. Он мечтал только, – но мечты его не облекались даже в

форму желаний, они только витали где-то в воздухе и наполняли собою старинные комнаты.

Как тень, ходил Вольф Гонтрам за стройным существом, которое любил.

Она называла его Вельфхеном, как в детстве. «Потому что ты как большая собака, – говорила она, – такое же, хотя и глупое, но верное животное. Черная, косматая, с большими мечтательными глазами. Только поэтому. Только потому, что ты ни к чему другому не способен, кроме как ходить за мною по пятам». Она заставляла его ложиться на пол перед ее креслом и ставила свою ножку ему на грудь. Гладила по щекам своими крохотными лаковыми туфельками; сбрасывала их и давала целовать пальцы ног. «Целуй же, целуй», – смеялась она.

И он целовал тонкий шелковый чулок, облежавший ее стройную ножку.

Тайный советник с кислой улыбкой смотрел на молодого Гонтрама. Он был столь же уродлив, сколь Гонтрам красив, – он это знал. Он не боялся, что Альрауне влюбится, просто ему были не по душе эти ежедневные визиты.

– Ему незачем таскаться сюда каждый вечер, – ворчал он.

– Нет, я хочу, – заявила Альрауне, – и Вольф приезжал каждый вечер.

Профессор думал: «Пусть будет так, – глотай же крючок, дорогой мой».

Альрауне стала полновластной госпожой поместья тен-Бринкенов, стала ею с первого дня, как вернулась из пансиона. Она была госпожой – и оставалась все же чужою: оставалась «втирушей», не срослась с этой древней землею, не имела ничего общего с тем, что дышало здесь и пускало корни. Прислуга, кучер и садовник называли ее «фрейлейн». Так же обращались к ней и крестьяне. Они говорили: «Вот идет фрейлейн» – и говорили о ней, точно о какой-нибудь гостье. Вольфа же Гонтрама они называли: «молодой барин».

Умный профессор замечал это, но ему даже нравилось. «Люди видят, что в ней есть нечто особенное, – писал он в свой кожаной книге. – Даже животные это видят».

Животные-лошади и собаки. И красивый козел, бегавший по саду, и даже маленькие белки, прыгавшие по ветвям и сучьям деревьев. Вольф Гонтрам был их приятелем: они поднимали головы, подходили к нему совсем близко, – но зато всегда старались уйти, как только замечали Альрауне. «Только на людей простирается ее влияние, – думал профессор, – животные – иммунны». Крестьян и прислугу он тоже причислял к животным. «У них тот же здоровый инстинкт, то же невольное отвращение – своего рода страх. Она может быть довольна, что родилась теперь, а не пятьсот лет назад: ее бы через месяц прозвали ведьмой, и епископ сделал бы из нее себе вкусное жаркое». Эта антипатия прислуги и животных приводила старика в такой же восторг, как и странное обаяние, которое она оказывала на людей высшего круга. Он отмечал все новые и новые факты такой привязанности и такой ненависти. Хотя и с той, и с другой стороны были исключения.

Из заметок тайного советника явствует, что он был убежден в наличии у Альрауне какого-то особого свойства, способного оказывать вполне определенное влияние на окружающих. Этим объясняется то, что профессор старался собирать все факты, которые способны подтвердить его гипотезу. Правда, благодаря этому жизнеописание Альрауне, составленное ее «создателем», было не столько сообщением о том, что она делала, сколько скорее перечислением того, что делали другие – под ее влиянием: лишь в поступках людей, соприкасавшихся с нею, отражалась жизнь Альрауне. Она казалась тайному советнику своего рода фантомом, призрачным существом, которое не может жить в себе самом, тенью, излучающей вокруг себя ультрафиолетовые лучи и воплощающейся лишь в том, что происходит вокруг. Он до такой степени ухватился за эту мысль, что по временам не верил, что перед ним человек: ему казалось, будто он говорит с каким-то нереальным созданием, которое он лишь воплотил в кровь и плоть, с бескровной, безжизненной куклой, на которую он надел маску жизни. Это льстило его старому тщеславию: ведь только он был конечной причиной всего того, что свершилось благодаря и через Альрауне.

Он наряжал свою куклолку с каждым днем все красивее и красивее. Он передал ей бразды правления, подчинялся сам не меньше других ее капризам и желаниям. С той только

разницей, что воображал, будто на самом деле властвует он, что в конечном итоге лишь его воля проявляется через посредство Альрауне.

ГЛАВА 9, которая рассказывает, кто были поклонники Альрауне и что с ними стало

Их было пятеро, любивших Альрауне тен-Бринкен: Карл Монен, Ганс фон Герольдинген, Вольф Гонтрам, Якоб тен-Бринкен и Распе, шофер.

Обо всех них повествует кожаная книга тайного советника, — о всех них нужно рассказать и в этой истории Альрауне.

Распе, Матье-Мария Распе, управлял «Опелем», который подарила Альрауне княгиня Волконская, когда той исполнилось семнадцать лет. Распе служил в гусарах и помогал старому кучеру ухаживать за лошадьми. Он был женат и имел двоих сыновей. Лизбетта, его жена, стирала в доме тен-Бринкена. Они жили в маленьком домике рядом с библиотекой, у самых железных ворот.

Матье был белокурый, высокого роста, сильный. Он знал свое дело, и мускулам его повиновались как лошади, так и машина. По утрам он седлал ирландскую кобылу своей госпожи, выводил на двор и ждал.

Альрауне медленно сходила с каменного крыльца господского дома. Она была одета мальчиком: в желтых гетрах, в сером костюме, с маленькой жокейской шапочкой на коротких локонах. Она не вдевала ногу в стремя, а заставляла Распе подставлять руку, становилась на нее и с мгновение оставалась в такой позе, — потом садилась на мужское седло. Ударяла лошадь хлыстом, и та, как бешеная, вылетала в настежь распахнутые ворота. Матье-Мария едва поспевал на своей кляче.

Лизбетта запирала за ними ворота, сжимала губы и смотрела им вслед — мужу, которого любила, и фрейлейн тен-Бринкен, которую ненавидела.

Где-нибудь в поле Альрауне останавливалась, оборачивалась, поджидая Матье.

— Куда же мы сегодня поедem? — спрашивала она.

И он отвечал: «Куда прикажете». Она подхватывала удила и галопом мчалась дальше.

Распе не менее жены своей ненавидел эти утренние прогулки. Альрауне ехала, словно в одиночестве, — он был словно воздух, для нее он вообще не существовал. Когда же она на мгновение оборачивалась и заговаривала с ним, он чувствовал себя еще хуже. Он знал заранее, что она опять потребует от него невозможного.

Она остановилась у Рейна и спокойно подождала его. Но он не торопился: он знал, у нее появился какой-то новый каприз, но надеялся, что, пока доедет, она успеет забыть. Но она никогда не забывала своих капризов.

«Матье, — сказала она. — Давай переплывем?» Он принялся ее отговаривать, но знал заранее, что это ни к чему не приведет. «Тот берег слишком крутой, — сказал он, — не подняться, да и течение здесь особенно сильное...»

Ему было досадно. К чему это? К чему переплывать через реку? Они только промокнут, озябнут, — хорошо, если отделаются одним насморком. А ведь рискуют и утонуть из-за ничего, из-за пустого каприза. Он твердо решил остаться, — пусть делает глупости. Какое ему до нее дело? У него жена и дети...

Но на том и кончилось — минуту спустя он уже очутился в воде, погнал свою клячу, с трудом достиг противоположного берега и с трудом взобрался наверх. Отряхнулся, произнес вслух проклятие и частою рысью поехал вслед за Альрауне. А та едва посмотрела на него своим быстрым насмешливым взглядом.

— Что, промок, Матье?

Он смолчал, раздосадованный и оскорбленный. Почему она его называет по имени, почему говорит ему «ты»? Ведь он же шофер, а не простой конюх! В его голове роились всевозможные ответы, но он молчал.

Или же они направлялись к военному плацу, где упражнялись гусары. Это было ему

еще более неприятно, так как офицеры и солдаты его знали: он прежде служил в их полку. Бородатый вахмистр второго эскадрона иронически кричал ему вслед: «Ну, Распе, как дела?»

– Чтоб черт побрал проклятую бабу! – ворчал Распе, но мчался галопом вслед за хозяйкой. Подъезжал ротмистр граф Герольдинген на своей английской кобыле и беседовал с барышней. Распе стоял поодаль, но она говорила так громко, что он все слышал: «Ну, граф, как вам нравится мой оруженосец?»

Ротмистр улыбался: «Великолепен. Он так подходит к юной принцессе».

Распе хотелось дать ему пощечину, а заодно и Альрауне, и вахмистру, и всему эскадрону, который насмешливо улыбался, глядя на него. Ему становилось стыдно, он краснел, точно школьник.

Но хуже всего было, когда после обеда он ездил с нею на автомобиле. Он сидел за рулем и смотрел на крыльцо, вздыхая с облегчением, когда с Альрауне выходил еще кто-нибудь, и подавляя проклятие, когда она выходила одна; нередко он посылал жену разведать, поедет ли хозяйка кататься одна. Тогда он вынимал поспешно из машины несколько частей, ложился на спину и начинал смазывать, свинчивать, делая вид, будто автомобиль нуждается в починке.

– Сегодня, фрейлейн, ехать нельзя, – говорил он и радостно улыбался, когда она выходила из гаража.

Но иногда хитрость ему не удавалась. Она оставалась и спокойно ждала. Ничего не говорила, но ему казалось, будто она понимает обман. Он, не торопясь, собирал механизм.

«Готово?» – спрашивала она. Он кивал головою.

«Вот видишь, гораздо лучше, когда я смотрю за тобою, Матье».

Когда он возвращался из этих поездок, ставил «Опель» в гараж и садился за стол, накрытый женою, – его часто охватывала дрожь. Он был бледен, с тупыми испуганными глазами. Лизбетта не спрашивала, она знала, в чем дело.

«Проклятая баба», – ворчал он. Жена приводила белокурых голубоглазых мальчуганов в свежих, белых рубашонках, сажала к нему на колени. Он забывал свою досаду и играл с детьми. А когда мальчики ложились спать, он выходил во двор, садился на скамейку, закуривал сигару и начинал говорить с женою.

«Добром тут не кончится, – говорил он, – она торопит – ей все слишком медленно. Подумай только: четырнадцать протоколов за одну неделю...»

«Какое тебе до этого дело? Не тебе ведь придется платить», – отвечала Лизбетта.

«Нет, – говорил он, – но я порчу себе репутацию. Полицейские вынимают записную книжку, как только издали завидят белый автомобиль 1.2.937». Он засмеялся: «Надо сознаться, все протоколы вполне заслуженные».

Он умолкал, вынимал из кармана французский ключ и поигрывал им. Жена брала его за руку, снимала с него фуражку и гладила по волосам.

«А ты знаешь, чего она хочет?» – спрашивала жена, стараясь придать вопросу невинный и безразличный тон.

Распе качал головою: «Нет, жена, не знаю. Но она сумасшедшая. У нее какой-то проклятый характер: делаешь все, чего бы она ни захотела, – сколько ни борешься с нею, сколько ни знаешь, что пахнет бедой. Вот сегодня, например...»

«Что сегодня?» – взволнованно спросила Лизбетта.

Он ответил: «Ах, все то же самое, она не терпит, чтобы впереди ехал автомобиль, – ей нужно перегнать, пусть он будет в три раза сильнее нашего. Она называет это „взять“. „Возьми его“, – говорит она мне, а когда я колеблюсь, кладет руку мне на плечо, и уж тогда я пускаю машину, точно сам дьявол гонит меня». Он вздохнул и отряхнул сигарный пепел с колен. «Она сидит всегда возле меня, – продолжал он, – и уже из-за одного этого я волнуюсь, только и думаю, какое сумасшествие охватит ее сегодня. Брать препятствия – для нее самое большое удовольствие, она велит мчаться через бревна, кучи навоза. Я, правда, не трус, но ведь рисковать жизнью стоит из-за чего-нибудь. Она мне как-то сказала: „Поезжай со мною, ничего не случится!“ Она и не шелохнется, когда мы мчимся сто километров в час. Кто ее

знает, может быть, с нею и ничего не случится. Но я разобьюсь – насмерть».

Лизбетта сжала его руку: «Попробуй попросту ее не послушаться. Скажи нет – когда она потребует такой глупости. Ты не имеешь права рисковать жизнью, ты должен помнить обо мне и о детях».

Он посмотрел на нее спокойно и тихо: «Да, я помню. О вас – и о себе немного тоже. Но видишь ли, в том-то и дело, что я не могу сказать: нет. Да и никто не может. Посмотри только, как за ней бегают молодой Гонтрам – словно собачка – и как все другие исполняют ее глупые прихоти. Прислуга терпеть не может ее, – а все-таки каждый делает, что она хочет, исполняет ее желания».

«Неправда, – вскричала Лизбетта, – Фройтсгейм, старый кучер, ее не слушается».

Он свистнул: «Фройтсгейм! Да, правда, он поворачивается и уходит, как только завидит ее. Но ведь ему скоро девяносто лет, у него и капли крови нет уже больше».

Лизбетта широко раскрыла глаза: «Так, значит, Матье, – ты только потому и слушаешься ее приказаний».

Он старался не смотреть на нее и отвел взгляд. Но потом взял ее за руку и посмотрел в упор: «Видишь ли, Лизбетта, я сам хорошенько не знаю. Я часто думал об этом, но сам не пойму. Мне хочется ее задушить, я видеть ее не могу. Я все время боюсь, как бы она меня не позвала». Он сплюнул: «Будь она проклята! Мне хочется уйти с этого места. Да и зачем я только сюда поступил?» Они продолжали разговаривать, обсуждая «за» и «против». И пришли к заключению, что он должен отказаться от места. Но предварительно нужно подыскать другое, – пусть он завтра же отправится в город.

Эту ночь Лизбетта проспала спокойно, первый раз за весь месяц, Матье же не заснул ни на минуту.

На следующее утро он отпросился и отправился в город в посредническое бюро. Ему посчастливилось: агент отвел его тотчас же к советнику коммерции Зеннекену, которому нужен шофер. Распе сговорился: получил больше жалованье, да и работы было меньше, – лошадей совсем не было.

Когда они вышли из дому, агент поздравил его. Распе ответил: «Спасибо...», но у него было такое чувство, будто благодарить не за что, что он никогда не поступит на это место.

Но он все же обрадовался, когда увидел радость жены. «Ну, значит, еще две недели, – сказал он, – хоть бы только скорее прошло время».

Она покачала головою. «Нет, – твердо сказала она, – не через две недели – а завтра же. Они отпустят тебя, поговори с самим хозяином».

– Это не поможет, – ответил Распе. – Он пошлет меня все равно к барышне – а та...

Лизбетта схватила его за руку. «Оставь, – сказала она. – Я сама поговорю с нею».

Она пошла в дом и велела о себе доложить. Хозяйка решила, что Распе хочет уйти без предупреждения, лишь кивнула головою и тотчас же согласилась.

Лизбетта побежала к мужу, обняла его, поцеловала. Одна только ночь – и всему конец. Ну, скорее укладываться! Пусть он позвонит по телефону коммерции советнику, что уже завтра может прийти. Она вытащила старый сундук из-под кровати. Ее нетерпение заразило и его. Он принес ящики, вытер их и стал помогать ей укладываться. Сбегали в деревню, заказали телегу, чтобы утром увезти вещи. Он смеялся и был очень доволен -

в первый раз в доме тен-Бринкенов. Когда он снимал кухонные горшки с очага и завертывал в газетную бумагу, в комнату вошел Алоиз и сказал: «Барышня хочет ехать кататься». Распе посмотрел на него, но ничего не ответил. «Не езд», – закричала жена.

Он было начал: «Скажите барышне, что я сегодня...»

Но не кончил фразы: в дверях стояла сама Альрауне тен-Бринкен.

Она сказала спокойно: «Матье, завтра я тебя отпускаю. Но сегодня я хочу еще покататься».

Она вышла, и следом за нею Распе.

– Не езд, не езд, – закричала жена. Он слышал ее крик, но не сознавал, ни кто говорит, ни что именно.

Лизбетта тяжело опустилась на скамейку. Она услышала, как они пошли по двору и вошли в гараж. Слышала, как раскрылись ворота, слышала, как выехал на дорогу автомобиль и слышала наконец гудок. То был прощальный сигнал, который подавал ей муж всякий раз, как выезжал из деревни.

Она сидела, сложив руки на коленях, и ждала. Ждала, пока его не принесли. Принесли его четверо крестьян, положили посреди комнаты между ящиков и сундуков. Раздели его, обмыли: так велел врач. Длинное белое тело, покрытое кровью, пылью и грязью.

Лизбетта опустилась перед ним на колени молча, без слез.

Пришел старый кучер и увез с собою кричавших детей. Наконец крестьяне ушли; вслед за ними и доктор. Она его даже не спросила ни словами, ни взглядом. Она знала, что он ответит.

Ночью Распе очнулся и широко открыл глаза. Узнал ее, попросил пить. Она подала ему кружку воды.

– Кончено, – тихо сказал он.

Она спросила: «Как? Почему?»

Он покачал головой: «Сам не знаю. Она сказала: „Поезжай, Матье“. Я не хотел. Но она положила руку мне на плечо и я почувствовал ее через перчатку и помчался. Больше я ничего не помню».

Он говорил так тихо, что она должна была приложить уха к его губам. И когда он замолчал, она прошептала: «Зачем ты это сделал?»

Он снова зашевелил губами: «Прости меня, Лизбетта, я – должен был это сделать. Барышня...»

Она посмотрела на него и испугалась блеска его глаз. И закричала, – мысль была так неожиданна, что язык произнес ее раньше, чем успел подумать мозг: «Ты-ты любишь ее?»

Он чуть приподнял голову и прошептал с закрытыми глазами: «Да... – да».

Это были его последние слова. Он снова впал в глубокое забытие и пролежал так до утра.

Лизбетта вскочила. Побежала к двери, столкнулась со старым Фройтсгеймом.

«Он умер...» – закричала она. Кучер перекрестился и хотел пройти в комнату, но она удержала. «Где барышня? – спросила она быстро. – Она жива? Она ранена?»

Глубокие морщины на старом лице еще больше углубились: «Жива ли она? Жива ли! Да, вот она. Ранена? Ни царапинки» – только немножко испачкала себе платье". И дрожащей рукой он указал на двор. Там в мужском костюме стояла Альрауне. Подняла ногу и поставила ее на руку гусара, а затем вскочила в седло...

– Она протелефонировала ротмистру, – сказал кучер, – что ей не с кем сегодня гулять, и граф прислал своего денщика.

Лизбетта побежала по двору. «Он умер! – закричала она. – Он умер!»

Альрауне тен-Бринкен повернулась в седле и ударила себя хлыстом по ноге. «Умер? – медленно произнесла она. – Умер – как жаль!» Ока стегнула лошадь и рысью поехала к воротам.

– Фрейлейн, – крикнула Лизбетта, – фрейлейн, фрейлейн!

Но копыта зачастили по старым камням, и опять, как раньше так часто, она увидела, как Альрауне едет уже по дороге дерзко и нагло, точно заносчивый принц. А вслед за нею гусар, а не муж ее – не Матье-Мария Распе...

– Фрейлейн, – закричала она в диком ужасе, – фрейлейн-фрейлейн...

Лизбетта побежала к тайному советнику и излила перед ним все свое горе и отчаяние. Тайный советник спокойно выслушал и сказал, что он понимает ее горе и не в обиде на нее.

Несмотря на отказ ее покойного мужа от места, он готов заплатить его трехмесячное жалованье. Но пусть она будет благоразумна, – должна же она понять, что он один виноват в этом несчастье...

Она побежала в полицию. Там к ней отнеслись не столь вежливо. Они ждали этого и заявили: всем известно, что Распе – самый дикий шофер на Рейне. Он вполне справедливо

наказан, – она должна была вовремя его предупредить. Ее муж виноват во всем, сказали они, стыдно обвинять в катастрофе барышню. Разве та управляла автомобилем?

Она побежала в город к адвокатам, к одному, к другому, к третьему. Но это были честные люди: они ей сказали, что не могут вести процесса, сколько бы она ни заплатила. Конечно, все возможно и вероятно. Почему бы и нет? Но разве у нее есть доказательства? Никаких? – Ну, так значит, пусть она спокойно вернется домой, – тут ничего нельзя поделать. Если и было все так и если бы даже можно было привести доказательства – все равно виноват ее муж. Ведь он был мужчиной и опытным, искусным шофером, а барышня – неопытное существо, почти ребенок...

Она вернулась домой. Похоронила мужа за церковью на маленьком кладбище, уложила вещи и сама взвалила их на телегу. Взяла деньги, которые дал тайный советник, захватила своих мальчиков и ушла.

В их домике через несколько дней поселился новый шофер – толстый, маленький. Он выпивал. Альрауне тен-Бринкен невзлюбила его и редко выезжала одна. На него протоколов не писали, и люди говорили, что он превосходный человек, гораздо лучше, чем дикий Распе.

«Мотылек», – говорила Альрауне тен-Бринкен, когда по вечерам Вольф Гонтрам входил в ее комнату. Красивые глаза мальчика загорались. «А ты огонек», – отвечал он.

И она говорила: «Ты спалишь себе крылышки, упадешь и станешь уродливым червяком. Берегись же, Вольф Гонтрам!»

Он смотрел на нее и качал головою. «Нет, нет, – говорил он, – мне так хорошо».

И он порхал вокруг огонька, порхал каждый вечер.

Еще двое порхали вокруг и обжигали себе крылья: Карл Монен и Ганс фон Герольдинген.

Доктор Монен тоже ухаживал. «Богатая партия, – думал он, – наконец-то, на этот раз уж действительно».

Немного увлекался он каждою женщиною. Теперь же его маленький мозг горел под голым черепом, заставляя делать всякие глупости и переживать возле нее все то, что он испытывал возле десятков других. И, как всегда, ему казалось, что и она чувствует то же самое: он был убежден, что Альрауне тен-Бринкен без ума от него, что любит его безгранично, страстно и сильно.

Днем он рассказал Вольфу Гонтраму о своей крупной новой победе. Ему нравилось, что мальчик каждый вечер ездит в Ленденх, – он смотрел на него как на своего любовного гонца и посылал вместе с ним много поклонов, почтительных поцелуев руки и маленькие подарки.

Посылал он не по одной розе, – это может делать лишь кавалер, стоящий поодаль. А он ведь был возлюбленный и должен посылать другое: цветы и шоколад, пирожные, безделушки, веера. Сотни разных мелочей и пустяков.

Вместе с ним выезжал часто в усадьбу и ротмистр. Они много лет были друзьями: как теперь Вольф Гонтрам, так прежде граф фон Герольдинген питался из той сокровищницы знаний, которую накопил доктор Монен. Тот давал полную, щедрую руку, довольный, что вообще может как-нибудь применить свой хлам. По вечерам они нередко вместе пускались на поиски приключений. Знакомства завязывал всегда доктор и представлял затем своего друга, графа, которым он очень гордился. И почти всегда гусарский офицер срывал в конце концов

спелые вишни с дерева, которое находил Карл Монен. В первый раз у него были угрызения совести. Он счел себя не порядочным, мучился несколько дней и затем откровенно признался во всем другу. Он извинился перед ним: но девушка делала такие авансы, что он не мог отказаться. Он добавил еще, что в душе очень доволен происшедшим, так как, по его мнению, девушка недостойна любви его друга. Доктор Монен не моргнув даже глазом, сказал, что ему это совершенно безразлично, привел в виде причины индейское племя майя на Юкатане. У которого господствует принцип: «Моя жена-жена моего друга». Но Герольдинген, однако, заметил, что Монен все же обижен, и поэтому счел лучшим скрывать

от него правду, когда в другой раз знакомые доктора предпочитали графа. А тем временем многие «жены» доктора Монена становились «женами» красивого ротмистра; совсем как на Юкатане, с той только разницей, что большинство их до этого не являлись женами Карла Монена. Он был загонщиком, находящим добычу, – охотником же был граф Ганс фон Герольдинген. Но тот был очень скромен, имел доброе сердце и избегал задевать самолюбие друга, – поэтому

загонщик не замечал, когда охотник стрелял, и считал себя самым славным Немвродом на Рейне.

Карл Монен говаривал часто: «Пойдемте со мною, граф, я одержал новую победу – прелестная англичанка. Поймал ее вечером на концерте. И сегодня мы встретимся с нею на набережной».

– А Элли? – спрашивал ротмистр.

– В отставку, – высокопарно отвечал Карл Монен.

Положительно невероятно, как часто пламя его искало пищи. Находя новую, он тотчас же забывал о старой и никогда потом не вспоминал даже о ней. Он относился к этому очень легко. И в этом действительно превосходил другая – ротмистру было трудно расставаться, да и женщины не так легко покидали его. Требовались вся энергия и все красноречие доктора, чтобы отвлечь от старого увлечения к новому.

На этот раз доктор сказал: «Вы должны ее посмотреть, граф. Клянусь честью, я рад, что вышел целым из всех моих приключений и нигде не застрял: теперь, наконец, я нашел то, что мне нужно. Она страшно богата, – у старого профессора больше тридцати миллионов, а пожалуй, и все сорок. Ну, что вы скажете, граф? И какая хорошенькая, свеженькая. Да и к тому же попалась в тенета. Никогда еще я не был так уверен в победе».

– Хорошо, но что будет с Кларой? – заметил ротмистр.

– В отставку! – отрезал доктор. – Я ей сегодня уже написал письмо, что хотя мне и очень обидно, но у меня слишком много забот и для нее нет ни минуты свободной.

Герольдинген вздохнул. Клара была учительницей в одном английском пансионе. Доктор Монен познакомился с нею на балу и представил ей своего друга. Клара влюбилась в ротмистра, а тот твердо надеялся, что Монен ее у него возьмет, – когда захочет жениться. Последнее рано или поздно случится: долги росли с каждым днем. Он должен был в конце концов как-нибудь устроиться.

«Напишите ей то же самое, – посоветовал Карл Монен. – Господи, да ведь если я это сделал, вам тем легче, вам – всего только ее другу. Вы слишком честны, слишком порядочны». Ему очень хотелось взять графа с собою в Лендених: в его присутствии он еще больше выиграет во мнении маленькой фрейлейн тен-Бринкен. Он слегка потрепал графа по плечу: «Да вы сентиментальны, будто школьник. Я бросаю женщину, – а вы себя упрекаете. Старая песня. Но подумайте только, из-за чего я это делаю: из-за прелестнейшей богатой наследницы, – тут колебаться нельзя».

Ротмистр поехал вместе с другом в Лендених и тоже влюбился в Альрауне, – она была совершенно другой, чем те, которые до сих пор протягивали ему свои красивые губы для поцелуев.

Когда он в ту ночь вернулся домой, у него было такое же чувство, как тогда, лет двадцать назад, когда он в первый раз нарушил свой дружеский долг с возлюбленной Монена. Он считал, что успел уже закалить свою совесть после стольких обманов, – а все-таки ему теперь было стыдно. Эта – эта – дело другое. Иным было его чувство к девушке, да и друг его испытывал совершенно иные намерения, – он это заметил.

Его успокаивало только одно: фрейлейн тен-Бринкен наверняка не возьмет доктора Монена, – тут у него меньше шансов, чем у всех других женщин. Правда, предпочтет ли она его, он тоже не был уверен. Его вера в себя исчезла перед этой хорошенькой куколкой.

Что касается молодого Вольфа Гонтрама, то несомненно, что Альрауне любила мальчика, которого называла своим хорошеньким пажом, – но несомненно и то, что он для нее был только игрушкой. Нет, оба они не соперники, ни умный доктор, ни хорошенький

мальчик. Ротмистр взвесил свои шансы – первый раз в жизни. Он из хорошей старинной семьи, а гусарский полк считался лучшим на Западе. Он строен, высокого роста, еще молод на вид, – хотя его и ждало уже производство в майоры. Он дилетант во всех искусствах. Положа руку на сердце, он должен признаться, что трудно найти второго прусского офицера, у которого было столько же интересов и столько же познаний, как у него. По правде говоря, нет ничего удивительного, что женщины и девушки виснут у него на шее. Почему бы этого не сделать и Альрауне? Ей пришлось бы долго искать, чтобы найти что-нибудь лучшее. Тем более приемная дочь его превосходительства обладает в столь крупном масштабе тем, чего ему единственно недостает: деньгами. По его мнению, они были бы превосходной парой.

Вольф Гонтрам бывал каждый вечер в доме, посвященном святому Непомуку, но по крайней мере три раза в неделю вместе с ним приезжал ротмистр и доктор. Тайный советник после ужина обычно уходил к себе, но иногда все же оставался с полчаса, слушал, наблюдал и тогда уходил. Трое поклонников сидели вокруг маленькой девушки, смотрели на нее и играли в любовь, каждый по-своему.

Одно время ей нравились молоденькие девушки, но потом стали надоедать. Ей казалось, что это чересчур однообразно и что нужно подбавить немного пестрых красок в монотонные вечерние идиллии в Ленденхихе.

– Нужно было бы что-нибудь сделать, – сказала она однажды Вольфу Гонтраму.

Юноша спросил: «Кому сделать?»

Она посмотрела на него: «Кому? Да им обоим. Доктору Монену и графу!»

– Скажи им, что сделать, – сказал Вольф, – они сейчас же послушаются.

Альрауне широко раскрыла глаза. «Разве я знаю? – произнесла она медленно. – Они сами должны это знать». Она подперла голову руками и смотрела куда-то в пространство. Но через минуту спросила: «Разве не весело было бы, Вельфхен, если бы они вызвали друг друга на дуэль? Стали бы драться?»

Вольф Гонтрам заметил: «Зачем же им драться? Они ведь такие друзья!»

– Ты глупый мальчик, Вельфхен, – сказала Альрауне. – При чем тут – дружны они или нет? Раз они так дружны, их нужно поссорить.

– Да, но к чему же? – спросил он. – Ведь это же лишено всякого смысла.

Она засмеялась, взяла его кудрявую голову и поцеловала прямо в нос: «Да, Вельфхен, особенного смысла здесь, правда, нет, – но зачем и искать его? Ведь это внесло бы какое-нибудь разнообразие. Ты меня понимаешь?»

Он промолчал. Но она спросила опять: «Вельфхен, ты меня понимаешь?»

Он кивнул головой.

В тот вечер Альрауне обсудила с молодым Гонтрамом, как поссорить обоих друзей, но так, чтобы один вызвал другого на дуэль. Альрауне задумалась, потом стала развивать свои планы и вносить одно предложение за другим. Вельфхен Гонтрам лишь кивал, все еще немного смущенный. Альрауне его успокоила: «В конце концов они ведь не убьют друг друга: на дуэлях всегда проливается мало крови. А потом они опять помиряются. Это только больше укрепит их дружбу».

Он успокоился. Он стал помогать. Открыл ей всевозможные мелкие слабости того и другого, указал, в чем особенно чувствителен доктор и в чем граф Герольдинген, – их маленький план был готов. Это была отнюдь не хитросплетенная интрига, а скорее наивная ребяческая затея: только двое людей, слепо влюбленных, могли поскользнуться и попасть в неискусно расставленную западню. Профессор тен-Бринкен заметил проделку. Он спросил Альрауне, но та молчала, и он обратился за разъяснениями и к Вольфу. От него он узнал все подробности, рассмеялся и внес в их маленький план кое-какие поправки.

Но дружба между графом и доктором была крепче, чем казалась Альрауне. Целых четыре недели прошло, пока ей удалось уверить доктора Монена, столь непоколебимо убежденного в своей неотразимости, что на сей раз ему придется уступить место ротмистру, а в последнем, в свою очередь, заронить сомнение, что она, вполне вероятно, может предпочесть доктора. Необходимо объясниться, думал ротмистр. Так же думал и Карл

Монен. Но Альрауне тен-Бринкен искусно уклонялась от объяснения, которого с одинаковым усердием добивались оба поклонника. Она то приглашала вечером доктора и не звала ротмистра, то на следующий день ездила кататься с графом и заставляла доктора ждать ее на концерте. И тот, и другой считали себя ее избранниками, но оба признавались в душе, что ее отношение к сопернику не совсем равнодушно. В конце концов раздуть тлеющую искру пришлось самому тайному советнику.

Он отвел в сторону своего заведующего, сказал длинную речь о том, что чрезвычайно доволен его работой и что ничего не имел бы против, если бы человек, столь близко знакомый с его делами, стал его преемником. Он никогда, правда, не решится насиловать волю ребенка, он хочет только предупредить: против него ведется интрига человеком, имени которого он не может назвать, – про его бурную жизнь распускают всевозможные слухи и нашептывают на ухо Альрауне. Почти то же самое сказал профессор тен-Бринкен и ротмистру: только ему он сказал, что не имел бы ничего против, если бы его маленькая дочурка стала членом такого хорошего старинного рода, как графы Герольдингены.

Последнюю неделю соперники старались не встречаться друг с другом, но оба удвоили свое внимание к Альрауне: особенно доктор Монен исполнял все ее прихоти и желания. Едва услышав, что ей понравилось прелестное жемчужное кольцо, которое она видела в Кельне у ювелира, он тотчас же поехал и купил драгоценность. Когда он заметил, что на минуту она пришла в искренний восторг от подарка, он окончательно убедился, что нашел путь к ее сердцу, и начал осыпать ее подарками. Ему, правда, приходилось заимствовать деньги из кассы конторы, но он был так уверен в победе, что делал это с легким сердцем и смотрел на растрату как на вполне законный заем, который тотчас же покроет, как только получит в приданое миллионы профессора. Профессор же – он был убежден – только посмеется его смелым проделкам.

Профессор, правда, смеялся, – но совсем по иному поводу, чем представлял себе добрый Карл Монен. В тот самый день, когда Альрауне получила в подарок жемчужное кольцо, он поехал в город и с первого же взгляда убедился, откуда доктор взял деньги. Но он не произнес ни звука.

Граф Герольдинген не мог покупать драгоценностей. В его распоряжении не было кассы, и ни один ювелир ему не поверил бы в долг. Но он сочинял Альрауне сонеты, действительно довольно удачные, писал ее портрет в костюме мальчика и играл ей на скрипке, – но не Бетховена, которого очень любил, а Оффенбаха, который ей нравился больше всех.

Наконец, в день рождения тайного советника, когда они оба были приглашены, дело дошло до открытого столкновения. Альрауне попросила их, каждого в отдельности, быть ее кавалером, и поэтому оба подошли к ней в одно и то же время, – когда лакей доложил, что кушать подано. Оба сочли друг друга бестактными и дерзкими и обменялись парой резких фраз.

Альрауне кивнула Вольфу Гонтраму. «Если они не могут столковаться друг с другом, тогда...» – смеясь, сказала она и взяла его под руку.

За столом вначале все шло очень мирно, и разговор приходилось поддерживать тайному советнику. Но вскоре поклонники разгорячились, выпив за здоровье виновника торжества и его прелестной дочери. Карл Монен сказал тост, и Альрауне одарила его взглядом, который заставил броситься кровь в голову ротмистра. Потом за десертом она коснулась своей маленькой ручкой руки графа – правда, на секунду, – но этого было достаточно, чтобы доктор пришел в ярость.

Когда встали из-за стола, она подала обоим ручки и танцевала тоже с обоими. Во время вальса она сказала каждому в отдельности: «О, как некрасиво со стороны вашего друга. Я на вашем месте, наверное, этого так не оставила бы».

Граф ответил: «Конечно, конечно». А доктор Монен ударил себя кулаком в грудь и заявил: «Я этого так не оставлю».

На следующее утро и ротмистру, и доктору ссора показалась чрезвычайно

ребяческой, – но у обоих было такое чувство, как будто они что-то обещали Альрауне тен-Бринкен. «Я вызову его на дуэль», – решил Карл Монен, хотя и думал про себя, что это вовсе не так необходимо. Но ротмистр уже на следующее утро послал к нему двух товарищей, – на всякий случай, – пусть суд чести решит потом, как ему поступить.

Доктор Монен разговорился с секундантами и заявил, что утром послал к нему двух товарищей – на всякий случай, – граф – его самый близкий друг и что он не имеет ничего против него. Пусть он только попросит извинения, и все будет прекрасно. По секрету он может им сказать, что на следующий день после свадьбы заплатит долги друга.

Но оба офицера заявили, что хотя это и очень благородно с его стороны, это отнюдь их не касается. Ротмистр чувствует себя оскорбленным и требует удовлетворения, им поручено лишь спросить, примет ли он вызов. Троекратный обмен выстрелами, дистанция пятнадцать шагов.

Доктор Монен испугался. «Троекратный...» – пробормотал он. Один из офицеров рассмеялся. «Успокойтесь, доктор, суд чести никогда в жизни не разрешит таких страшных условий из-за пустяков. Это только про forma». Доктор Монен согласился с ним. В расчете на здравый смысл членов суда чести он принял вызов. Даже больше – помчался тотчас же в Саксонскую корпорацию и послал двух студентов к ротмистру с предложением: пятикратный обмен выстрелами, дистанция десять шагов. Этот красивый шаг с его стороны наверняка понравится Альрауне

Смешанный суд чести, состоявший из офицеров и корпорантов, был достаточно благоразумен: он назначил однократный обмен выстрелами и дистанцию в двадцать шагов. Условия довольно легкие: никто особенно не пострадает, а честь будет все-таки спасена. Ганс Герольдинген улыбнулся, выслушав решение суда, и поклонился. Но доктор Монен побледнел. Он надеялся, что суд признает дуэль вообще излишней и потребует обоюдного извинения. Хотя предстоит всего одна пуля, но ведь и одна может попасть.

Рано утром они поехали в Коттенфорст, все в штатском, – но очень торжественно, в семи экипажах. Три гусарских офицера и штабной врач; доктор Монен и Вольф Гонтрам; два студента из корпорации «Саксония» и один из «Вестфалии»; доктор Перенбом, двое служителей из корпорации, два денщика и фельдшер штабного доктора.

Присутствовал еще один человек: его превосходительство профессор тен-Бринкен. Он предложил своему заведующему врачебную помощь.

Целых два часа ехали они в яркое, ясное утро. Граф Герольдинген был в прекрасном настроении; накануне вечером он получил письмо из Лендениха. В нем был трилистник и одно только слово «Маскотта». Письмо лежало сейчас в жилетном кармане и заставляло улыбаться и мечтать о разных вещах. Он беседовал с товарищами и смеялся над этой детской дуэлью. Он был лучшим стрелком во всем городе и говорил, что ему хочется сбить у доктора пуговицу с рукава. Но несмотря на все, нельзя быть полностью уверенным, особенно когда не свои пистолеты, – лучше уж выстрелить в воздух. Ведь это низость, если он причинит хотя бы легкую царапину славному доктору.

Доктор Монен, ехавший в экипаже вместе с тайным советником и молодым Гонтрамом, однако, не говорил ни слова. Он тоже получил маленькое письмо, написанное красивым почерком фрейлейн тен-Бринкен, и изящную золотую подкову, но даже не прочел его как следует, пробормотал что-то о «привычке к суеверию» и бросил письмо на письменный стол. Он испытывал страх – настоящий трусливый страх, словно грязными помоями заливал яркий костер своей любви. Он называл себя форменным идиотом за то, что встал так рано, чтобы отправиться на эту бойню. В нем все еще боролось горячее желание попросить извинения у ротмистра и таким образом избежать дуэли с чувством стыда, которое он испытывал перед тайным советником, а еще больше, пожалуй, перед Вольфом Гонтрамом, которому так высокопарно повествовал о своих подвигах. Он старался сохранять геройский вид, закурил сигару и равнодушно озирался по сторонам. Но он был бледен как полотно, когда экипаж остановился в лесу у дороги и все отправились по тропинке на большую поляну.

Врач приготовил перевязочный материал, секунданты открыли ящики с пистолетами и

зарядили их. Потом отвесили аккуратно порох, чтобы оба выстрела были совершенно одинаковы. Затем стали бросать жребий на спичках: кто вынет длинную, тому стрелять первому. Ротмистр с улыбкой глядел на торжественные приготовления, а доктор Монен отвернулся и тупо смотрел в землю. Секунданты отмерили двадцать шагов – таких больших, что все улыбнулись.

«Поляна слишком мала», – воскликнул иронически один из офицеров. Но длинный вестфалец ответил спокойно: «Тогда дуэлянты могут зайти в лес: это еще безопаснее».

Дуэлянты стали на места, секунданты последний раз предложили им примириться, но не дождались ответа: «Так как примирение обеими сторонами отклоняется, то я прошу слушать команду...»

Слова прервал глухой вздох доктора. У Карла Монена вдруг задрожали колени, и пистолет выпал из рук; он был бледен как смерть.

– Подождите минуту, – крикнул врач и подбежал к доктору Монену. Вслед за ним тайный советник, Вольф Гонтрам и оба саксонца.

– Что с вами? – спросил доктор Перенбом.

Доктор Монен ничего не ответил. Он тупо смотрел куда-то в пространство.

– Что с вами, доктор? – повторил вопрос его секундант, поднял пистолет и вложил снова в руку.

Но Карл Монен молчал, у него был вид приговоренного к смерти.

Улыбка пробежала по широкому лицу тайного советника. Он подошел к саксонцу и сказал на ухо: «С ним случилась самая обыкновенная вещь». Корпорант не сразу понял. «В чем дело, ваше превосходительство?» – спросил он.

Тот шепнул ему что-то.

Саксонец расхохотался. Но оба поняли серьезность положения, вынули носовые платки и зажали себе носы.

«Incontinentia alvi»-заявил с достоинством доктор Перенбом. Он достал из жилетного кармана бутылочку, налил две капли опиума на кусок сахара и протянул доктору Монену.

«Вот, пососите, – сказал он и сунул тому прямо в рот. – Соберитесь же с духом. Хотя, правда, дуэль – довольно страшная вещь».

Но бедный доктор не слышал ничего и не видел, – его язык не почувствовал даже горького вкуса опиума. Он только смутно сознавал, что все отошли от него. Потом, точно в тумане, услышал команду секундантов: «Раз – два» – и тотчас же вслед за этим выстрел. Он закрыл глаза, зубы стучали, вертелось перед глазами. «Три», – слышалось с опушки леса, – он поднял пистолет и выстрелил. Громкий выстрел настолько его оглушил, что ноги подкосились. Он не упал, а просто свалился; сел на влажную от росы землю. Он просидел так, наверное, с минуту, но она показалась ему целой вечностью. Потом вдруг он понял, что все уже кончилось. «Кончено», – пробормотал он со счастливым вздохом. Он ощупал себя – нет, он не ранен.

Никто не обращал на него ни малейшего внимания, и он быстро поднялся. С невероятной быстротой вернулись к нему силы. Он глубоко вдохнул свежий утренний воздух, – ах, как хорошо все-таки жить!

Позади, на другом конце опушки, столпилась куча людей. Он вытер пенсне и посмотрел – все повернулись к нему спиной. Он медленно пошел туда, увидел Вольфа Гонтрама, который стоял немного поодаль, потом двух других на коленях и одного лежавшего навзничь на земле.

Неужели это ротмистр? Так, значит, доктор попал в него – да – но разве он вообще выстрелил? Доктор подошел ближе и увидел, что взгляд графа устремлен на него. Граф кивнул ему головою. Секунданты расступились. Ганс Герольдинген протянул ему правую руку: доктор Монен встал на колени и пожал ее. «Простите меня, – пробормотал он, – я ведь, право, не хотел...»

Ротмистр улыбнулся: «Знаю, дружище. Это лишь случайность – проклятая случайность». Он почувствовал вдруг сильную боль и застонал. «Я хотел вам, доктор, только

сказать, что я на вас не сержусь», - тихо произнес он.

Доктор Монен ничего не ответил: губы его нервно дрогнули и в глазах показались крупные слезы. Врач отвел его в сторону и занялся раненым.

– Ничего не поделаешь! – прошептал штабной доктор.

– Надо попробовать отвезти его возможно скорее в клинику, – заметил тайный советник.

– Что толку? – возразил доктор Перенбом. – Он скончается по дороге. Мы причиним ему только излишние страдания.

Пуля попала в живот, пробила кишечник и застряла в позвоночнике. Казалось, будто ее влекла туда какая-то таинственная сила: она проникла через жилетный карман, через письмо Альрауне, пробила трилистник и заветное словечко «Маскотта»...

Маленький адвокат Манассе спас доктора Монена. Когда советник юстиции Гонтрам показал ему письмо, только что полученное из Лендениха, адвокат заявил, что тайный советник – самый отъявленный мошенник из ему известных, и умолял коллегу не подавать жалобу в прокуратуру, пока доктор не будет в полной безопасности. Дело шло не о дуэли – по этому поводу власти начали следствие в тот самый день, – а о растрате в конторе же профессора. Адвокат сам побежал к преступнику и вытащил его из постели.

– Вставайте, – протягивал он. – Вставайте, укладывайте чемоданы, уезжайте с первым же поездом в Антверпен, а потом скорее в Америку. Вы осел, вы идиот, как вы могли наделать все эти глупости?

Доктор Монен протирал заспанные глаза. Но он не мог никак понять, в чем дело. Он ведь в таких отношениях с тайным советником...

Но Манассе не дал ему вымолвить ни слова. «В каких отношениях? – залаял он. – Нечего сказать, в хороших вы с ним отношениях. В превосходных! В изумительных! Ведь сам тайный советник поручил Гонтраму подать на вас жалобу прокурору за растрату в конторе, – понимаете вы, идиот?»

Карл Монен решился наконец встать с постели. Ему помог уехать Станислав Шахт, его старый приятель. Он составил маршрут, дал денег и позаботился об автомобиле, который должен был отвезти доктора в Кельн. Прощание было довольно трогательным. Свыше тридцати лет Карл Монен прожил в этом городе, в котором каждый камешек вызывал у него воспоминания. Здесь, в этом городе, его корни, здесь его жизнь имела хотя бы какой-нибудь смысл, и вот теперь он должен уехать так неожиданно, уехать куда-то в далекую чужую страну...

– Пиши мне, – попросил толстый Шахт. – Что ты думаешь там предпринять?

Карл Монен задумался. Казалось, все разбито, разрушено: грудой обломков стала вдруг его жизнь. Он пожал плечами, мрачно смотрели его добродушные глаза.

– Не знаю, – пробормотал он.

Но привычка – вторая натура. Он улыбнулся сквозь слезы:

– Я там женюсь. Ведь много богатых девушек там – в Америке.

ГЛАВА 10, которая рассказывает, как Вольф Гонтрам погиб из-за Альрауне.

Карл Монен был не единственным, кто попал под колеса пышной колесницы его превосходительства. Тайный советник завладел всецело крупным народным земельным банком, давно уже находившимся под его влиянием, и взял на себя контроль над широко распространенными в стране кооперативными сберегательными кассами. Этого он достиг без труда: против него восстали старые чиновники, у которых новый режим отнял всякую самостоятельность. Адвокат Манассе, помогавший вместе с советником юстиции юридической легализации плана, пытался сгладить целый ряд неприятных сторон, но не мог воспрепятствовать, однако, тому, что профессор тен-Бринкен действовал беспощадно,

выбрасывая за борт то, что казалось ему хоть сколько-нибудь излишним, и заставив несколько самостоятельных потребительных союзов и сберегательных касс подчиниться его всесильному контролю. Его власть простиралась далеко вплоть до самого промышленного района. Все, что имело связь с землею, – уголь, металлы, минеральные источники, земельные участки и здания сельскохозяйственных коопераций, путевые сооружения, плотины и каналы – все это так или иначе находилось в зависимости от него. С тех пор как вернулась домой Альрауне, он еще смелее брался за дела, уверенный в своем неизменном успехе. Для него не существовало ни препятствий, ни сомнений, ни опасений.

В кожаной книге он подробно рассказывает о всех этих делах. Ему, по-видимому, доставляло удовольствие детально расследовать, что противодействовало его начинаниям, насколько ничтожны были шансы успеха, – но он брался тем энергичнее и в конце концов приписывал успех присутствию в доме Альрауне. Он иногда спрашивал у нее совета, не посвящая, однако, в подробности. Он спрашивал только: «Делать ли это?» Если она кивала головою утвердительно, он тотчас же брался за новое предприятие и отказывался от него, как только она не советовала.

Законы, по-видимому, давно уже перестали существовать для профессора. Если прежде он зачастую целыми часами совещался со своим адвокатом, стараясь найти какой-нибудь выход, какую-нибудь потайную дверь в темном извилистом коридоре, если он прежде подробно изучал всевозможные параграфы гражданского уложения и сотнями разных хитростей облакав свои проделки флером законности, то теперь ради этого не шевелил даже пальцем. Твердо веря в свою силу и счастье, он нередко совершенно открыто нарушал закон. Он знал превосходно, что там, где никто не посмеет пожаловаться, не может быть и суда. Правда, против него вчинялись иски, посылались анонимные донесения, а иногда даже с подписью. Но у него были огромные связи, его защищало и государство и церковь, – он с обоими был на короткой ноге. Его голос в управлении провинции был чрезвычайно влиятелен, а политика епископского дворца в Кельне, который он постоянно поддерживал материально, служила ему твердым оплотом. Власть его простиралась до самого Берлина: это подтверждал высший орден, собственноручно надетый ему императором при открытии памятника. Правда, на постройку памятника он пожертвовал большую сумму, но государство зато купило у него по очень высокой цене участок земли, на котором памятник был воздвигнут. К тому же и титул его, почтенная старость и признанные заслуги в науке – разве провинциальный прокурор возбудил бы против него дело?

Несколько раз тайный советник сам просил давать ход таким жалобам, – и они оказывались глупыми преувеличениями, лопались как мыльные пузыри. Скептицизм властей по отношению к этим донесениям возрастал с каждым днем. Дошло до того, что когда один молодой ассессор захотел выступить против профессора в деле, простом и ясном как день, прокурор, не просмотрев даже документов, заявил ему: «Чепуха, ни тени серьезности. Мы только опять осраимся».

Дело это возбудил временный директор висбаденского музея, который, купив у тайного советника различные археологические древности, счел себя обманутым и теперь подал жалобу. Власти, однако, жалобы не приняли и сообщили о ней тайному советнику. Тот постарался оправдаться: в своем лейборгане, воскресном приложении к «Кельнской газете», он написал превосходную статью под заглавием «Наши музеи». Он не защищался от обвинений противника, а сам напал так жестоко, выставив его невеждой и кретином, что бедный ученый был повержен в прах. Профессор пустил в ход все свои связи – и через несколько месяцев в музей был назначен новый директор. Прокурор улыбнулся, прочтя в газетах это сообщение. Он показал газету ассессору и сказал: «Прочтите, коллега. Поблагодарите Бога, что вы меня тогда спросили и не сделали непростительной глупости». Ассессор поблагодарил, но удовлетворенным себя не почувствовал.

Наступил карнавал. В городе состоялся большой бал. На нем присутствовали высшие особы, а вокруг них все, что носило в городе форму или пестрые ленточки и шапочки корпораций. Были все профессора, все судейские деятели, все чиновники и все богачи,

советники коммерции и крупные фабриканты – все в костюмах, даже старики должны были оставить дома фраки и надеть черное домино.

Советник юстиции Гонтрам председательствовал за большим столом тайного советника. Он знал толк в винах и заказывал лучшие марки. Тут сидела княгиня Волконская с дочерью, графиней Фигурерой д'Абрант, и Фрида Гонтрам – обе приехали погостить, – адвокат Манассе, два приват-доцента, трое профессоров и столько же офицеров и сам тайный советник, впервые вывезший дочку на бал.

Альрауне была одета в костюм шевалье де Мопена – костюм мальчика в стиле Бердсли. Она опустошила много шкафов в доме тен-Бринкена, вытряхнула сундуки и ящики. И наконец нашла старинные дорогие мехельнские кружева. Они носили на себе следы слез бедных швей, как и все кружевные платья прелестных женщин, но костюм Альрауне была окроплен еще и другими слезами-слезами портнихи, которая никак не могла угодить вкусу Альрауне, слезами парикмахерши, которую она ударила за то, что та не понимала прически, и маленькой камеристки, которую она, одеваясь, колола булавами. О, как было трудно одеть эту девушку Готье в причудливом толковании англичанина, – но когда все было готово, когда капризный мальчик прошелся по зале на высоких каблучках, с изящной маленькой саблей на боку, тогда все глаза жадно устремились следом за ним – все без исключения.

Шевалье де Мопен делил успех с Розалиндой. Розалиндою был Вольф Гонтрам, – и никогда еще на сцене не появлялось такой красивой героини, даже во времена Шекспира, когда женские роли играли стройные мальчики, да и впоследствии, когда Маргарита Гюи, возлюбленная принца Роберта, исполняла в первый раз женскую роль в комедии «Как вам будет угодно». Альрауне сама одевала Гонтрама. С невероятными усилиями научила она его ходить и танцевать, обмахиваться веером и улыбаться. И подобно тому как сама она была мальчиком и в то же время девушкой в костюме Бердсли, так и Вольф Гонтрам не хуже ее воплотил образ своего великого земляка, написавшего «Сонет»: он в своем платье со шлейфом был прекрасной девушкой и в то же время все-таки мальчиком.

Может быть, тайный советник и замечал все это, может быть, и маленький Манассе, и даже Фрида Гонтрам, быстрый взгляд которой скользил от одного к другому. Но больше уже, наверное, никто в огромной зале, где тяжелые гирлянды красных роз свисали с высокого потолка. Но все зато чувствовали, что тут нечто особенное, нечто из ряду вон выходящее.

Ее королевское высочество послала адъютанта, попросила их обоих к столу и познакомилась. Она протанцевала с ними вальс, сперва за кавалера с Розалиндой, а потом за даму с шевалье де Мопеном. Она громко смеялась, когда после в менюэте мальчик Теофиля Готье кокетливо склонялся перед юной мечтой Шекспира.

Ее королевское высочество сама превосходно танцевала, была первой в теннисе и на катке, – она с удовольствием танцевала бы с ними всю ночь напролет. Но другие тоже настаивали на своем праве. Де Мопен и Розалинда переходили из одних объятий в другие: их то обнимали крепкие руки мужчины, то они чувствовали высоко вздымающуюся грудь прекрасной женщины.

Советник юстиции Гонтрам смотрел равнодушно; пунш, который он собирался варить, интересовал его значительно больше, чем успех сына. Он начал было рассказывать княгине Волконской длинную историю о каком-то фальшивомонетчике, но ее сиятельство не слушала. Она разделяла удовлетворение и радостную гордость тайного советника тен-Бринкена, чувствуя себя до некоторой степени участницей создания Альрауне, своей крестницы. Только маленький Манассе был настроен мрачно, ругался и все время ворчал.

«Зачем ты так много танцуешь?» – обратился он к Вольфу. – Ты должен больше думать о своих легких». Но молодой Гонтрам не слушал его.

Графиня Ольга вскочила и бросилась к Альрауне. «Прекрасный кавалер...» – шепнула она, а шевалье ответил: «Пойдем со мною, милая Тоска». Он завертел ее быстрее и быстрее, она едва переводила дыхание. Потом привел ее обратно к столу и поцеловал прямо в губы.

Фрида Гонтрам танцевала со своим братом и долго смотрела на него своими умными, проницательными глазами. «Жаль, что ты мой брат», – сказала она.

Он не понял. «Почему?» – спросил он.

Она засмеялась: «Ах, глупый мальчик. Хотя, впрочем, ты прав, спросив „почему“. Ведь, в сущности, никаких препятствий не существует, не правда ли? Все только потому, что на нас тяготеют, точно свинцовые гири, моральные предрассудки нашего нелепого воспоминания – ведь правда, дорогой братец?»

Но Вольф Гонтрам не понял ни слова. Она остановилась со смехом и взяла за руку Альрауне тен-Бринкен. «Мой брат – более красивая девушка, нежели ты, – сказала она, – но ты зато более прелестный мальчик».

– А тебе, – рассмеялась Альрауне, – тебе, белокурая монашка, больше нравится прелестный мальчик?

Она ответила: «Что может требовать Элоиза: печально жилось моему бедному Абеляру, ты ведь знаешь – он был стройный и нежный, как ты. Приходится скромничать. Тебе же, дорогой мой мальчик, никто не сделает зла: ты похож на провозвестника новой, свободной религии».

– Но мои кружева старинные и очень почтенные, – заметил шевалье де Мопен.

– Они хорошо покрывают сладостный грех, – засмеялась белокурая монахиня, взяла бокал со стола и протянула. – Пей, мальчик мой.

Подошла графиня, вся разгоряченная, с умоляющими глазами. «Отдай его мне, – сказала она подруге, – отдай его мне». Но Фрида Гонтрам покачала головой. «Нет, – ответила она сухо, – не отдам. Будем соперничать, если хочешь».

«Она поцеловала меня», – возразила Тоска. Но Элоиза ответила: «Ты думаешь: тебя одну в эту ночь?» Она повернулась к Альрауне. «Решай же, мой Парис, кого из нас ты хочешь: светскую даму или монахиню?»

– Сегодня? – спросил шевалье де Мопен.

– Сегодня – и на сколько захочешь, – вскричала графиня Ольга.

Мальчик расхохотался: «Я хочу и монахиню – и Тоску».

Он, смеясь, побежал к белокурому тевтонцу, который в красном костюме палача размахивал огромным топором из картона.

– Послушай, любезный, – закричала она, – у меня оказалось две матери. Не хочешь ли казнить их обеих?

Студент выпрямился во весь рост и засучил рукава и закричал: «Где же они?»

Но Альрауне некогда было отвечать: ее пригласил танцевать полковник двадцать восьмого полка.

...Шевалье де Мопен подошел к профессорскому столу.

– Где же твой Альберт? – спросил историк литературы. – И где твоя Изабелла?

«Мой Альберт повсюду, господин экзаменатор, – отвечала Альрауне, – их целая сотня здесь в зале. А Изабелла...» – она оглянулась по сторонам. «Изабеллу, – продолжала она, – я тебе сейчас покажу».

Она подошла к дочери профессора, пятнадцатилетней робкой девочке, смотревшей на нее с изумлением большими голубыми глазами. «Хочешь быть моим пажом, маленькая садовница?» – спросила она.

Девушка ответила: «Хочу – очень хочу. Если ты только хочешь».

«Ты могла бы быть моим пажом, если бы я сама была дамой, – обратился к ней шевалье де Мопен, – и моей камеристкой, если бы я была кавалером». Девочка кивнула головой.

– Ну, выдержала я экзамен, профессор? – засмеялась Альрауне.

– С величайшей похвалой – подтвердил историк литературы. – Но оставь мне все-таки мою маленькую Трудю.

– Теперь экзаменовать буду я, – сказала Альрауне тен-Бринкен. Она обратилась к маленькому круглому ботанику: – Какие цветы растут у меня в саду, профессор?

– Красивые гибиски, – ответил ботаник, знакомый с флорой Цейлона, – золотые лотосы

и белые цветы храма.

– Неправда, – воскликнула Альрауне, – неправда. Ну, а ты, стрелок из Гаарлема? Быть может, ты скажешь, какие цветы растут у меня в саду?

Профессор истории искусств пристально посмотрел на нее, легкая улыбка пробежала по его губам.

– Цветы зла, – сказал он, – правильно?

– Да, да, – воскликнула Альрауне, – правильно. Но они растут не для вас, господа ученые, – вам придется подождать, пока они завянут и засохнут в гербарии.

Она вынула из ножен свою миниатюрную саблю, поклонилась, шаркнула высокими каблучками и отдала честь. Потом повернулась, протанцевала тур вальса с бароном фон Мантейфелем, услышала звонкий голос ее королевского высочества и быстро подбежала к столу принцессы.

– Графиня Альмавива, – начала она, – чего хотели бы вы от вашего верного Керубино?

– Я им недовольна, – ответила принцесса, – сегодня он заслужил розги. Он перебегает по зале от одного Фигаро к другому.

– И от одной Сусанны к другой, – засмеялся принц.

Альрауне тен-Бринкен состроила гримасу.

«Что же делать бедному мальчику, – воскликнула она, – который еще ничего не знает?» Она засмеялась, сняла с плеча адъютанта гитару, отошла на несколько шагов и запела:

*Вы, что знакомы
С сердечной тоской,
Тайну откройте
Любви неземной!*

– От кого же ты ждешь ответа, Керубино? – спросила принцесса.

– А разве графиня Альмавива не может ответить? – ответила Альрауне.

Принцесса расхохоталась. «Ты очень находчив, мой паж», – сказала она.

Керубино ответил: «Таковы уж все пажи».

Она приподняла кружево с рукава принцессы и поцеловала ей руку высоко и чересчур долгим поцелуем.

– Не привести ли тебе Розалинду? – шепнула она и прочла ответ в ее глазах.

Розалинда как раз проносилась мимо с кавалером – ни минуты не давали ей покоя в тот вечер. Шевалье де Мопен отнял ее у кавалера и подвел к столу принцессы. «Дайте выпить, – воскликнула она, – мой возлюбленный умирает от жажды». Она взяла бокал, который подала принцесса, и поднесла к красным губам Вольфа Гонтрама. Потом обратилась к принцу: "Не хочешь ли протанцевать со мною, неистовый рейнский маркграф? Ой рассмеялся и показал на свои огромные сапоги с исполинскими шпорами: «Могу я, по-твоему, в них танцевать?»

– Попробуй, – настаивала она и потянула его за собою, – как-нибудь выйдет. Только не наступай мне на ноги и не раздави меня, суровый маркграф.

Принц задумчиво посмотрел на нежное создание, утопавшее в кружевах. «Ну, хорошо, пойдем танцевать, маленький паж», – сказал принц.

Альрауне послала принцессе воздушный поцелуй и понеслась по зале с грузным принцем. Толпа расступалась перед ними. Он подымал ее, вертел в воздухе, она громко кричала – как вдруг он запутался в своих шпорах: бац, оба лежали на полу. Она тотчас же поднялась и протянула ему руку.

«Вставай же, суровый маркграф, – крикнула она, – я, право, не в силах тебя поднять». Он хотел сам приподняться, но только ступил на правую ногу, вскрикнул от боли. Он оперся на левую руку и опять попробовал встать. Но не смог: сильная боль в ноге мешала ему.

Он сидел так, большой и сильный, посреди залы и не мог подняться. К нему подбежали и попробовали снять огромный сапог, покрывавший всю ногу. Однако нога сразу распухла; пришлось разрезать кожу острым ножом. Профессор доктор Гельбан, специалист-ортопед,

исследовал его и нашел перелом кости. «На сегодня достаточно», – проворчал принц.

Альрауне стояла в толпе, теснившейся вокруг принца, – рядом стоял красный палач. Ей вспомнилась песенка, которую пели по ночам студенты на улицах.

– Скажи-то, – спросила она, – как эта песенка о камне и трех ребрах?

Длинный тевтонец, бывший уже немного навеселе, ответил, словно автомат, в который кинули монету. Он замахнулся своим топором и прогремел:

*На камень он упал
И три ребра сломал –
Килэ, килэ, килэ,
Килэ, килэ, ки!
На землю повалился,
Ногою оплатился,
Килэ, килэ, килэ,
Килэ, килэ, ки!*

– Замолчи, – крикнул ему товарищ. – Ты совсем взбесился? Он замолчал. Но добродушный принц рассмеялся. «Спасибо за подходящую серенаду. Но три ребра ты бы мог мне оставить, с меня вполне достаточно и ноги».

Его посадили в кресло и перенесли прямо в сани. Вместе с ним уехала и принцесса, она осталась очень недовольна происшедшим.

Альрауне принялась искать Вольфа Гонтрама и нашла его за опустевшим столом принцессы.

– Что она делала? – спросила Альрауне быстро. – Что говорила?

– Не знаю, – ответил Вельфхен.

Альрауне схватила веер и сильно ударила его по руке. «Ты знаешь, – не отставала она. – Ты должен знать и должен рассказать мне».

Он покачал головой: "Право, не знаю. Она угостила меня вином, погладила по волосам. Кажется, она пожала мне руку. Но точно не помню, – не помню и о чем она говорила. Я не - сколько раз отвечал ей «да», но совсем не слушал. Я думал совсем о другом".

– Ты страшно глуп, Вельфхен, – сказала с упреком Альрауне. – Опять ты мечтал. О чем же ты, собственно, думал?

– О тебе, – ответил он.

Она топнула ногой.

– Обо мне! Всегда обо мне! Почему ты всегда думаешь только обо мне?

Его большие глубокие глаза умоляюще обратились к ней.

«Я же не виноват», – прошептал он.

Заиграла музыка и нарушила тишину, воцарившуюся после отъезда их высочеств. Мягко и обаятельно зазвучала мелодия «Южные розы». Альрауне взяла его руку и увлекла за собой: «Пойдем, Вельфхен, пойдем танцевать».

Они закружились одни в большом зале. Седовласый историк искусств увидел их, влез на стул и закричал:

– Тишина! Экстренный вальс для шевалье де Мопена и его Розалинды.

Несколько сотен глаз устремились на прелестную пару. Альрауне заметила это, и каждое ее движение было рассчитано на то, чтобы ею восхищались. Но Вольф Гонтрам не замечал ни – чего, он чувствовал только, что он в ее объятиях, что его уносит какими-то мягкими звуками. Его густые черные брови сдвинулись и оттеняли задумчивые глаза.

Шевалье де Мопен кружил его в вальсе – уверенно, твердо, точно паж, привыкший с колыбели к гладкому блестящему паркету. Слегка склонив голову, Альрауне держала левою рукою пальцы Розалинды и в то же время опиралась на золотую рукоятку сабли. Напудренные локоны прыгали, точно серебряные змейки, – улыбка раздвигала губы и обнажала ряд жемчужных зубов.

Розалинда послушно следовала ее движениям. Золотисто-красный шлейф скользил по полу: словно нежный цветок, поднималась стройная фигура.

Голова откинулась назад, тяжело спадали с огромной шляпы белые страусовые перья. Далекая от всего, отрезанная от мира, кружилась она среди гирлянд роз, вдоль залы – еще и гости столпились вокруг, встали на стулья, на столы. Смотрели, еле переводя дыхание.

«Поздравляю, ваше превосходительство», – прошептала княгиня Волконская. Тайный советник ответил: «Благодарю, ваше сиятельство. Видите – наши старания не совсем были тщетны». Они закончили, и шевалье повел свою даму по зале. Розалинда широко открыла глаза и бросала молчаливые, изумленные взгляды на толпу.

«Шекспир пришел бы в восторг, если бы увидел такую Розалинду», – заметил профессор литературы. Но за соседним столом маленький Манассе пристал к советнику юстиции Гонтраму: «Посмотрите, коллега, да посмотрите же, как похож сейчас мальчик на вашу покойную супругу. Боже, как похож!»

Но старый советник юстиции продолжал спокойно сидеть и варить пунш. – «Я плохо помню ее лицо», – заметил он равнодушно. Он помнил хорошо, но зачем высказывать свои чувства перед чужими.

Они опять начали танцевать. Быстрее и быстрее поднимались и опускались белые плечи Розалинды. Все ярче и ярче загорались ее щеки, а личико шевалье де Мопена нежно улыбалось под слоем пудры.

Графиня Ольга вынула красную гвоздику из волос и кинула в танцующих. Шевалье де Мопен поймал на лету, приложил к губам и поклонился. Все бросились к цветам, стали вынимать их из ваз, из причесок, отстегивать от платьев. Под цветочным дождем кружились теперь они, оба уносимые сладкими звуками «Южных роз».

Оркестр был неутомим. Музыканты, устав от бесконечной игры каждую ночь, казалось, проснулись, смотрели через перила балкона и не сводили глаз с прелестной пары. Быстрее и быстрее отбивала такт палочка дирижера, и неутомимо, в глубоком молчании скользила прелестная пара по розовому морю красок и звуков: Розалинда и шевалье де Мопен.

Но вот дирижер прервал вдруг, все кончилось. Полковник Двадцать восьмого полка фон Платен закричал: "Ура! Да здравствует фрейлен тен-Бринкен! Да здравствует Розалинда!" Зазвенели бокалы, раздались громкие аплодисменты, их чуть не задавили.

Два корпоранта из «Ренании» притащили огромную корзину роз, купленную где-то наспех, два офицера заказали шампанское. Альрауне только пригубила, но Вольф Гонтрам, разгоряченный, измученный жаждой, осушил целый бокал, потом еще и еще. Альрауне увлекла его за собой, прокладывая путь через толпу.

Посреди залы сидел красный палач. Он склонил шею и протянул ей обеими руками топор. «У меня нет цветов, – закричал он, – я сам красная роза, отруби же мне голову!...»

Альрауне равнодушно прошла мимо и повела свою даму дальше, мимо столов, по направлению к зимнему саду. Она оглянулась: здесь было тоже полно – все аплодировали им и кричали. Наконец за тяжелой портьерой она заметила маленькую дверь, которая вела на балкон.

– Ах, как хорошо, – воскликнула она. – Пойдем, Вельфхен.

Она отдернула портьеру, повернула ключ и нажала ручку двери. Но пять грубых пальцев легли на ее пальчики. «Куда вы идете?» – закричал грубый голос. Она обернулась. Это был

адвокат Манассе в длинном черном домино. «Что вам надо на улице?» – повторил он.

Она отдернула руку. «Какое вам дело? – сказала она. – Мы хотим немного подышать воздухом».

Он кивнул головой. «Так я и знал. Именно поэтому я и побежал за вами. Но вы не сделаете этого, не сделаете!»

Альрауне тен-Бринкен выпрямилась и упрямо посмотрела на него: «Почему я этого не сделаю? Быть может, вы собираетесь мне запретить?»

Он невольно вздохнул под ее взглядом. Но все-таки не отступил: "Да, я вас не пущу, я,

именно я. Разве вы не понимаете, что это безумие? Вы оба разгорячены, вы оба мокрые - и хотите идти на балкон. Ведь сейчас двенадцать градусов мороза".

— А мы все-таки пойдем! — настаивала Альрауне.

— В таком случае идите одна, — крикнул он. — Мне нет ни малейшего дела до вас. Я не пущу только мальчика, я не пущу с вами Вольфа.

Альрауне смерила его с ног до головы презрительным взглядом. Она вынула ключ из замка и широко распахнула дверь.

«Ах, так», — сказала она. Она вышла на балкон, подняла руку и кивнула своей Розалинде. «Пойдешь со мной сюда? Или останешься в зале?»

Вольф Гонтрам оттолкнул адвоката и поспешно вышел на балкон. Маленький Манассе бросился за ним. Уцепился за руку, но тот опять его оттолкнул.

«Не ходи, Вельфхен, — закричал адвокат, — не ходи». Он чуть не плакал: хриплый голос прерывался от волнения.

Но Альрауне громко смеялась. «Прощай же, свирепый монах», — сказала она, захлопнула дверь перед самым его носом, всунула ключ и дважды повернула в замке.

Маленький адвокат посмотрел сквозь замерзшее стекло, начал трясти дверь, яростно затопал ногами. Потом понемногу успокоился. Вышел из-за портьеры и вернулся в залу.

— Таков фатум! — сказал он, крепко стиснул зубы, вернулся к столу тайного советника и тяжело опустился на стул.

— Что с вами, господин Манассе? — спросила Фрида Гонтрам. — У вас такой вид, будто все корабли у вас потонули.

— Нет, ничего, — ответил он, — ничего. Но ваш брат — идиот. Да не пейте же один, коллега. Дайте мне тоже чего-нибудь.

Советник юстиции налил ему полный бокал. Фрида Гонтрам ответила уверенным тоном:

— Да, я с вами вполне согласна. Он — идиот!

Альрауне тен-Бринкен и Вольф Гонтрам вышли на балкон, весь занесенный снегом, и подошли к балюстраде. Полнолуние заливало широкую улицу, бросало сладостный свет на причудливые формы университета и на старый дворец архиепископа, играло на льду реки, бросало фантастические тени на мост.

Вольф Гонтрам вдыхал ледяной воздух. «Как хорошо», — прошептал он и показал рукою на белую улицу, объятую мертвой тишиной. Но Альрауне посмотрела на него, его плечи, сиявшие в лунном свете, на большие глаза, горевшие, как два черных опала. «Ты красив, — сказала она, — красивее лунной ночи».

Руки его оторвались от каменной балюстрады и обняли ее. «Альрауне, — сказал он, — Альрауне...» — Мгновение она не мешала ему. Потом вырвалась и слегка ударила по руке.

«Нет, — засмеялась она, — нет, ты Розалинда, а я — кавалер: и я за тобой буду ухаживать».

Она оглянулась по сторонам, схватила стул, притащила и шляпой стряхнула с него снег. «Вот, садись сюда, прекрасная дама, — как жаль, что ты немного высок для меня».

Она грациозно поклонилась и опустилась на одно колено.

«Розалинда, — прошептала она, — Розалинда, позволено ли рыцарю похитить у вас поцелуй...»

«Альрауне...» — начал он. Но она вскочила и закрыла ему рот рукой. «Ты должен говорить мне: мой рыцарь, — вскричала она. — Ну, так могу я похитить у тебя поцелуй, Розалинда?»

«Да, мой рыцарь», — пробормотал он. Она обошла сзади, взяла его голову обеими руками и начала медленно: «Сперва ухо, правое, затем левое, и щеки — обе щеки. И глупый нос, я уже не раз его целовала, и потом, наконец, твои прекрасные губы». Она нагнулась и приблизила свою кудрявую голову. Но тотчас же вновь отскочила: «Нет, прекрасная дама, твои рука должны послушно лежать на коленях».

Он опустил свои дрожащие руки и закрыл глаза. Она поцеловала его – долгим горячим поцелуем. Но в конце ее маленькие зубки нашли его губы и быстро укусили – крупные капли крови тяжело упали на снег.

Она отскочила и, широко раскрыв глаза, устремила взгляд на луну. Ей было холодно, она вся дрожала. «Мне холодно» – прошептала она. Она подняла ногу, потом другую. «Этот глупый снег забрался ко мне в туфли». Она сняла туфельку и вы – тряхнула ее.

«Возьми мои, – воскликнул он, – туфли большие, теплые».

Он быстро снял их и подал ей. «Так лучше, не правда ли?»

– Да, – засмеялась она, – теперь опять хорошо. Я тебя за это еще раз поцелую, Розалинда.

Она снова поцеловала его – и опять укусила. Они засмеялись тому, как при луне искрились красные капли на ослепительно белом снегу.

– Ты любишь меня, Вольф Гонтрам? – спросила она. Он ответил: «Я только о тебе и думаю».

Она помолчала немного, потом спросила опять: «Если бы я захотела – ты бы спрыгнул с балкона?»

– Да, – сказал он.

– И с крыши? – Он кивнул.

– И с башни собора? – Он опять кивнул головой.

– Ты бы сделал все для меня, Вельфхен? – спросила она.

– Да, Альрауне, если ты только любишь меня.

Она подняла голову и выпрямилась во весь рост. «Я не знаю, люблю ли тебя, – медленно произнесла она. – Но ты бы сделал это, если бы я тебя не любила?»

Дивные глаза, которые он унаследовал от своей матери, как-то особенно полно и глубоко заблестели. И луна наверху позавидовала этим глазам – спряталась поскорее за башню собора.

– Да, – ответил юноша, – и тогда.

Она села к нему на колени и обвила руками шею: «За это, Розалинда, – за это я тебя еще раз поцелую».

И она поцеловала его – еще более продолжительным, пламенным поцелуем и укусила еще сильнее. Но они уже не видели красных капель на белом снегу – завистливая луна спрятала свой серебряный факел...

– Пойдем, – прошептала она, – пойдем, пора!

Они обменялись туфлями, стряхнули снег с платьев, открыли дверь и вошли в зал. Там ярким светом сверкали люстры, – их окутал горячий душный воздух.

Вольф Гонтрам зашатался и обеими руками схватился за грудь. Она заметила. «Вельфхен?!» – вскричала она. Он ответил: "Ничего. Ничего – что-то кольнуло, но теперь опять хорошо". Они под руку прошли через залу.

Вольф Гонтрам не пришел на следующий день в контору. Не встал даже с постели: его мучила страшная лихорадка. Он пролежал девять дней. Он бредил, звал Альрауне, – но ни разу не пришел в сознание. Потом умер. От воспаления легких. Похоронили его за городом на новом кладбище. Огромный венок темных роз прислала Альрауне тен-Бринкен.

ГЛАВА 11, которая рассказывает о том, как из-за Альрауне кончил свои дни тайный советник

В ночь на 29-е февраля, в високосную ночь, над Рейном пронеслась страшная буря. Она примчалась с юга, принесла с собою ледяные глыбы, взгромодила их друг на друга и кинула с грохотом о стену Старой Таможни. Сорвала крышу с иезуитской церкви, повалила древние липы в дворцовом саду, сорвала крепкие сваи школы плавания и разбила о могучие быки моста.

Дошла она и до Лендениха. Сорвала несколько крыш и раз рушила старый сарай. Но

самое большое зло она причинила дому тен-Бринкенов: погасила вечную лампаду, горевшую перед изваянием святого Иоганна Непомука.

Такого никогда не бывало, с тех пор как стоял господский дом, не бывало много веков. Правда, благочестивые крестьяне на следующее утро снова наполнили маслом лампаду и снова зажгли ее, – но они говорили, что это предвещает большое несчастье и конец тен-Бринкенов. Святой снимает руку свою с благочестивого дома: и он дал тому знамение в страшную ночь. Ни одна буря в мире не могла бы загасить лампы, если бы он не захотел...

Знамение – так считали люди. Однако некоторые шептали друг другу, что это была вовсе не буря: это барышня вышла в полночь – и загасила лампаду.

Но, казалось, люди ошибались в пророчествах. В господском доме, несмотря на пост, шел праздник за праздником. Окна ярко светились каждую ночь. Слышалась музыка, громкий смех, пение и крики.

Так хотела Альрауне. Ей надо было развлечься, говорила она, после тяжелой утраты, ее постигшей. И тайный советник ходил за нею по пятам, будто взял на себя роль Вольфа Гонтрама. Жадно окидывал он ее взглядом, когда она входила в комнату, и провожал ее жадным взглядом, когда она уходила. Она замечала, как горячая кровь струится по его старым жилам, – громко смеялась и дерзко закидывала голову.

Все капризнее и капризнее становилась она, все преувеличеннее и причудливее были ее желания.

Старик исполнял все, что она хотела, но торговался, требовал постоянно награды. Заставлял гладить себе лысину, требовал, чтобы она садилась к нему на колени и целовала его, и постоянно просил ее одеваться в мужской костюм.

Она надевала то костюм жокея, то костюм паж. Одевалась рыбаком с открытой блузой и голыми ногами. Наряжалась мальчиком-портье в красном, плотно облегавшем мундирчике с обтянутыми бедрами. Наряжалась и охотником Валленштейна, принцем Орловским и Неррисой. Или пикколо в черном фраке, или пажом в стиле рококо, или Эвфорионом в трико и белой тунике.

Тайный советник сидел на диване и заставлял ее ходить взад и вперед. Он смотрел на нее, гладил по спине, по груди и по бедрам. И, еле переводя дыхание, размышлял, как бы ему начать. Она останавливалась перед ним; смотрела вызывающе. Он весь дрожал под ее взглядом, не находил слов, тщетно придумывал какую-нибудь маску, которой мог бы прикрыть сластолюбивые желания и похоть.

С насмешливой улыбкой выходила она из комнаты. Но как только закрывалась за нею дверь, как только до него доносился с лестницы ее звонкий смех, – им тотчас же вновь овладевали мысли. Он сразу решал, что ему нужно сказать, что сделать и как начать. Он часто звал ее обратно, – и она приходила.

«Ну, в чем дело?» – спрашивала она. Но он снова терялся, снова не знал, с чего начать. «Ничего...» -бормотал он только.

Было ясно: ему не хватает решимости. Он озирался вокруг, искал новой жертвы, чтобы убедиться, что он все еще господин своих старых талантов.

Наконец он нашел – тринадцатилетнюю дочку жестянщика, принесшую в дом какую-посуду.

– Пойдем, Марихен, – сказал он ей. – Я тебе подарю кое-что. – И увел ее в библиотеку.

Тихо, словно раненый зверек, вышла через полчаса девочка, прошла вдоль стены молча, широко раскрыв недоумевающие глазенки...

А тайный советник с широкой улыбкой торжествующе направился по двору к дому.

Но Альрауне теперь избегала его. Она приходила, когда видела его спокойным, и убегала, как только глаза его начинали блестеть.

«Она играет – она играет со мною», – задыхался профессор. Однажды, когда она встала из-за стола, он взял ее за руку. Он знал превосходно, что ей скажет, слово от слова, – но в этот момент все позабыл. Он рассердился на себя и на высокомерный взгляд, которым его смирала девушка. И быстро вскочил, вывернул ей руку и бросил Альрауне на диван. Она

упала, но вскочила тотчас же, пока он успел подбежать, и засмеялась, громко, пронзительно засмеялась. И болью отозвался ее смех у него в ушах. Он вышел, не произнеся ни единого слова.

Она заперлась у себя в комнате, не появилась ни к чаю, ни к ужину. Не показывалась несколько дней.

Он умолял, стоя у ее двери, говорил добрые слова, просил, заклинал. Но она не выходила. Он посылал ей письма, умолял, обещал все блага мира. Но она не отвечала.

Наконец, когда он несколько часов подряд провел у ее двери, она открыла ему. «Замолчи, – сказала она, – мне неприятно. Что ты хочешь?»

Он попросил прощения, сказал, что у него был припадок, что он утратил всякую власть над собой...

– Ты лжешь, – спокойно возразила она.

Он сбросил маску. Сказал ей, как он ее хочет, как он не может жить без нее. Сказал, что любит ее.

Она смеялась над ним. Но все-таки вступила в переговоры, начала ставить условия.

Он все еще торговался, не уступал во всем сразу. Один раз, хотя бы один только раз в неделю она должна приходить к нему в мужском костюме.

– Нет, – воскликнула она. – Если захочу, каждый день, – а если не захочу – никогда.

Он согласился. И стал с того дня безвольным рабом Альрауне. Стал ее верной собакой, не отходил ни на шаг, подбирал крошки, которые она бросала ему со стола. Она заставляла бегать его, как старое ручное животное, которое ест хлеб из милости, – только потому, что к нему настолько равнодушны, что даже не хотят убивать...

Она отдавала ему приказания: закажи цветы! Купи моторную лодку! Позови сегодня этих, а завтра тех. Принеси носовой платок. И он слушался. И считал щедрой наградой, когда она неожиданно приходила вниз в мужском костюме с высокой шляпой и круглым большим воротником, когда протягивала ему свои маленькие ножки в лаковых туфельках, чтобы он завязал шнурок.

По временам, оставаясь один, он пробуждался. Медленно поднимал свою уродливую голову, раскачивал ею и старался понять, что, в сущности, с ним произошло. Разве не привык он повелевать? Разве не его воля господствует здесь, в поместье тен-Бринкенов? У него было такое чувство, будто у него растет большой нарыв в мозгу – растет и душит его мысли. Туда вползло какое-то ядовитое насекомое – через ухо или через нос – и ужалило. А теперь оно жужжит у него перед глазами, не дает ни минуты покоя. Почему он не растопчет противное насекомое? Он приподымался на постели, боролся с решением.

«Надо положить конец», – бормотал он.

Но тотчас же забывал обо всем, как только видел ее. Глаза его расширялись, слух обострялся, он слышал малейший шорох ее шелка. Он раздувал ноздри, жадно впитывал аромат ее тела, – старые пальцы дрожали, язык слизывал слюну со старых губ. Все его чувства неотступно следовали за нею – жадно, похотливо. То была неразрывная цепь, которую она влекла за собой.

Себастьян Гонтрам приехал в Ленденх и нашел тайного советника в библиотеке.

– Берегитесь, – сказал он, – нам будет не легко привести дела снова в порядок. Вам следовало бы самому немного позаботиться...

– У меня нет времени, – ответил тайный советник.

– Меня это не касается, – спокойно заметил Гонтрам. – Вы должны. Последнее время вы ни о чем не заботитесь, предоставляете всему идти своей дорогой. Смотрите, ваше превосходительство, как бы не было плохо.

– Ах, – засмеялся тайный советник. – В чем, собственно, проблема?

– Я ведь писал вам, – ответил советник юстиции, – но вы, по-видимому, совсем не читаете моих писем. Бывший директор Висбаденского музея написал брошюру – вы знаете, – в которой он утверждает всевозможные нелепые вещи. За это его притянули к суду. Он потребовал допроса экспертов, – теперь комиссия осмотрела вещи и большую часть их

признала подложными. Все газеты шумят, – обвиняемый будет безусловно оправдан.

– Ну и пусть, – заметил тайный советник.

– Если вы так хотите – пожалуй, – продолжал Гонтрам. – Но он опять подал на вас жалобу прокурору, и суд должен произвести следствие. Впрочем, еще не все. На конкурсе герстенбергского завода куратор на основании некоторых документов возбудил против вас обвинение в неправильном составлении баланса и мошенничестве. Аналогичная жалоба поступила и по поводу дел кирпичного завода в Карпене. И, наконец, адвокат Крамер, поверенный жестянщика Гамехера, настаивает на медицинском освидетельствовании его дочери.

– Девочка лжет, – закричал профессор, – это какая-то истеричка.

– Тем лучше, – согласился советник юстиции. – Имеется также иск некоего Матизена на пятьдесят тысяч франков; вместе с иском он тоже обвиняет вас в мошенничестве. Поверенный акционерного общества «Плутон» обвиняет вас в подлоге и просит немедленно же приступить к уголовному следствию.

Вы видите, ваше превосходительство, жалобы множатся, когда вы подолгу не бываете у нас в конторе: почти каждый день приносит что-нибудь новое.

– Вы кончили? – перебил его тайный советник.

– Еще нет, – спокойно ответил Гонтрам, – не кончил. Это только несколько лепестков из того пышного букета, который ожидает вас в городе. Я настоятельно вам советую съездить туда – и не относиться ко всему с такой легкостью.

Но тайный советник ответил: «Я ведь уже сказал, что мне некогда. Оставьте меня в покое с вашими глупостями».

Советник юстиции встал, уложил бумаги в портфель и аккуратно его запер.

– Как вам будет угодно, – сказал он. – Кстати, знаете, ходят слухи, что Мюльгеймский банк приостановит на днях платежи.

– Глупости, – ответил тайный советник, – да, впрочем, у меня там почти ничего нет.

– Как нет? – удивленно спросил Гонтрам. – Вы ведь только полгода назад внесли в банк одиннадцать миллионов, чтобы забрать в свои руки весь контроль. Я ведь сам с этой целью продал акции княгини Волконской.

Тайный советник тен-Бринкен кивнул:

– Княгине – пожалуй. Но я ведь не княгиня?

Советник юстиции задумчиво покачал головой.

– Она потеряет все деньги, – пробормотал он.

– Какое мне дело? – воскликнул тайный советник. – Но все же надо постараться спасти что возможно.

Он поднялся и забарабанил пальцами по письменному столу. «Вы правы, Гонтрам, я должен немного заняться делами. Часов в шесть я буду в конторе, – ждите меня. Благодарю вас».

Он подал руку и проводил советника юстиции до двери.

Но в тот день в город он не поехал. К чаю прибыли двое офицеров, – он то и дело входил в столовую, не решаясь покинуть дом. Он ревновал Альрауне к каждому человеку, с которым она говорила, к стулу, на который садилась, и к ковру, на который ступала ее ножка.

Не поехал он и на следующий день. Советник юстиции посылал одного гонца за другим, – но он отправлял их обратно без ответа. Он выключил даже телефон, чтобы к нему не звонили.

Тогда советник юстиции обратился к Альрауне, сказал ей, что тайный советник должен обязательно приехать в контору.

Она приказала подать автомобиль, послала горничную в библиотеку и велела передать тайному советнику, чтобы он одевался и ехал вместе с нею в город.

Он задрожал от радости: в первый раз за долгое время она согласилась выехать с ним. Он надел шубу, вышел во двор, помог ей сесть в автомобиль. Он ничего не говорил, но для

него было уже счастьем сидеть возле нее. Они подъехали прямо к конторе, и она велела ему там выйти.

– А ты куда поедешь? – спросил он.

– За покупками, – ответила Альрауне.

Он попросил: «Ты за мною заедешь?»

Она улыбнулась: «Не знаю, возможно». Уже за это «возможно» он был ей несказанно благодарен.

Он поднялся по лестнице и отворил дверь в комнату советника юстиции.

– Вот и я, – сказал он, входя.

Советник юстиции подал документы, целую груду:

– Недурная коллекция. Тут еще несколько старых дел. Мы думали, они уже кончены, но оказалось, что они опять всплыли. И совсем новые, поступили третьего дня.

Тайный советник вздохнул: «Как будто много: расскажите же мне все подробно, Гонтрам».

Советник юстиции покачал головой: «Подождите, пока придет Манассе, он знает лучше меня. Я его вызвал. Он поехал к следователю по делу Гамехера».

– Гамехер? – спросил профессор. – Кто это?

– Жестянщик, – напомнил ему советник юстиции. – Медицинский осмотр дал неблагоприятные результаты; прокуратура постановила начать следствие. Вот повестка. Вообще должен вас предупредить, сейчас это дело самое важное.

Тайный советник взял документы и стал просматривать, одну тетрадь за другой. Но он волновался, нервно прислушивался к каждому звонку, к каждому шагу в соседней комнате.

– У меня мало времени, – сказал он наконец.

Советник юстиции пожал плечами и спокойно закурил новую сигару.

Они молча сидели и ждали, но адвокат все не приходил.

Гонтрам позвонил по телефону в его бюро, потом в суд, но нигде его не нашел.

Профессор отодвинул от себя документы.

– Сегодня я не могу читать, сказал он. – Да они и мало меня интересуют.

– Быть может, вы нездоровы, ваше превосходительство, – заметил советник юстиции. Он послал за вином и за сельтерской.

Наконец приехала Альрауне. Тайный советник услышал гудок автомобиля, выбежал тотчас же, схватил шубу и поспешил навстречу Альрауне в коридор.

– Ты готов? – спросила она.

«Конечно, – ответил он, – совершенно готов». Но тут подошел советник юстиции. «Неправда, фрейлейн, мы даже еще не приступали к делу. Мы ждем адвоката Манассе».

Старик был вне себя: «Ерунда, все это неважно. Я поеду с тобой, дитя мое».

Она взглянула на советника юстиции. Тот быстро сказал: «Мне кажется наоборот, – это чрезвычайно важно для его превосходительства».

«Нет, нет», – настаивал тайный советник. Но Альрауне решила: «Ты останешься!»

– До свиданья, господин Гонтрам. – крикнула она, повернулась и сбежала по лестнице.

Тайный советник вернулся в комнату, подошел к окну. Он видел, как она села и уехала, но продолжал стоять и смотреть на темнеющую улицу. Гонтрам зажег газовый рожок, опустился в кресло, стал курить и пить вино.

Они ждали. Контору заперли. Один за другим ушли служащие, открыли дождевые зонты и побрели по клейкой грязи улицы. Оба не говорили ни слова.

Наконец приехал адвокат, взбежал вверх по лестнице, распахнул дверь. «Добрый вечер», – процедил он сквозь зубы, поставил зонтик в угол, снял галоши и бросил мокрое пальто на диван.

– Ну, и долго же вы, коллега, – заметил советник юстиции.

«Долго, конечно долго», – ответил Манассе. Он подошел к тайному советнику, встал перед ним и закричал прямо в лицо: «Подписан приказ об аресте».

– Ах, что там, – пробурчал профессор.

– Ах, что там, – передразнил маленький адвокат. – Да ведь я его видел собственными глазами! По делу Гамехера; самое позднее завтра утром приказ будет приведен в исполнение.

– Надо внести залог, – спокойно заметил советник юстиции.

Маленький Манассе обернулся: «По-вашему, я сам не подумал об этом? Я сейчас же предложил внести крупный залог, хотя бы полмиллиона. Но мне отказали. Настроение в суде изменилось. Я этого ждал. Следовательно совершенно спокойно заявил мне: „Подайте письменное прошение, господин адвокат, но боюсь, что вам будет отказано, улики подавляющие, – нам необходимо принять крутые меры“. Вот его дословный ответ, мало утешительного, не правда ли?»

Он налил полный стакан вина и медленно выпил его.

– Можно вам сказать еще больше, ваше превосходительство? Я встретил в суде адвоката Мейера П., нашего противника по Герстенбергскому делу; он состоит поверенным Гуккигенской общины, которая вчера подала на вас жалобу. Я попросил его подождать; потом долго с ним совещался. Поэтому-то я так и запоздал, коллега. От него я узнал, что адвокаты всех наших противников объединились и позавчера вечером у них была продолжительная конференция. Присутствовало несколько журналистов – среди них ловкий доктор Ландман из «General-Anzeiger». А вы превосходно знаете, что в этой газете у вас нет ни единого гроша. Роли распределены превосходно, – могу уверить, что на сей раз вам не так-то легко будет выпутаться.

Тайный советник обратился к советнику юстиции: «Каково ваше мнение, Гонтрам?»

– Надо выждать время, – заявил тот, – какой-нибудь выход найдется.

Но Манассе закричал: «А я говорю, что выхода нет никакого. Петля накинута, завтра ее затянут. Нельзя медлить ни минуты».

– Что же, по-вашему, делать? – спросил профессор.

– Я посоветую вам то же самое, что посоветовал бедному доктору Монену, – он ведь на вашей совести, ваше превосходительство. Это была с вашей стороны большая низость, – но что толку, что я говорю вам сейчас это прямо в лицо? Я советую немедленно реализовать все, что можно, – хотя, впрочем, Гонтрам и без вас может многое устроить. И тотчас же упаковывайте чемоданы и испаряйтесь – сегодня же ночью. Вот мой совет.

– Приказ об аресте будет разослан повсюду, – заметил советник юстиции.

– Разумеется, – воскликнул Манассе, – но не надо придавать особого значения. Я уже беседовал с коллегой Мейером. Он вполне разделяет мое мнение. Создавать скандальный процесс отнюдь не в интересах наших противников, – да и власти будут чрезвычайно довольны, если сумеют его избежать. Они хотят вас обезвредить, положить конец вашим делишкам: а для этого – поверьте – у них в руках есть хорошие средства. Если же вы испаритесь и поселитесь где-нибудь за границей, мы здесь все на свободе обсудим. Деньги, конечно, придется потратить немалые, – но уж о том говорить не приходится. С вами все же будут считаться – даже и теперь, – в их же собственных интересах, для того чтобы не дать такого лакомого кусочка радикальной и социалистической прессе.

Он замолчал и стал ждать ответа. Профессор тен-Бринкен ходил взад и вперед по комнате, медленно, большими, размеренными шагами.

– На какое время, по-вашему, придется отсюда уехать? – спросил он наконец.

Маленький адвокат быстро повернулся к нему. "На какое время? – залаял он. – Ну и вопрос! Да на всю жизнь. Благодарите Бога, что у вас есть еще такая возможность; во всяком случае приятнее проживать свои миллионы в прекрасной вилле на Ривьере, чем кончить дни в душной тюрьме. А что дело этим кончится, я вам гарантирую. Да и к тому же прокуратура сама оставила нам лазейку открытой, следовательно мог подписать приказ об аресте и сегодня утром, и теперь приказ был бы уже приведен в исполнение. Эти люди очень порядочны, – вы их сильно обидите, если не воспользуетесь их любезностью. Но зато если уж им придется наносить удар, они ни перед чем не остановятся; и тогда, ваше

превосходительство, сегодняшний день – последний ваш день на свободе".

Советник юстиции сказал: «Уезжайте! По-моему, это тоже самое лучшее».

– О да, – протягивал Манассе, – самое лучшее и, главное, единственное, что остается. Уезжайте, исчезайте навсегда и возьмите с собой вашу дочь. Лендених будет вам благодарен – и отблагодарит вас.

Тайный советник насторожился. В первый раз за вечер черты лица его оживились и спала мертвая маска апатии. "Альрауне, – прошептал он. – Альрауне, если только она согласится уехать..." Он провел рукой по высокому лбу – еще и еще раз. Потом сел, налил вина и выпил.

– Я с вами, пожалуй, согласен, – сказал он. – Благодарю вас, но прежде будьте добры мне все объяснить. – Он взял документы. – Ну, вот, начнем хотя бы с кирпичного завода – прошение...

Адвокат начал спокойно, размеренно. Он брал один документ за другим, взвешивал возможности, каждый малейший шанс борьбы и успеха. Тайный советник слушал, вставлял по временам свои замечания, находил новые выходы, словно в прежние времена. Все трезвее, все спокойнее становился профессор, – казалось, будто с каждой новой опасностью пробуждается вновь его энергия.

Целый ряд дел показался ему неопасным. Но оставалось еще очень много, – те ему действительно угрожали. Он продиктовал несколько писем, дал множество указаний, делая заметки, составляя прошения и жалобы. Потом взялся за путеводитель, составил маршрут и дал точные инструкции относительно ближайшего хода дел. И когда вышел из бюро, он мог по праву сказать, что дела его урегулированы.

Он взял наемный автомобиль и спокойно, самоуверенно поехал в Лендених. Но когда сторож открыл ему ворота, когда он пошел по двору и поднялся по лестнице в дом, – самоуверенность вдруг сразу исчезла.

Он стал искать Альрауне, – ему показалось хорошим признаком, что в доме не было никаких гостей. Горничная сказала, что барышня ужинала одна, а теперь у себя в комнате. Он поднялся наверх, постучал в дверь и вошел после ее «Войдите!»

– Мне нужно с тобой поговорить, – начал он.

Она сидела за письменным столом и подняла глаза. «Нет, – ответила она, – сейчас я не могу».

– По очень важному делу, – попросил он. – По неотложному делу.

Она посмотрела на него и закинула ногу на ногу. «Не сейчас, – повторила она, – ступай вниз. Через полчаса я приду».

Он ушел, снял шубу, сел на диван и стал ждать. Он обдумывал, что сказать, – взвешивал каждую фразу, каждое слово.

Прошел целый час, пока наконец он услышал ее шаги. Он поднялся, подошел к двери – она стояла перед ним, в костюме мальчика-портье, в ярко-красном мундирчике.

– Ах!... – мог он только произнести. – Как мило с твоей стороны!

– В награду, – засмеялась она. – За то, что ты был сегодня таким послушным. Ну, а теперь в чем дело?

Тайный советник, не колеблясь, рассказал ей всю правду, не прибавив от себя ничего и ничего не скрыв. Она не перебивала и спокойно слушала его исповедь.

– В сущности, ты во всем виновата, – сказал он в заключение. – Я бы превосходно справился, во всяком случае мне было бы нетрудно. Но я все запустил, я думал только о тебе, – и вот у гидры выросли головы.

– У злой гидры, – сыронизировала Альрауне. – И теперь она причиняет столько неприятностей храброму бедному Геркулесу? Впрочем, мне кажется, что на этот раз сам герой – ядовитая ящерица, а что гидра лишь карающая мстительница.

– Разумеется, – согласился он, – с точки зрения этих людей. У них «общее право» – я же создал для себя свое собственное. Вот, в сущности, все мое преступление, – я думал, ты меня поймешь.

Она засмеялась:

– Конечно, почему бы и нет? А разве я тебя упрекаю? Ну, так что же ты намерен делать?

Он заявил, что они должны уехать тотчас же, в ту же ночь. Они поедут путешествовать, посмотреть свет. Сперва, может быть, в Лондоне или Париже – там остановиться и закупить необходимое. Потом через океан прямо в Америку и в Японию или даже в Индию, все зависит от ее желания. Или туда и туда, – спешить нечего, времени много. А затем в Палестину, в Грецию, в Италию и Испанию. Где ей понравится, там они и останутся. Если ей надоест, они тотчас же уедут. А потом купят где-нибудь прелестную виллу, на озере Гарда или на Ривьере, с огромным парком, конечно. У нее будут лошади, автомобили, собственная яхта. Она будет принимать кого захочет, у нее будет открытый дом, шикарный салон...

Он не скупился на обещания. Рисовал самыми яркими красками ее будущее – придумывал все новое и новое, стараясь увлечь ее своим пылом. Наконец он прервал себя и спросил:

– Ну, Альрауне, что ты скажешь? Разве тебе не хотелось бы все это посмотреть?

Она сидела на столе и раскачивала своими стройными ножками.

– Конечно, – заявила она, – даже очень. Только...

– Только? – быстро спросил он. – Если тебе хочется еще чего-нибудь, стоит лишь сказать. Я тотчас же сделаю.

Она опять засмеялась:

– Ну, так сделай. Мне очень хочется путешествовать, но без тебя!

Тайный советник отшатнулся; у него закружилась голова, и он ухватился за спинку стула. Он старался найти слова для ответа, но не мог.

Она продолжала:

– С тобой мне будет скучно. Ты мне скоро надоешь. Нет, без тебя!

Он тоже засмеялся, стараясь себя убедить, что она только шутит. «Но ведь именно мне и нужно уехать, – сказал он. – Уехать. Сегодня же ночью, не позже».

– Так поезжай, – тихо произнесла она.

Он хотел схватить ее руки, но она заложила их за спину.

– А ты, Альрауне? – умоляющим голосом спросил он.

– Я? – повторила она. – Я останусь!

Он начал снова умолять, плакать. Говорил, что она нужна ему, как воздух, которым он дышит. Пусть она сжалится над ним – ему скоро восемьдесят лет. Недолго еще он будет ее обременять. Потом он стал угрожать ей и закричал, что лишит ее наследства, выбросит на улицу без гроша в кармане...

– Попробуй, – вставила она.

Он не унимался. И снова яркими красками принялся рисовать ей тот блеск, которым хотел ее окружить. Она будет свободна, как ни одна девушка в мире, – будет делать, что заблагорассудится. Ни единого желания, ни единой мысли, которых бы он не осуществил. Пусть она только поедет с ним – не оставляет его одного.

Она покачала головой:

– Мне и здесь хорошо. Я ничего не сделала – и я останусь. Она произнесла это спокойно и тихо. Не перебивала его, давала говорить и обещать, но только качала головой, когда он спрашивал.

Наконец она соскочила со стола. Легкими шагами подошла к двери, прошла спокойно мимо него.

– Очень поздно, – сказала она. – Я устала, я пойду спать. Спокойной ночи, счастливого пути.

Он преградил ей дорогу, сделал еще последнюю попытку, сослался на то, что он ее отец, что у нее есть по отношению к нему дочерние обязанности. Но она только рассмеялась. Подошла к дивану и села верхом на валик.

– Как тебе нравится моя ножка? – внезапно воскликнула она. Вытянула стройную ногу

и помахала в воздухе.

Он не сводил с нее глаз, забыл все свои намерения, ни о чем больше не думал – ни о побеге, ни об опасности. Не видел ничего вокруг, не чувствовал ничего, – кроме этой стройной ноги в красном, которая двигалась вверх и вниз перед его глазами.

– Я хороший ребенок, – защебетала Альрауне, – добрый ребенок. Я с удовольствием доставлю радость моему глупому папочке. Поцелуй же мне ножку!

Он упал на колени, схватил ее ногу и стал покрывать поцелуями, не отрываясь, дрожащими губами...

Альрауне вдруг вскочила легко и упруго. Схватила его за ухо, потрепала слегка по щеке.

– Ну, папочка, – сказала она, – я хорошо исполнила свои обязанности дочери? Спокойной ночи! Счастливого пути, будь осторожнее, не дай себя поймать, – наверное, не так уж приятно в тюрьме. Пришли мне пару красивых открыток, слышишь?

Она была уже в дверях, – он сидел, не двигаясь с места.

Она поклонилась коротко и проворно, словно мальчик, взяла под козырек:

– Имею честь кланяться, ваше превосходительство, крикнула она. – Только не шуми здесь, когда будешь укладываться, ты можешь меня разбудить.

Он бросился за ней, но увидел, как она быстро взбежала по лестнице. Слышал, как наверху хлопнула дверь, слышал стук замка, – ключ дважды повернулся в нем. Он хотел за нею бежать, положил уже руку на перила, но почувствовал, что она не откроет, несмотря на все его просьбы. Почувствовал, что ее дверь закрыта для него, – хотя бы он простоял целую ночь до утра, до тех пор пока...

Пока не придут жандармы и не возьмут его...

Он остановился. Прислушался: услышал легкие шаги наверху – два-три раза туда-сюда по комнате. Потом все смолкло. Мертвая тишина.

Он вышел из дому, пошел под проливным дождем по двору. Вошел в библиотеку, отыскал спички, зажег на письменном столе две свечи и тяжело опустился в кресло.

– Кто же она? – прошептал он. – Что за существо?

Он открыл старинный письменный стол красного дерева и вынул кожаную книгу. Положил перед собой и взглянул на переплет. «А. т.-Б., – прочел он вполголоса, – Альрауне тен-Бринкен».

Игра была кончена, – кончена навсегда, он это чувствовал. И он проиграл – у него нет ни одного козыря больше. Он сам затеял игру, – сам стасовал карты. В его руках были все козыри, а он все-таки проиграл.

Он улыбнулся горькой улыбкой. Что же – нужно платить... Платить? О да, но какой же монетой? Он посмотрел на часы – был уже первый час. Самое позднее в семь часов придут жандармы и арестуют его, – у него еще больше шести часов впереди. Они будут очень вежливы, любезны, предупредительны. Повезут в дом предварительного заключения на его собственном автомобиле. А потом, потом начнется борьба. Это не так уж плохо-долгие месяцы он будет бороться, не уступит врагам ни пяди. Но в конце концов – на суде – он будет разбит, старый Манассе прав. И впереди – тюрьма.

Или побег. Но бежать он должен один. Один? Без нее? Он почувствовал, как ненавидит ее в эту минуту, но знал также, что не может думать ни о чем другом, только о ней. Он будет блуждать по свету бесцельно, без всякого смысла, – не будет видеть ничего и не слышать, кроме ее звонкого, щебечущего голоса, кроме ее стройной ноги в красном трико. О, он умрет от тоски по ней. Там ли, в тюрьме ли – не все ли равно. Эта нога-эта красивая, стройная ножка!

Игра проиграна – нужно платить. Он заплатит тотчас же, ночью, – он никому не останется должен. Заплатить тем, что у него осталось, – своей жизнью.

Он подумал, что ведь, в сущности, жизнь не имеет уже больше никакой ценности и что в конце концов он все-таки обманет своих партнеров.

Мысль доставила ему некоторое удовольствие. Он стал раздумывать: нельзя ли

причинить им еще какие-нибудь неприятности. Это было бы для него хотя бы небольшим удовлетворением.

Он вынул из письменного стола свое завещание, в котором единственной наследницей назначалась Альрауне. Прочел, потом разорвал на мелкие клочки.

— Я должен составить новое, — пробормотал он. — Но в чью пользу, в чью?...

Он взял лист бумаги, обмакнул перо в чернила. У него есть сестра, а у той сын — Франк Браун, его племянник... Он колебался. Ему... ему? Разве не он принес в подарок

профессору странное существо, от которого тот теперь гибнет?

О, вот ему-то он должен заплатить еще больше, чем Альрауне!

Если уж суждено погибнуть так жестоко, так неизбежно, — то пусть и Франк Браун, вселивший в него эту мысль, разделит его участь. О, против племянника есть превосходное оружие: дочь, Альрауне тен-Бринкен. Она и Франка Брауна приведет туда, где сейчас стоит он, профессор, тайный советник тен-Бринкен.

Он задумался. Покачал головой и самодовольно улыбнулся с чувством последнего торжества. И написал завещание, не останавливаясь, своим быстрым уродливым почерком.

Наследницей он оставлял Альрауне. Сестре завещал небольшую сумму и еще меньшую племяннику. Его же он назначал своим душеприказчиком и опекуном Альрауне до ее совершеннолетия. Франк Браун должен будет приехать сюда, должен быть около нее, будет вдыхать удушливый аромат ее губ.

С ним будет то же, что и с другими. То же, что с графом и с доктором Моненом, то же, что с Вольфом Гонтрамом, то же, что с шофером. То же, что с самим профессором, наконец!

Он громко расхохотался. Добавил еще, что если Альрауне умрет, не оставив наследников, состояние должно перейти к университету. Таким образом, племянник в любом случае ничего не получит.

Он подписал завещание и аккуратно сложил. Потом опять взял кожаную книгу. Тщательно записал историю и добавил все, что произошло за последнее время. И за -

кончил небольшим обращением к племяннику, — обращением, полным сарказма: «Испытай свое счастье. Жаль, что меня уже не будет, когда придет твой черед, — мне бы так хотелось на тебя посмотреть!»

Он тщательно промокнул написанное, захлопнул книгу и положил обратно в письменный стол вместе с другими воспоминаниями: кольцо княгини, деревянным человечком Гонтрамом, стаканом для костей, белой простреленной карточкой, которую он вынул из жилетного кармана графа Герольдингена. На ней около трилистника была надпись: «Маскотта». И вокруг много спекшейся черной крови...

Он подошел к драпировке и отвязал шелковый шнурок. Отрезал ножницами небольшой кусок и положил тоже в письменный стол.

— Маскотта! — засмеялся он.

Он посмотрел вокруг, влез на стул, сделал из шнура петлю, зацепил за большой гвоздь на стене, потянул за шнур, убедился, что тот достаточно крепок, — и снова влез на стул...

Рано утром жандармы нашли его. Стул был опрокинут, — но мертвец одной ногой все еще касался его. Казалось, будто он раскаялся в поступке и в последний момент старался спастись. Правый глаз был широко раскрыт и устремлен на дверь. А синий распухший язык высунулся над отвисшей губой...

Он был очень уродлив и безобразен.

INTERMEZZO

И быть может, белокурая сестренка моя, из серебристых колокольчиков твоих тихих дней льются мягкие звуки спящих грехов.

Золотой дождь струит свою ядовитую желчь там, где прежде лежал белый снег тихих акаций, — горячие кровавники обнажают свою темную синь — там, где невинные колокольчики глициний возвещают мир и покой. Сладостна легкая игра бурных страстей, но

слаще, по-моему, страшная борьба их в темную ночь. Однако слаще всего спящий грех в жаркий летний полдень.

Она дремлет, нежная подруга моя, – нельзя будить ее. Ибо никогда не прекрасна она так, как во сне. Сладкий мой грех покоится в зеркале – близко, – покоится в тонкой шелковой сорочке, на белой простыне. Твоя рука, сестренка, свешивается с края постели, – тонкие пальцы с моими золотыми кольцами слегка извиваются. Прозрачны, точно первые проблески дня, твои розовые ногти. За ними ухаживает Фанни, черная камеристка, она творит чудеса. И я целую в зеркале чудеса твоих розовых ногтей.

Только в зеркале – только в зеркале. Только ласкающим взглядом и сладким дыханием губ. Ибо они растут, растут, когда просыпается грех, – и становятся острыми когтями тигра.

Разрывают мое тело...

На кружевных подушках покоится головка твоя, – и вокруг спадают твои белокурые локоны. Спадают легко, точно языки золотого пламени, точно легкое дуновение первого ветра при пробуждении дня. А маленькие зубы смеются меж тонких губ, точно молочные опалы в сверкающем запястье богини Луны. И я целую золотые волосы, целую белоснежные зубы.

В зеркале только-только в зеркале. Легким дыханием губ и ласкающим взглядом. Ибо я знаю: когда просыпается жаркий грех, маленькие опалы становятся страшными мечами, а золотистые локоны – ядовитыми змеями. Тогда когти тигрицы разорвут мое тело, острые зубы нанесут глубокие раны. Ядовитые змеи обовьются вокруг моей шеи, заползут в уши, напоят мозг своим ядом...

Видишь, сестренка, как я целую ее – тут позади, в зеркале. У феи не могло быть более легкого дыхания. Я знаю прекрасно: когда проснется он, вечный грех, – в глазах твоих засверкают синие молнии и поразят мое бедное сердце. Моя кровь забурлит, а тело мое загорится могучим огнем, – проснется безумие и развернется во всю свою ширь...

Страшный зверь, разорвав свои цепи, вырвется на свободу. Бросится на тебя, сестренка моя, – вонзится в твою прелестную грудь, которая станет вдруг могучей грудью вечной проститутки. Порвет оковы, раскроет страшную пасть, и тело оросится кровавым пороком.

Но взгляд мой спокоен, словно шаги монахинь. И тише, все тише дыхание губ моих...

Ибо ничто, дорогая подруга моя, не кажется мне таким сладостным, как целомудренный грех в его легком сне...

ГЛАВА 12, которая рассказывает, как Франк Браун появляется на пути Альрауне

Франк Браун вернулся в дом своей матери. Вернулся из очередного путешествия – из Кашмира или Боливии. Или, может быть, из Вест-Индии, где он играл в революцию. Или из Юного Ледовитого океана, где слушал поэтичные сказки стройных дочерей гибнущих рас

Он медленно прошел по дому. Поднялся по белой лестнице наверх, где по стенам висели бесчисленные рамы, старинные гравюры и новые картины. Прошел по большим комнатам матери, которые весеннее солнце заливало яркими лучами через желтые занавеси. Тут висели портреты его предков, тен-Бринкенов, – умные, храбрые люди, они знали, как можно прожить свою жизнь. Прадед и прабабка – времен Империи.

И прекрасная бабушка – шестнадцатилетняя, в платье начала правления королевы Виктории. Портреты отца и матери и его собственные портреты. Вот он ребенком с большим мячом в руках, с длинными белокурыми локонами, спадавшими на плечи. Мальчик в черном бархатном костюмчике пажа с толстой старой книгой, раскрытой на коленях.

Потом в соседней комнате – копии. Отовсюду – из Дрезденской галереи, из Кассельской и из Брауншвейгской. И из палаццо Питти, из Прадо и из музея Рийка. Много голландцев: Рембрандт, Франц Хальс; Мурильо, Тициан, Веласкес и Веронезе. Все чуть потемнели и красным багрянцем сверкали на солнце, проникавшем через гардины.

И дальше комната, где висели работы современников. Много хороших картин и много

посредственных, – но ни одной плохой, ни одной слащавой и приторной. А вокруг старая мебель, много красного дерева – в стиле «ампир», «директории» и «Бидермейер». Ни одной банальной вещицы. Правда, в беспорядке, так, как постепенно накапливалось. Но какая-то странная гармония: вещи между собою точно связаны родственными узами.

Он поднялся наверх, в свои комнаты. Тут все было в том виде, как он оставил, когда в последний раз отправился путешествовать – два года назад. Все на своем месте: даже пресс-папье на бумагах, даже стул перед столом. Мать смотрела за тем, чтобы прислуга была осторожна. Здесь еще больше, чем где бы то ни было, царил дикий хаос бесчисленных странных вещей – на полу и на стенах: пять частей света прислали сюда то, что в них было странного, редкого, причудливого. Огромные маски, безобразные деревянные идолы с архипелага Бисмарка, китайские и анамитские флаги, много оружия. Охотничьи трофеи, чучела животных, шкуры ягуаров и тигров, огромные черепахи, змеи и крокодилы. Пестрые барабаны из Люцона, продолговатые копья из Радж-Путана, наивные албанские гусли. На одной из стен огромная рыбацья сеть до самого потолка, а в ней исполинская морская звезда и еж, рыба-пила, серебристая чешуя тарпона. Огромные пауки, странные рыбы, раковины и улитки. Старинные гобелены, индийские шелковые одеяния, испанские мантильи и одеяния мандаринов с огромными золотыми драконами. Много богов, кумиров, серебряных и золотых Будд всех величин и размеров. Индийские барельефы Шивы, Кришны и Ганеши. И нелепые циничные каменные идолы племени чана. А между ними, где только свободное место на стенах, картины и гравюры. Смелый Ропс, неистовый Гойя и маленькие наброски Жака Калло. Потом Круиксганк, Хогарт и много пестрых жестоких картин из Камбоджи и Мизора. Немало и современных, с автографами художников и посвящениями. Мебель всевозможных стилей и всевозможных культур, густо уставленная бронзой, фарфором и бесчисленными безделушками.

И всюду, везде и во всем был Франк Браун. Его пуля уложила белую медведицу, на шкуру которой ступала теперь его нога; он сам поймал исполинскую рыбу, огромная челюсть которой с тремя рядами зубов красуется там на стене. Он отнял у дикарей эти отравленные стрелы и копья; манчжурский жрец подарил ему этого глупого идола и высокие серебряные греческие чаши. Собственноручно украл он черный камень из лесного храма в Гуддон-Бадагре; собственными губами пил он из этой бомбиты на брудершафт с главарем индейского племени тоба на болотистых берегах Пилькамайо. За этот кривой меч он отдал свое лучшее оружие малайскому вождю в северном Борнео; а за эти длинные мечи – свои карманные шахматы вице-королю Шантунга. Роскошные индийские ковры подарил магараджа в Вигапуре, которому он спас жизнь на слоновой охоте, а страшное восьмирукое орудие, окропленное кровью зверей и людей, получил он от верховного жреца страшного Кали...

Его жизнь была в этих комнатах – каждая раковина, каждый пестрый лоскут рождали длинные цепи воспоминаний. Вот трубки для опиума, вот большая табакерка, сколоченная из серебряных мексиканских долларов, а рядом с нею плотно закрытая коробочка со страшными ядами. И золотой браслет с двумя дивными кошачьими глазами. Его подарила ему прекрасная, вечно смеющаяся девушка в Бирме. Многими поцелуями должен был он заплатить за это...

Вокруг на полу в беспорядке стояли и лежали ящики и сундуки – всего двадцать один. Там его новые сокровища: их еще не успели распаковать. «Куда их девать?» – засмеялся он.

Перед большим итальянским окном висело длинное персидское копье; на нем качался большой белоснежный какаду с ярко-красным клювом.

– Здравствуй, Петер, – поздоровался Франк Браун.

«Атья, Тувань», – ответила птица. Она сошла величественно по копыю, перепрыгнула оттуда на стул, потом на пол. Подошла к нему кривыми шагами и поднялась на плечо. Раскрыла свой гордый клюв, широко распростерла крылья, словно прусский орел на гербе. «Атья, Тувань! Атья, Тувань!» – закричала она.

Он пощекотал шею, которую подставила белая птица. «Как дела, Петерхен? Ты рад,

что я опять здесь?»

Он спустился по лестнице и вышел на большой крытый балкон, где мать пила чай. Внизу в саду сверкал цветущий огромный каштан, а дальше в огромном монастырском парке расстилось целое море цветов. Под деревьями разгуливали францисканцы в коричневых сутанах.

– Это патер Барнабас, – воскликнул он.

Мать надела очки и посмотрела. «Нет, – ответила она, – это патер Киприан...»

На железных перилах балкона сидел зеленый попугай. Когда он посадил туда же какаду, маленький дерзкий попугай поспешил к нему.

– All right,-закричал он. – All right! Lorita real di Espana e di Portugal! Anna Mari-i-i-i-a.-Он бросился к большой птице, раскрывавшей свой клюв, и произнес тихо: – Ка-ка-ду.

– Ты все еще такой же нахал, Филакс? – спросил Франк Браун.

«Он с каждым днем все нахальнее, – засмеялась мать. – Он ничего не жалеет. Если дать ему свободу, он изгрызет весь дом». Она обмакнула кусочек сахара в чай и подала попугаю. «А Петер чему-нибудь выучился?» – спросил Франк Браун. «Нет, ничему, – ответила мать, – произносит только свое имя и еще несколько слов по-малайски».

– А их ты, к сожалению, не понимаешь, – засмеялся он.

Мать заметила: «Нет. Но зато я понимаю прекрасно своего зеленого Филакса. Он говорит целыми днями, на всех языках мира – и всегда что-нибудь новое. Я запираю его иногда в шкаф, чтобы хоть на полчаса от него отдохнуть». Она взяла Филакса, прогуливавшегося по чайному столу и уже атаковавшего масло, и посадила его обратно на перила.

Подбежала маленькая собачка, стала на задние лапки и прижалась мордочкой к ее коленям.

– Ах, и ты здесь, – сказала мать. – Тебе хочется чаю? Она налила в маленькое красное блюдце чаю с молоком, накрошила туда белого хлеба и положила кусочек сахара.

Франк Браун смотрел на огромный сад.

На лужайке играли два круглых ежа. Они совсем уже старые: он сам когда-то принес их из леса с какой-то школьной экскурсии. Он назвал их Вотаном и Тобиасом Майером.

Но, быть может, это их внуки уже или правнуки. Возле белоснежного куста магнолии он заметил небольшое возвышение: тут он похоронил когда-то своего черного пуделя. Тут росли две больших юкки: летом на них вырастут большие цветы с белыми, звонкими колокольчиками. Теперь же, весной, мать посадила еще много пестрых примул. По всем стенам дома взбирался плющ и дикий виноград, доходивший до самой крыши. В нем шумели и щебетали воробьи.

– Там у дрозда гнездо, видишь, вон там? – сказала мать.

Она указала на деревянные ворота, ведущие со двора в сад. Полускрытое густым плющом, виднелось маленькое гнездышко.

Он должен был долго искать его глазами, пока наконец нашел. «Там уже три маленьких яичка», – сказал он.

– Нет, четыре, – поправила мать, – сегодня утром она положила четвертое.

– Да, четыре, – согласился он. – Теперь я их вижу все. Как хорошо у тебя, мама.

Она вздохнула и положила морщинистую руку ему на плечо.

– Да, мальчик мой, тут хорошо. Если бы только я не была постоянно одна.

– Одна? – спросил он. – Разве у тебя теперь меньше бывает народу, чем прежде?

Она ответила:

– Нет, каждый день кто-нибудь приходит. Старуху не забывают. Приходят к чаю, к ужину: все ведь знают, как я рада, когда меня навещают. Но видишь ли, мальчик мой, эта ведь чужие. Все-таки тебя со мною нет.

– Но зато теперь я приехал, – сказал он. Он поспешил переменить тему разговора и стал рассказывать о вещах, которые привез с собою. Спросил, не хочет ли она помочь ему

распаковывать.

Пришла горничная и принесла почту. Он вскрыл несколько писем и просмотрел их.

Раскрыв одно письмо, он углубился в чтение. Это было письмо от советника юстиции Гонтрама, который коротко сообщал о происшедшем в доме его дяди. К письму была приложена копия завещания. Гонтрам просил его возможно скорее приехать и привести в порядок дела. Он, советник юстиции, назначен судом временным душеприказчиком. Теперь, услышав, что Франк Браун вернулся в Европу, он просит его вступить в исполнение обязанностей.

Мать зорко наблюдала за сыном. Она знала малейший его жест, малейшую черту на гладком загорелом лице. По легкому дрожанию губ она поняла, что он прочел нечто важное.

– Что это? – спросила она. Голос ее задрожал.

– Ничего серьезного, – ответил он, – ты ведь знаешь, что дядюшка Якоб умер.

– Знаю, – сказала она. – И довольно печально.

– Да, – заметил он. – Советник юстиции Гонтрам прислал мне завещание. Я назначен душеприказчиком и опекуном дядюшкиной дочери. Мне придется поехать в Лендених.

– Когда же ты хочешь ехать? – быстро спросила она.

– Ехать? – переспросил он. – Да, думаю, сегодня же вечером.

– Не уезжай, – попросила она, – не уезжай. Ты всего три дня у меня и опять хочешь уехать.

– Но, мама, – возразил он, – ведь только на несколько дней. Нужно же привести в порядок дела.

Она сказала:

– Ты всегда так говоришь: на пару дней. А потом тебя нет по нескольку месяцев и даже лет.

– Ты должна понять, милая мама, – настаивал он. – Вот завещание: дядюшка оставил тебе довольно приличную сумму и мне тоже, – этого я, по правде, от него не ожидал.

Она покачала головой.

– Что мне деньги, когда тебя нет со мною?

Он встал и поцеловал ее седые волосы.

– Милая мама, в конце недели я буду опять у тебя. Ведь мне ехать всего несколько часов по железной дороге.

Она глубоко вздохнула и погладила его руку: «Несколько часов или несколько дней, какая разница? Тебя нет – так или иначе».

– Прощай, милая мама, – сказал он.

Пошел наверх, уложил маленький ручной саквояж и вышел опять на балкон. «Вот видишь, я собрался лишь на несколько дней, – до свиданья».

– До свиданья, мой мальчик, – тихо сказала она. Она слышала, как он сошел вниз по лестнице, слышала, как внизу захлопнулась дверь. Положила руку на умную морду собачки, смотревшей на нее своими верными глазами.

– Милый зверек, – сказала она, – мы снова одни. Он приезжает, чтобы тотчас же снова уехать, – когда мы его увидим опять?

Тяжелые слезы показались на ее добрых глазах, потекли по морщинам щек и упали вниз на длинные уши собачки. Она их слизнула красным языком.

Вдруг внизу раздался звонок: она услышала голоса и шаги по лестнице. Быстро смахнула слезы и поправила черную наколку на голове. Встала, перегнулась через перила, крикнула кухарке, чтобы та подала свежий чай для гостей.

– О, как хорошо, что столько народу. Дамы и мужчины, сегодня и постоянно. С ними можно болтать, им можно рассказывать о своем мальчике.

Советник юстиции Гонтрам, которому Франк Браун телеграфировал о приезде, встретил его на вокзале. Он повел Франка Брауна в сад и посвятил там в положение вещей. Попросил его сегодня же отправиться в Лендених, чтобы переговорить с Альрауне, и завтра же приехать в контору. Он не мог пожаловаться на то, чтобы Альрауне чинила ему

какие-либо трудности, но он питает к ней какое-то странное недружелюбное чувство. Ему неприятно с ней объясняться. И курьезно – он видел ведь столько преступников: убийц, грабителей, разбойников – и всегда находил, что, в сущности, они очень славные, хорошие люди – вне своей деятельности. К Альрауне же, которую решительно ни в чем он не мог упрекнуть, он постоянно испытывает чувство, какое испытывают другие к преступникам. Но в этом, вероятно, он сам виноват...

Франк Браун попросил позвонить по телефону Альрауне и сказать, что он скоро будет. Потом простился и пешком направился по дороге в Лендених. Прошел через старую деревню, мимо святого Непомука, и поздоровался с ним. Остановился перед железными воротами, позвонил и посмотрел на двор.

У въезда, где прежде горела жалкая лампочка, сверкали теперь три огромных газовых фонаря. Это было единственное новшество, которое он заметил.

Из окошка выглянула Альрауне и оглядела прищельца. Она видела, как Алоиз ускорил шаги, быстрее, чем обыкновенно, отворил ворота,

– Добрый вечер, молодой барин, – сказал слуга.

Франк Браун подал ему руку и назвал по имени, точно вернулся к себе домой после небольшого путешествия.

– Как дела, Алоиз?

По двору пробежал старый кучер, так быстро, как только могли нести его старые ноги.

– Молодой барин, – вскричал он, – молодой барин! Добро пожаловать!

Франк Браун ответил:

– Фройтсгейм, вы еще живы? Как я рад вас видеть. – Он с чувством пожал ему обе руки.

Показались кухарка, толстая экономка и камердинер Павел. Людская вмиг опустела – две старых служанки протискались через толпу, чтобы пожать ему руку, предварительно вытерев свои о передник.

– Молодой барин, – воскликнула седая кухарка и взяла у носильщика, шедшего следом за ним, маленький саквояж. Все окружили его, хотели поздороваться, пожать руку, услышать слово приветия. А молодые, не знавшие его, стояли вокруг и, широко раскрыв глаза, со смущенной улыбкой смотрели. Немного поодаль стоял шофер и курил трубку: даже на его равнодушном лице показалась дружеская улыбка.

Альрауне тен-Бринкен пожала плечами.

– Мой уважаемый опекун, по-видимому, пользуется здесь популярностью, – вполголоса сказала она и крикнула вниз: – Отнесите вещи барина к нему в комнату. А ты, Алоиз, проводи их наверх.

Точно холодная роса упала на теплую радость людей. Они понурили головы и разом замолкли. Только Фройтсгейм пожал ему еще раз руку и проводил до крыльца:

– Хорошо, что вы приехали, молодой барин.

Франк Браун пошел к себе в комнату, вымылся, переоделся и последовал за камердинером, который доложил, что стол накрыт. Вошел в столовую. Несколько минут он пробыл один. Оглянулся по сторонам.

Там все еще стоял гигантский буфет, и на нем красовались тяжелые золотые тарелки с гербом тен-Бринкенов. Но на тарелках не было фруктов. «Еще слишком рано, – пробормотал он. – Да и, может быть, кухня ими не интересуется».

В дверях показалась Альрауне. В черном шелковом платье с дорогими кружевами, в короткой юбке. На мгновение она остановилась на пороге, потом подошла ближе и поздоровалась:

– Добрый вечер, кузен.

– Добрый вечер, – ответил он и подал руку. Она протянула только два пальца, но он сделал вид, что не заметил. Взял всю ее руку и крепко пожал.

Жестом попросила она его к столу и сама села напротив.

– Мы должны, наверное, говорить друг другу «ты»? – сказала она.

– Конечно, – подтвердил он, – у тен-Бринкенов это всегда было принято. – Он поднял бокал: – За твоё здоровье, маленькая кузина.

«Маленькая кузина, – подумала она, – он называет меня маленькой кузиной. Он смотрит на меня, как на ребенка». Но не стала противоречить: «За твоё здоровье, большой кузен».

Она опорожнила бокал и подала знак лакею налить снова.

И выпила еще раз: «За твоё здоровье, господин опекун».

Он невольно засмеялся.

«Опекун, опекун-это звучит очень гордо. Разве я действительно так уж стар?» – подумал он и ответил:

– И за твоё, маленькая воспитанница,

Она рассердилась. «Маленькая воспитанница», опять – маленькая?" О, она ему скоро покажет, какая она маленькая.

– Как здоровье твоей матери? – спросила она.

– Мерси, – ответил он. – Кажется, хорошо. Ты ведь ее совершенно не знаешь? А могла бы когда-нибудь ее навестить.

– Да ведь и она у нас никогда не была, – ответила Альрауне. Потом, увидев его улыбку, быстро добавила: – Признаться, я об этом не думала.

– Конечно, конечно, – сухо сказал он.

– Папа о ней почти не говорил, а о тебе я вообще никогда не слыхала. – Она говорила немного поспешно, как будто торопилась. – Меня, знаешь ли, удивило, что он выбрал именно тебя...

– Меня тоже, – перебил он. – Конечно, это сделано не случайно.

– Не случайно? – спросила она. – Почему не случайно?

Он пожал плечами: «Пока я и сам еще не знаю, но, вероятно, скоро пойму».

Разговор не смолкал, как мяч, – туда-сюда летали короткие фразы. Они придерживались вежливого, любезного и предупредительного тона, но наблюдали друг за другом, были все время настороже. После ужина она повела его в музыкальную комнату. «Хочешь чаю?»-спросила она. Но он попросил себе виски с содовой.

Они сели и продолжали разговаривать. Вдруг она встала и подошла к роялю: «Спеть тебе что-нибудь?»

– Пожалуйста, – попросил он вежливым тоном.

Она села и подняла крышку. Потом повернулась с вопросом: «Ты, может быть, хочешь что-нибудь определенное?»

– Нет, – ответил он, – я не знаю твоего репертуара, маленькая кузина.

Она слегка сжала губы. «Надо его от этого отучить», – подумала она. Взяла несколько аккордов, спела несколько слов.

Потом прервала и начала новый романс. Снова прервала, спела несколько тактов из «Прекрасной Елены», потом несколько слов из григовской песни.

– Ты, по-видимому, не в настроении, – спокойно заметил он.

Она сложила руки на коленях, помолчала немного и начала нервно барабанить пальцами. Потом подняла руки, опустила быстро на клавиши и начала:

*Жила-была пастушка,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
жила-была пастушка,
которая пасла овец*

Она повернулась, сделала гримаску. Да, маленькое личико, обрамленное короткими локонами, действительно могло принадлежать грациозной пастушке...

Она сварила сыр,

*тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
она сварила сыр
из овечьего молока*

«Прелестная пастушка, – подумал он. – Но, бедные овечки»,
Она покачала головой, вытянула левую ножку и стала отбивать по полу такт изящной туфелькой.

*Кошка смотрит на нее,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
кошка смотрит на нее
с вороватым видом.
Если запустишь туда лапку,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
если запустишь туда лапку –
я тебе задам!*

Она улыбнулась ему – блеснул ряд белых зубов. «Она, кажется, думает, что я должен играть роль ее кошки», – подумал он.

Лицо ее стало немного серьезнее, и в голосе слегка зазвучала ироническая угроза.

*Она не запустила туда лапку,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
она не запустила туда лапку,
а окунула мордочку.
Пастушка рассердилась,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
пастушка рассердилась
и убила свою кошечку*

– Прелестно, – сказал он, – откуда, откуда у тебя эта песенка?

– Из монастыря, – ответила она, – ее пели там сестры.

Он засмеялся:

– Вот как, из монастыря! Удивительно. Спой же до конца, маленькая кузина.

Она вскочила со стула:

– Я кончила. Кошечка умерла – вот и вся песня.

– Не совсем, – ответил он. – Твои благочестивые сестры боялись наказания: у них прелестная пастушка безнаказанно совершает свой грех. Сыграй-ка еще раз: я тебе расскажу, что случилось с ней впоследствии.

Она села опять за рояль и заиграла ту же мелодию. Он запел:

*Она пришла на исповедь,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
она пришла на исповедь,
дабы получить прощенье.
Отец мой, я каюсь,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
отец мой, я каюсь в том,
что убила кошечку.
Дочь моя, для покаянья в содеянном,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
дочь моя, для покаянья в содеянном*

*давай-ка поцелуемся.
И покаянье сладко,
тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
и покаянье сладко –
повторим его!*

– Все? – спросила она.

– О да, все, – засмеялся он. – Ну, как тебе понравилась мораль, Альрауне?

Он первый раз назвал ее по имени – это бросилось ей в глаза, и она не обратила внимания на сам вопрос.

– Великолепно, – равнодушно ответила она.

– Правда? – воскликнул он. – Превосходная мораль: маленькая девушка не может безнаказанно убивать свою кошечку.

Он стал вплотную перед нею. Он был выше по крайней мере на две головы, и ей приходилось поднимать глаза, чтобы уловить его взгляд. Она думала о том, как все-таки много значат – эти глупые тридцать сантиметров. Ей захотелось быть в мужском костюме: уже одна ее юбка дает ему преимущество, – и в то же время у нее вдруг мелькнула мысль, что ни перед кем другим она не испытывала такого чувства. Но она выпрямилась и слегка тряхнула кудрями.

– Не все пастушки приносят такое покаяние, – сказала она.

Он отпарировал:

– Но и не все духовники отпускают так легко прегрешения.

Она хотела что-то возразить, однако не нашлась. Это ее злило. Она хотела отразить меткий удар, но его манера говорить была для нее так нова, – она, правда, понимала его язык, но сама не умела на нем говорить.

– Спокойной ночи, господин опекун, – поспешно сказала она. – Я иду спать.

– Спокойной ночи, маленькая кузина, – улыбнулся он, – приятных сновидений.

Она поднялась по лестнице. Не побежала, как всегда, а шла медленно и задумчиво. Он не понравился ей, этот кузен, – нет.

Но он злил, возбуждал в ней дух противоречия. «Как-нибудь справимся с ним», – подумала она.

И сказала, когда горничная сняла с нее корсет и подала длинную кружевную сорочку: «Хорошо все-таки, Кате, что он приехал. Все-таки разнообразие». Ее почти радовало, что она проиграла эту аванпостную стычку.

Франк Браун подолгу совещался с советником юстиции Гонтрамом и адвокатом Манассе. Совещался с председателем опекунского совета и сиротского суда. Много ездил по городу и старался возможно скорее урегулировать дела покойного профессора. Со смертью последнего уголовное преследование, разумеется, прекратилось, но зато градом посыпались всевозможные гражданские иски. Все мелкие торгаши, дрожавшие прежде от одного взгляда его превосходительства, объявились теперь и предъявили свои бесчисленные требования – иногда довольно сомнительного свойства.

– Прокуратуре мы теперь не надоедаем, – заметил старый советник юстиции, – и уголовному департаменту нечего делать. Но зато мы арендовали на долгое время ландсгерихт. Две гражданских камеры на целых полгода стали кабинетом покойного тайного советника.

– Это доставит удовольствие покойному, если только он сможет на нас взглянуть из ада пекла, – сказал адвокат. Такие процессы он очень любил – особенно оптом.

Он засмеялся, когда Франк Браун вручил ему акции Бурбергских рудников, доставшихся по завещанию.

– Вот бы теперь здесь быть старику, – пробурчал он. – Он бы уж над вами посмеялся. Подождите – сейчас вы будете удивлены.

Он взял бумаги и сосчитал их. «Сто восемьдесят тысяч марок, – сказал он, – сто тысяч для вашей матушки, остальное для вас. Ну, так послушайте же». Он снял трубку телефона, позвонил в банк и попросил вызвать одного из директоров.

«Алло, – залаял он. – Это вы, Фридберг? Видите ли, у меня есть несколько бургерских акций, – за сколько их можно продать?» Из слуховой трубки послышался раскатистый хохот, на который таким же смехом ответил Манассе.

– Я так и думал, – заметил он, – так, значит, ничего, а?! И никаких видов на будущее?! Лучше всего, значит, раздарить весь этот хлам, – но кому? Мошенническое предприятие, которое в скором времени рухнет?! Благодарю вас, господин директор. Простите, что побеспокоил.

Он повесил трубку и с насмешливой улыбкой повернулся к Франку Брауну: «Ну, теперь вы знаете? А сейчас состройте глупую гримасу, на которую рассчитывал ваш гуманный дядюшка, но бумаги оставьте все-таки мне. Может быть, какое-нибудь конкурирующее предприятие возьмет их и заплатит вам несколько сотен марок: мы по крайней мере разопьем тогда бутылку шампанского».

Наиболее тягостными для Франка Брауна были ежедневные совещания с большим мюльгеймским кредитным обществом. Изо дня в день банк влачил свое жалкое существование, постоянно питая надежду получить от наследников тайного советника хотя бы часть торжественно обещанной субсидии. С героическими усилиями директорам, членам правления и ревизионной комиссии удавалось оттягивать день за днем окончательный крах. Его превосходительство при помощи банка удачно провел чрезвычайно рискованные спекуляции – для него банк был поистине золотым дном. Но новые предприятия, возникшие по его настоянию, все потерпели фиаско, – правда, его

деньги не находились в опасности, но зато пропало все состояние княгини Волконской и многих других богатых людей. И вдобавок еще несчастные гроши множества мелких людей и людишек, зорко следивших за счастливой звездой профессора. Временные душеприказчики тайного советника обещали помощь, насколько это будет зависеть от них, но у советника юстиции Гонтрама закон связывал руки не менее, чем у председателя опекунского совета.

Правда, была единственная возможность – ее придумал Манассе. Объявить совершеннолетней фрейлейн тен-Бринкен. Тогда она может свободно располагать своим состоянием и исполнить моральный долг отца. В расчете на это трудились все заинтересованные лица, в надежде на это люди поддерживали банк последними грошами из собственных карманов. Две недели назад они страшными усилиями отбили нападение на кассы, вызванное паникой в городе, – но во второй раз сделать это было уже невыносимо.

Альрауне до сих пор лишь качала головой. Она спокойно выслушала то, что рассказали представители банка, улыбнулась и ответила только: «Нет».

– Зачем мне быть совершеннолетней? – спросила она. – Мне и так хорошо. Да и зачем отдавать деньги для спасения банка, который меня ничуть не касается?

Председатель опекунского совета разразился длинной тирадой. Дело идет о чести ее покойного отца. Все знают, что он один был виновником затруднений банка, долг любящей дочери – спасти от позора его доброе имя.

Альрауне расхохоталась ему прямо в лицо:

– Его доброе имя! – Она обратилась к адвокату Манассе: – Скажите, каково ваше мнение на этот счет? Манассе промолчал. Съежился в кресле и запыхтел.

– По-видимому, вы вполне согласны со мною, – сказала Альрауне. – Я не дам ни гроша.

Советник коммерции Лютцман, председатель ревизионной комиссии, заявил, что она должна хотя бы подумать о старой княгине Волконской, находившейся столь долгое время в тесной дружбе с домом тен-Бринкенов. И о всех тех, которые потеряют вместе с крахом банка свои последние гроши, заработанные потом и кровью.

– Зачем же они спекулировали? – спокойно спросила она. Зачем вложили свои деньги в

этот подозрительный банк? Впрочем, если я захочу подать кому-нибудь милостыню, я всегда найду ей лучшее применение.

Ее логика была ясна и жестока, как острый нож. Она знает отца, сказала она, и тот, кто имел с ним когда-нибудь дело, наверняка был не лучше его.

Но речь идет вовсе не о милостыне, заметил директор банка. Весьма вероятно, что банку с ее помощью удастся вывернуться; нужно только пережить критический момент. Она получит свои деньги обратно – все деньги до единого гроша и даже с процентами.

– Господин судья, – спросила она, – есть ли тут какой-нибудь риск? Да или нет?

Он не мог уклониться от ответа. Риск, правда, есть. Непредвиденные обстоятельства могут быть всегда. Он обязан по долгу службы сказать ей это. Но, как человек, он может только посоветовать пойти навстречу просьбам банка. Она сделает большое, доброе дело, спасет множество жизней. Ведь риск тут действительно минимальный.

Она поднялась и быстро перебила его.

– Значит, риск все-таки есть, господа, – иронически сказала она, – а я не хочу ничем рисковать. Я не хочу спасать ничьей жизни. И у меня нет никакого желания делать хорошее, доброе дело.

Она поклонилась и вышла из комнаты, оставив их в самом глупом положении.

Но банк все еще не сдавался, все еще продолжал тяжелую непосильную борьбу. Появилась новая надежда, когда советник юстиции сообщил о приезде Франка Брауна, законного опекуна фрейлейн тен-Бринкен. Члены правления тотчас же сговорились с ним и назначили заседание на один из ближайших дней.

Франк Браун понял, что не удастся уехать так скоро, как он полагал. И написал об этом матери.

Старуха прочла письмо, бережно сложила и спрятала в большую черную шкатулку, где хранились все его письма. В длинные зимние вечера, когда она оставалась одна, она открывала эту шкатулку и читала эти письма своей верной собачке. Она вышла на балкон и взглянула вниз, на высокое каштановое дерево, сплошь залитое белыми цветами. И на белые цветы монастырского сада, под которыми молча прогуливались тихие монахини.

«Когда же он придет, мой мальчик?» – подумала она.

ГЛАВА 13, которая рассказывает, как княгиня Волконская открыла Альрауне глаза

Советник юстиции Гонтрам написал письмо княгине, проходившей курс лечения в Наугейме, изложив истинное положение вещей. Прошло довольно много времени, пока она поняла, что ей угрожает: Фрида Гонтрам должна была ей все подробно разъяснить.

Сперва она засмеялась, но потом вдруг задумалась. И наконец закричала и громко заплакала. Когда вошла дочь, она с рыданиями кинулась ей на шею.

– Бедное дитя, – завопила она, – мы нищие. Все погибло!

Она стала изливать весь свой гнев на покойного профессора, не чураясь при этом самых циничных ругательств.

– Ведь не так уж плохо, – заметила Фрида Гонтрам. – У вас есть еще вилла в Бонне и замок на Рейне, и проценты с венгерских виноградников. Наконец, Ольга получает свою русскую ренту и...

– На это жить невозможно – перебила старая княгиня. – Разве только умереть с голоду.

– Надо попытаться уговорить Альрауне, – заметила Фрида. – Как советует папа.

«Он осел, – закричала княгиня. – Старый мошенник. Он был заодно с профессором: он вместе с ним обкрадывал нас. Только благодаря ему я познакомилась с этим уродом».

Она заявила, что все мужчины – мошенники и что она не встречала еще ни одного порядочного. «Вот хотя бы муж Ольги, прелестный граф Абрант. Разве он не истратил на уличных девок все приданое Ольги? А теперь он удрал с цирковой наездницей, – когда тайный советник забрал наши деньги и не выдавал ему больше ни гроша...»

– Так, значит, профессор все-таки сделал доброе дело, – заметила графиня.

– Доброе дело? – вскричала мать. – Как будто не безразлично для нас, что украл наше состояние. Они свиньи – и тот, и другой.

Но она все же была согласна с тем, что нужно попробовать уговорить Альрауне. Она сама поедет к ней, – но и Фрида, и Ольга ей не советовали. Княгиня будет несдержанна и получит такой же ответ, как члены правления банка. Тут нужно действовать дипломатически, заявила Фрида, нужно считаться с капризами Альрауне. Лучше всего, если поедет она. Ольга заметила, что еще лучше, если бы переговоры с Альрауне поручили ей.

Старая княгиня воспротивилась, но Фрида заявила, что она не должна прерывать курса лечения и волноваться. Княгиня согласилась.

Подруги решили поехать вместе. Княгиня осталась на курорте. Но бездеятельной быть не могла. Она отправилась к священнику, заказала сто месс за упокой несчастной души тайного советника. Это по-христиански, подумала она. А так как ее покойный муж был православный, то она поехала в Висбаден, отправилась в русскую церковь и заказала там сто обеден.

Это немного ее успокоило, хотя, по ее мнению, принесет мало пользы. Ведь профессор был протестантом и к тому же вообще не верил в Бога, но все-таки...

Дважды в день молилась она за профессора, молилась горячо и пламенно.

Франк Браун встретил обеих дам в Ленденихе, повел на террасу и долго говорил с ними о прошлом.

– Попробуйте счастья, дети мои, – сказал он, – я ничего не добился.

– Что же она вам ответила? – спросила Фрида Гонтрам.

– Немного, – засмеялся он. – Даже не выслушала меня. Только сделала глубокий реверанс и заявила с улыбкой, что, хотя чрезвычайно ценит высокую честь иметь меня своим опекуном, но даже не думает о том, чтобы отказаться ради княгини. И добавила, что вообще не желает больше говорить по этому поводу. Сделала опять реверанс, еще более глубокий, улыбнулась еще с большей почтительностью и исчезла.

– А вы не пробовали вторично? – спросила графиня.

– Нет, Ольга, – сказал он. – Эту возможность я уж предоставляю вам. Взгляд перед тем, как она ушла, был настолько категоричен, что я твердо уверен, все мое красноречие будет столь же бесплодно, как и всех остальных.

Он поднялся, позвонил лакею и велел подать чай.

– Хотя, впрочем, у вас есть одно преимущество, – продолжал он. – Когда советник юстиции полчаса тому назад протелефонировал мне о вашем приезде, я сообщил Альрауне, – по правде сказать, я думал, она вообще не захочет вас принять. Но об этом я бы позаботился. Между тем я ошибся: она заявила, что с радостью встретит вас, так как вы уже несколько месяцев с нею переписываетесь. Поэтому...

Фрида Гонтрам перебила.

– Ты пишешь ей? – воскликнула она резко.

Графиня Ольга пробормотала:

– Я, я – правда, ей писала по поводу смерти отца – и-и...

– Ты лжешь! – вскричала Фрида.

Графиня вскочила:

– А ты? Разве ты ей не писала? Я знала, что ты ей пишешь чуть ли не через день, – поэтому ты так долго и оставалась по утрам в своей комнате.

«Ты шпионила за мной через прислугу», – крикнула Фрида Гонтрам. Взгляды подруг скрестились: в них засверкала страшная ненависть. Они понимали друг друга: графиня чувствовала, что в первый раз в жизни не сделает того, чего потребует от нее подруга, а Фрида Гонтрам поняла, что встретит впервые сопротивление своей властной воле. Но их связывало столько лет дружбы, столько общих воспоминаний! Все не могло рухнуть в один миг.

Франк Браун понял это.

– Я вам мешаю, – сказал он. – Впрочем, Альрауне сама сейчас появится, она одевается. – Поклонился и вышел в сад: – Мы еще увидимся, надеюсь?

Подруги замолчали. Ольга сидела в большом садовом кресле. Фрида Гонтрам крупными шагами ходила взад и вперед.

Потом остановилась и подошла к подруге.

– Послушай, Ольга, – тихо сказала она. – Я тебе всегда помогала – и в серьезных делах, и пустяках. Во всех твоих приключениях и интригах. Правда?

Графиня кивнула:

– Да, правда. Но и я всегда платила тебе тем же, – разве я тебе не помогала?

– Насколько могла, – заметила Фрида Гонтрам. – Я этого не отрицаю. Мы, значит, останемся друзьями?

– Конечно, – воскликнула графиня Ольга. – Только, только я ведь немногого требую.

– Чего же ты требуешь? – спросила Фрида Гонтрам.

Она ответила:

– Не мешай мне!

– Не мешай? – перебила ее Фрида. – То есть как это «не мешай»? Каждый должен испытать свое счастье. Будем соперничать, – помнишь, как я говорила тебе тогда, на маскараде?

– Нет, – продолжала графиня, – я не хочу с тобой делиться. Я слишком часто делилась – и всегда лишь проигрывала. У нас неравные силы: ты должна мне на этот раз уступить.

– То есть как – неравные силы? – повторила Фрида Гонтрам. – Хотя, впрочем, превосходство на твоей стороне – ты гораздо красивее меня.

– Да, – ответила подруга, – но не в том дело. Ты умнее меня. Мне часто приходилось убеждаться, что это гораздо важнее – в таких делах.

Фрида Гонтрам схватила ее руку. «Послушай, Ольга, – начала она, – будь же благоразумна. Мы ведь приехали сюда не только ради наших чувств: послушай, если мне удастся уговорить Альрауне, если я спасу миллионы твои и твоей матери, – дашь ли ты мне свободу? Пойди в сад, оставь нас наедине».

Крупные слезы заблестели в глазах графини. «Я не могу, – прошептала она, – дай мне поговорить с нею, деньги я охотно предоставляю тебе. Для тебя ведь это всего мимолетный каприз...»

Фрида глубоко вздохнула, бросилась на кушетку и стала нервно терев шелковый платок.

– Каприз? Неужели ты думаешь, что я способна волноваться так из-за пустого каприза? Для меня это имеет не меньшее значение, чем для тебя.

Лицо ее стало серьезным, и глаза уставились тупо в пространство. Ольга заметила, вскочила, опустилась на колени перед подругой. Их руки встретились, они тесно прижались друг к другу и заплакали.

– Что же нам делать? – спросила графиня.

– Отказаться, – резко заметила Фрида. – Отказаться обоим. Будь что будет.

Графиня Ольга кивнула головой и еще крепче прижалась к подруге.

– Встань, – прошептала та. – Кажется, она уже идет. Вытри скорее слезы. Вот носовой платок.

Ольга послушалась и молча отошла в сторону.

Но Альрауне тен-Бринкен заметила их волнение. Она стояла в дверях в черном трико – в костюме принца Орловского из «Летучей мыши». Принц поклонился, поздоровался, поцеловал дамам руки.

– Не плачьте, – засмеялась она, – не надо плакать: это портит прелестные глазки.

Она хлопнула в ладоши и велела лакею подать шампанского. Сама налила бокалы, поднесла дамам и заставила их выпить.

Она подвела графиню Ольгу к кушетке, погладила ее полную руку. Села потом рядом с

Фридой и устремила на нее свой смеющийся взгляд. Она исполняла свою роль: предлагала кекс, пирожные, лила «Па-д'эспань» из своего золотого флакончика на платки дам.

И затем вдруг начала:

– Да, правда, очень печально, что я ничем не могу вам помочь. Мне так жаль, так жаль.

Фрида Гонтрам встала и с трудом ей ответила:

– Почему же?

– У меня нет на то причин, – ответила Альрауне. – Право, нет никаких. Я просто-напросто не могу – вот и все.

Она обратилась к графине:

– Действительно ваша мать очень пострадает? – Она подчеркнула слово «очень».

Графиня вздрогнула под ее взглядом.

– Ах, нет, – сказала она, – не очень. – И повторила слова Фриды: – У нее ведь еще вилла в Бонне и замок на Рейне. И проценты с венгерских виноградников. Да и я к тому же получаю русскую ренту и... Она запнулась: она понятия не имела об их положении – вообще не знала, что такое деньги. Знала только, что с деньгами можно ходить в хорошие магазины, покупать шляпы и много других красивых вещей. На это ведь у нее всегда хватит. Она даже извинилась: это просто мамина блажь. Но пусть Альрауне не огорчается, – она надеется, что этот инцидент не омрачит их дружбы...

Она болтала, не думая. Говорила всякий вздор. Не обращала внимания на строгие взгляды подруги и чувствовала себя тепло и уютно под взглядом Альрауне тен-Бринкен, как зайчик под солнцем на капустном поле.

Фрида Гонтрам начала нервничать. Сначала невероятная глупость подруги ее рассердила, потом же ее поведение показалось смешным и некрасивым. Даже муха, подумала она, не летит так жадно на сахар. В конце же концов, чем больше Ольга болтала, тем быстрее под взглядом Альрауне таял условный покров ее чувств, – и в душе Фриды пробудилось вдруг чувство, которого она не в силах была побороть. Ее взгляд тоже устремился туда – и с ревностью скользил по стройной фигуре принца Орловского.

Альрауне заметила это.

– Благодарю вас, дорогая графиня. – сказала она, – меня успокоили ваши слова, – Затем она обратилась к Фриде Гонтрам: – Советник юстиции рассказал такие страшные вещи о неминуемом разорении княгини.

Фрида ухватила за последнее спасение, всеми силами старалась прийти в себя

– Мой отец был совершенно прав, – резко ответила она. – Разорение княгини неминуемо. Ей придется продать свой замок на Рейне.

– О, это ничего не значит, – заявила графиня, – мы и так никогда там не живем.

– Молчи, – закричала Фрида. Глаза ее потускнели, она почувствовала, что бесцельно борется за проигранное дело. – Княгине придется бросить хозяйство, ей будет страшно трудно привыкнуть к новым условиям. Очень сомнительно, будет ли она даже в состоянии держать автомобиль. Вероятно, нет.

– Ах, как жаль, – воскликнула Альрауне.

– Придется продать лошадей и экипажи, – продолжала Фрида, – распустить прислугу...

Альрауне перебила:

– А что будет с вами, фрейлейн Гонтрам? Вы останетесь у княгини?

Она не нашла, что ответить: вопрос был совсем неожиданный. «Я...-пробормотала она, – я – да, конечно...»

Фрейлейн тен-Бринкен не унималась:

– А то я была бы очень рада предложить вам свое гостеприимство. Я так одинока, мне необходимо общество – переезжайте ко мне.

Фрида боролась, колебавшись мгновение

– К вам – фрейлейн?...

Но Ольга перебила ее:

– Нет, нет, она должна остаться у нас. Она не может покинуть мою мать теперь.

– Я никогда не была у твоей матери, – заявила Фрида Гонтрам, – я была у тебя.
– Безразлично, – вскричала графиня. – У меня или у моей матери – я не хочу, чтобы ты здесь оставалась.

– Но, – простите, – засмеялась Альрауне, – мне кажется, фрейлейн Гонтрам имеет свое собственное мнение.

Графиня Ольга поднялась – кровь отлила у нее от лица.

– Нет, – закричала она, – нет и нет.

«Я ведь никого не насилую, – засмеялся принц Орловский, – таков уж мой обычай. И не настаиваю даже – оставайтесь у княгини, если вам это приятнее, фрейлейн Гонтрам». Она подошла ближе и взяла ее за руки. «Ваш брат был моим другом, – медленно произнесла она, – и моим верным товарищем. – Я так часто его целовала...»

Альрауне заметила, как эта женщина, почти вдвое старше ее, опустила глаза под ее взглядом, почувствовала, как руки Фриды Гонтрам стали вдруг влажными от легкого прикосновения ее пальцев. Она упивалась этой победой, наслаждалась.

– Ну, что же, вы останетесь? – прошептала она.

Фрида Гонтрам тяжело дышала. Не подымая глаз, подошла она к графине Ольге:

– Прости меня, Ольга, я должна остаться здесь.

Ее подруга бросилась на диван, зарылась головой в подушки, содрогаясь от истерических рыданий.

«Нет, – жалобно вопила она, – нет, нет». Она выпрямилась, подняла руку, словно хотела ударить подругу, но громко расхохоталась. Сбежала по лестнице в сад без шляпы, без зонтика. Через двор и прямо на улицу.

– Ольга, – закричала вслед ей подруга. – Ольга, послушай, Ольга.

Но фрейлейн тен-Бринкен сказала:

– Оставь ее. Она успокоится.

Голос звучал высокомерно и гордо.

Франк Браун завтракал в саду под большим кустом сирени, Фрида Гонтрам принесла ему чашку чаю.

– Хорошо, что вы здесь, – сказал он. – Не видно, чтобы вы что-то делали, а все-таки все идет как по маслу. Прислуга испытывает какую-то странную антипатию к моей кухне. Эти люди не имеют и представления о средствах социальной борьбы. Но они своим умом дошли до саботажа, и давно бы уже разразилась открытая революция, если б они не любили меня. А вот теперь вы поселились здесь – и все обстоит превосходно. Я должен поблагодарить вас, Фрида.

– Мерси, – ответила она. – Рада, если я могу что-нибудь сделать для Альрауне.

– Вот только, – продолжал он, – княгиня без вас очень страдает. Там все идет вверх ногами, с тех пор как банк приостановил платежи. Почитайте-ка. Он подал ей несколько писем.

Но Фрида Гонтрам покачала головой.

– Нет, – извините, я не хочу ничего знать. Меня это не интересует.

Он продолжал настаивать:

– Вы должны знать, Фрида. Если не желаете прочесть писем, то я передам вкратце их содержание. Вашу подругу нашли...

– Она жива? – прошептала Фрида.

– Да, жива, – ответил он. – Когда она убежала отсюда, она блуждала всю ночь и весь следующий день. Сперва она отправилась, по-видимому, в горы, потом вернулась к Рейну. Ее видели лодочники неподалеку от Ремагена. Они следили за нею издали, так как поведение ее показалось им странным. И когда она бросилась в реку, они подплыли и через несколько минут вытащили ее из воды. Это случилось четыре дня тому назад. Она сильно сопротивлялась, и они отвезли ее прямо в тюрьму.

Фрида Гонтрам уткнула лицо в ладони.

– В тюрьму? – тихо спросила она.

– Ну, да, – ответил Франк Браун. – Куда им было ее еще везти? Ведь было ясно, что на свободе она тотчас же вновь постарается лишиться себя жизни. Самое лучшее – ее куда-нибудь спрятать. Она не отвечала ни на один вопрос, упорно молчала. Часы, портмоне, даже носовой платок она давным-давно выбросила, а по короне и нелепым монограммам на ее белье никто не мог ничего понять. Только когда старик Гонтрам заявил о ее исчезновении в полицию, личность ее была установлена.

– Где она сейчас? – спросила Фрида.

– В городе, – ответил он. – Советник юстиции взял ее из Ремагена и поместил в психиатрическую лечебницу профессора Дальберга. Вот письмо от него, боюсь, что графине Ольге придется остаться там долго. Вчера приехала княгиня. Вам, Фрида, следовало бы навестить свою бедную подругу. Профессор говорит, что она очень спокойна.

Фрида Гонтрам поднялась со стула.

– Нет, нет, – воскликнула она, – я не могу...

Она медленно прошла по дорожке между кустами сирени.

Франк Браун смотрел ей вслед. Будто мраморное изваяние было ее лицо, словно высеченное в камне неумолимой судьбой. Потом вдруг на холодной маске показалась улыбка, как легкий солнечный луч посреди непроницаемой тени. Глаза ее устремились к буковой аллее, ведущей к дому. Он услышал звонкий смех Альрауне.

«Какая странная у нее сила, – подумал он, – дядюшка Якоб со своей кожаной книгой прав».

Он начал думать. О да, от нее не легко уйти. Никто не понимал, в чем дело, а все же все порхали вокруг горячего неумолимого пламени. И он? Он? Он не скрывал от себя: его что-то манило к ней. Он не отдавал себе отчета, не знал, действует ли ее влияние на его чувства, на кровь или, может быть, на мозг. Он не скрывал от себя, что все еще здесь не только ради дел, процессов и соглашений, – теперь, когда Мюльгеймский банк окончательно лопнул, он может все поручить адвокатам: его присутствие не так уж необходимо. А он все еще оставался. Он понял, что лгал сам себе, что искусственно придумывал новые поводы, лишь бы отсрочить отъезд. Ему вдруг показалось, что кухня замечает это, – будто он поступает так под ее молчаливым влиянием.

«Завтра же уеду домой», – подумал он.

Но вдруг мелькнула мысль: зачем? Разве он боится? Боится? Неужели он заразился теми глупостями, о которых пишет его дядюшка в кожаной книге? Что его ожидает? В худшем случае любовное приключение? Во всяком случае не первое – да едва ли и последнее. Разве он не мог равняться с нею силою или даже превзойти ее? Разве на его жизненном пути нет трупов? Зачем же ему бежать?

Ведь он создал ее: он. Франк Браун. Мысль принадлежала ему, и дядюшкина рука была лишь орудием. Она – его создание, – гораздо больше, чем тайного советника. Он был тогда молод, пенился, как вино. Был полон причудливых снов, дерзких фантазий. И из темного леса Непознаваемого, в котором трудно было пробираться его неистовым шагам, он добыл редкий причудливый плод. Нашел хорошего садовника и отдал ему. И садовник бросил семя в плодородную землю. Полил, взрастил росток и воспитал юное деревце. А теперь он вернулся – и увидел перед собою цветущее дерево. Оно ядовито: кто лежит под ним, того касается ядовитое дыхание. Многие умирали от этого, многие упивались сладким дыханием – даже умный садовник, его взрастивший.

Но ведь он был не садовником, которому превыше всего стало редкое деревце. Он не был одним из тех, что блуждали по саду случайно и бессознательно.

Он добыл плод, давший это зерно. С тех пор много дней пробирался он по темному лесу Непознаваемого, погружался в трясины и бездны. Много ядов впитал он, много зачумленных испарений вдохнул. Было тяжело, много ран и гноящихся язв у него в душе, но он не отступал ни перед чем. Здоровым и сильным выходил он из всех испытаний, – и теперь он силен и бодр, будто окованный навсегда в серебряные латы.

О, конечно: он иммунен...

Это не борьба даже, это просто игра, и вот – раз это простая игра – неужели же он должен уйти? Если она только куколка – опасная для других, но невинная игрушка для его сильной натуры, – тогда даже не интересно. Но если, если это действительно трудная борьба, борьба с равным противником, – она стоит труда...

Глупости, думал он. Кому, в сущности, рассказывает он о всех этих геройских подвигах? Разве не слишком часто вкушал он сладость победы?

Нет, это самые обыкновенные вещи. Разве знаешь когда-нибудь силы противника? Разве жало маленьких ядовитых moskitov не гораздо опаснее, чем пасть крокодила, которую он так часто встречал своею винтовкой? Он терялся. Он был в каком-то заколдованном круге. И постоянно возвращался к одному: останься!

– С добрым утром, – засмеялась Альрауне тен-Бринкен. Она остановилась перед ним вместе с Фридой Гонтрам.

– С добрым утром, – ответил он. – Прочти эти письма, – тебе не мешает знать, что ты натворила. Пора уже оставить глупости и сделать что-нибудь, действительно стоящее труда.

Она недовольно посмотрела на него. «Вот как? – сказала она, растягивая каждое слово. – Что же, по-твоему, стоит труда?»

Он не ответил, – не знал, что ответить. Он поднялся, пожал плечами и пошел в сад. За спиной раздался ее смех:

– Вы в дурном настроении, господин опекун?

После обеда он сидел в библиотеке. Перед ним лежало несколько документов, присланных вчера адвокатом Манассе. Но он не читал, а смотрел в пространство и курил одну папиросу

за другой. Потом открыл ящик и снова вынул кожаную книгу тайного советника. Прочел ее медленно и внимательно, раздумывая над каждым незначительным эпизодом.

Раздался стук в дверь – вошел шофер.

– Господин доктор, – начал он, – приехала княгиня Волконская. Она очень взволнована и требует барышню. Но мы решили, что лучше, если вы сперва ее примете: Алоиз проведет ее прямо сюда.

«Прекрасно», – сказал Франк Браун. Вскочил и пошел навстречу княгине. Она с трудом прошла в узкую дверь, словно вкатила свое огромное тело в полутемную комнату, зеленые ставни которой едва пропускали лучи яркого солнца.

– Где она? – закричала княгиня. – Где Альрауне?

Он подал ей руку и подвел к дивану. Она узнала его, назвала по имени, но не захотела с ним говорить.

«Мне нужна Альрауне, – закричала она, – подайте ее сюда». Она не успокоилась прежде, чем он не позвонил лакею и не велел доложить барышне о приезде княгини.

Он спросил ее о здоровье дочери, и княгиня с плачем и стоном стала рассказывать. Дочь даже не узнала матери, – молча и апатично сидит она у окна и смотрит в сад. Она помещается в бывшей клинике тайного советника, этого мошенника и негодяя. Клиника превращена теперь в санаторий для нервных больных профессора Дальберга. Она в том самом деле, в котором...

Он перебил, остановил бесконечный поток слов. Быстро схватил ее за руку, нагнулся и с притворным интересом уставился на ее кольца.

– Простите, ваше сиятельство, – поспешно сказал он. – Откуда у вас этот чудесный изумруд? Ведь это же положительно редкость.

– Он был на магнатской шапке моего первого мужа, – ответила она. – Старинная вещь.

Она хотела было продолжить свою тираду, но он не дал ей вымолвить и слова.

– Какая чистая вода, – воскликнул он снова. – Какая редкая величина. Такой же почти изумруд я видел у магараджи Ролинкора: он вставил его своему любимому коню вместо левого глаза. А вместо правого был бирманский рубин, немного поменьше изумруда. – И он принялся рассказывать об экстравагантностях индийских князей, которые выкалывали коням глаза и вставляли вместо них стеклянные украшения или драгоценные камни.

– Жестоко, правда, – сказал он, – но уверяю вас, ваше сиятельство, впечатление поразительное: вы видите перед собою прекрасное животное – оно смотрит на вас застывшими глазами или бросает взгляды своих темно-синих сапфиров.

Он начал говорить о камнях. Еще со студенческих времен он помнил, что она понимает кое-что в драгоценностях и, в сущности, это единственное, что ее действительно интересует. Она отвечала ему сперва быстро и отрывисто, но с каждой минутой все более спокойно. Сняла свои кольца, начала их показывать одно за другим и рассказывать о каждом небольшую историю.

Он кивал головой, внимательно слушал. «Теперь может прийти и кузина, – подумал он. – Первая буря миновала».

Но он горько ошибся.

Вошла Альрауне и беззвучно затворила за собой дверь. Тихо прошла по ковру и села в кресло напротив них.

– Я так рада видеть вас, ваше сиятельство, – пропела она.

Княгиня закричала, еле переводя дыхание. Потом перекрестилась один раз и второй по православному обряду.

– Вот она, – простонала княгиня, – вот она здесь.

– Да, – засмеялась Альрауне, – собственной персоною.

Она встала, протянула княгине руку. «Мне так жаль, – продолжала она. – Примите мое искреннее соболезнование».

Княгиня не подала руки. Мгновение она не могла произнести ни слова, старалась только прийти в себя. Но потом вдруг очнулась.

– Мне не нужно твоего сострадания, – закричала она. – Мне нужно поговорить с тобою.

Альрауне села и сделала жест рукою:

– Пожалуйста, ваше сиятельство.

Княгиня начала: знает ли Альрауне, что княгиня потеряла состояние из-за проделок профессора? Конечно, знает, ей ведь многократно говорили, что она должна сделать, – но она отказалась исполнить свой долг. Знает ли она, что стало с ее дочерью? И рассказала, как нашла ее в лечебнице и каково мнение врача. Княгиня все больше и больше волновалась и возвышала свой хриплый и резкий голос.

Ей все это превосходно известно, ответила спокойно Альрауне.

Княгиня спросила, что же она намерена теперь делать. Неужели хочет она идти по грязным стопам своего отца? О, профессор был тонким мошенником – ни в одном романе не встретишь такого хитрого негодяя. Но он получил свое. Княгиня взялась теперь за профессора и громко кричала, что приходило на ум. Она думала, что внезапный припадок Ольги был вызван неудачей ее миссии, а также тем, что Альрауне отняла у нее ее лучшую подругу.

По ее мнению, если Альрауне теперь согласится, то не только спасет ее состояние, но и благодаря этому вернет ей дочь.

– Я не прошу, – кричала она. – Я требую, я настаиваю на своем праве. Ты моя крестница, а вместе с тем и убийца. Ты совершила несправедливость, исправь же ее, это сейчас в твоей власти. Ведь позор, что я должна тебе об этом говорить, – но иначе ты не хотела.

– Что же мне еще спасать? – тихо сказала Альрауне. – Насколько я знаю, банк три дня тому назад лопнул. Деньги пропали, ваше сиятельство. – Она будто свистнула: «Фьють» – слышно было, как банковские билеты разлетелись по воздуху,

– Ничего не значит, – заявила княгиня. – Советник юстиции сказал мне, что твой отец вложил в этот банк около двенадцати миллионов моих денег. Ты попросту можешь вернуть эти миллионы из своих собственных средств, для тебя это не такая уж огромная сумма, я прекрасно знаю.

– Ах, – произнесла Альрауне. – Может, еще что-нибудь прикажете, ваше сиятельство?

– Конечно, – закричала княгиня, – ты сейчас же велишь фрейлейн Гонтрам оставить

твой дом. Пусть она пойдет к моей бедной дочери. Ее присутствие и в особенности известие, что наши денежные дела урегулированы, окажут самое благотворное влияние, быть может, даже совершенно излечат Ольгу. Я не буду упрекать фрейлейн Гонтрам за ее неблагодарный поступок, да и тебя не буду обвинять в происшедшем. Я только хочу, чтобы дело было поскорее улажено.

Она замолчала и глубоко вздохнула после длинной тирады.

Взяла носовой платок, вытерла крупные капли пота, выступившего на багровом лице.

Альрауне поднялась спокойно и слегка поклонилась.

– Ваше сиятельство слишком любезны, – пропела она. Потом замолкла.

Княгиня подождала мгновение, а затем спросила:

– Ну?

– Ну? – повторила тем же тоном Альрауне.

– Я жду... – закричала княгиня.

– Я тоже... – повторила Альрауне.

Княгиня Волконская ерзала на диване, старые пружины которого сгибались и трещали под ее невероятную тяжесть.

Стиснутая могучим корсетом, придававшим какое-то подобие фигуры исполинскому телу, она еле могла двигаться и дышать. От волнения у нее пересохло в горле, и она то и дело облизывала губы толстым языком.

– Не велеть ли подать воды, ваше сиятельство? – прошептала Альрауне.

Княгиня сделала вид, будто не слышит.

– Что же ты намерена теперь делать? – торжественно спросила она.

Альрауне ответила просто и не задумываясь: «Ни-че-го».

Старая княгиня посмотрела на нее своими круглыми коровьими глазами, словно не понимала, что говорит девушка. Потом неуклюже поднялась, сделала несколько шагов и оглянулась, словно искала что-то. Франк Браун тоже поднялся, взял со стола графин с водой, налил стакан и подал ей. Она с жадностью выпила.

Альрауне тоже поднялась.

– Прошу извинения, ваше сиятельство, – сказала она. – Не передать ли поклон от вас фрейлейн Гонтрам?

Княгиня бросилась к ней вне себя от ярости, еле сдерживая бешенство.

«Она сейчас лопнет», – подумал Франк Браун.

Княгиня не находила слов, не знала, с чего начать.

– Скажи ей, – прохрипела она, – скажи ей, чтобы она не смела показываться мне на глаза. Она – девка, не лучше тебя.

Тяжелыми шагами затопала она по комнате, пытая и потя, угрожающе подымая толстые руки. Вдруг взгляд ее упал на открытый ящик, и она увидела кольцо, которое когда-то заказала для своей крестницы: крупный жемчуг, нанизанный на рыжие волосы матери. Отражение торжествующей ненависти пробежало по ее заплывшему лицу. Она быстро схватила ожерелье.

– Тебе это знакомо? – закричала она.

– Нет, – спокойно сказала Альрауне, – я никогда его не видела.

Княгиня подошла к ней вплотную.

– Негодай профессор украл его у тебя – на него похоже. Это я подарила тебе, моей крестнице, Альрауне.

– Мерси, – сказала Альрауне. – Жемчуг красив, если только он настоящий.

– Настоящий, – закричала княгиня. – Такой же настоящий, как и волосы, которые я отрезала у твоей матери. Она кинула кольцо Альрауне.

Та взяла красивое украшение и стала разглядывать.

– Моей матери? – медленно произнесла она. – У нее, по-видимому, были очень красивые волосы.

Княгиня встала перед нею и уперлась руками в бока – уверенная в своем торжестве – с

видом прачки.

– Красивые, такие красивые, что за ней бегали все мужчины и платили целый талер, чтобы проспать ночь возле этих красивых волос.

Альрауне вскочила-на мгновение кровь отлила у нее от лица. Но она улыбнулась и сказала спокойным, ироническим тоном:

– Вы, ваше сиятельство, стали впадать в детство.

Это переполнило чашу. Отступления для княгини уже не было. Она разразилась целым водопадом слов – циничных, вульгарных, будто пьяная содержательница публичного дома.

Она кричала, перебивала саму себя, вопила, изливала потоки циничных ругательств. Уличной девкой была мать Альрауне, самого низшего пошиба, она продавалась за талер. А отец был

гнусным убийцей – его звали Неррисен, – она, наверное, слышала. За деньги тайный советник заставил проститутку согласиться на грязный опыт. Она присутствовала, она видела все – вот из этого опыта и родилась она, она – Альрауне, которая сейчас сидит перед нею. Дочь убийцы и проститутки.

Такова была ее месть. Она вышла из комнаты, торжествующая, преисполненная гордой победой, словно помолодела лет на десять. С шумом захлопнулась за нею дверь.

...В большой библиотеке воцарилась мертвая тишина. Альрауне сидела в кресле молча, немного бледная. Ее пальцы нервно играли с колье, легкая дрожь пробежала у нее по губам. Наконец она встала.

– Глупая женщина, – прошептала она. Сделала несколько шагов, но вдруг что-то решила и подошла к кузену

– Это правда, Франк Браун? – спросила она.

Он колебался, потом встал и сказал медленно:

– Да, это правда.

Он подошел к письменному столу, вынул кожаную книгу и протянул ей.

– Прочти, – сказал он.

Она не ответила ни слова и повернулась к дверям.

– Возьми, – крикнул он ей вслед и протянул стакан, сделанный из черепа матери, и кости – из костей отца.

ГЛАВА 14, которая рассказывает, как Франк Браун играл с огнем и как пробудилась Альрауне.

В этот вечер Альрауне не вышла к ужину и просила Фриду Гонтрам принести ей в комнату чашку чаю и кекс. Франк Браун подождал немного, надеясь, что она все-таки хотя бы потом сойдет вниз. Затем отправился в библиотеку и с неохотой принялся разбирать бумаги. Однако не мог заниматься – сложил их и решил поехать в город. Но предварительно вынул из ящика последние воспоминания: кусок шелкового шнура, простреленную карточку с трилистником и, наконец, деревянного человечка – альрауне. Он завернул все это, запечатал сургучом и отослал вверх к Альрауне. Он не написал ни слова – все объяснения она найдет в кожаной книге, на которой красуются ее инициалы.

Потом позвал шофера и поехал в город. Как и ожидал, он встретил Манассе в маленьком винном погребе на Мюнстерской площади. Там же был Станислав Шахт, Франк Браун подсел к ним и начал болтать, стал разбирать все pro и contra различных процессов. Они порешили предоставить советнику юстиции несколько сомнительных дел, в которых удастся, вероятно,

добиться каких-нибудь приемлемых результатов, – другие же Манассе постарается выиграть сам. В некоторых исках Франк Браун предложил пойти навстречу противникам, но Манассе не хотел об этом даже и слышать: «Только не уступки, – если притязания противников даже и ясны как день и вполне справедливы». Он был самым прямым и честным юристом при ландсгерихте, он всегда говорил клиентам правду в лицо, а перед

судом хотя и молчал, но никогда не лгал, – но он все же был слишком юристом для того, чтобы не испытывать врожденной неприязни ко всякого рода уступкам.

– Ведь это влечет за собою только лишние расходы, – заметил Франк Браун.

– Хотя бы и так, – протягивал адвокат. – Но какую роль играют они при столь крупных суммах? Я ведь уже говорил вам: нет ничего невозможного, маленькие шансы имеются всегда.

– Юридически – может быть, – ответил Франк Браун. – Но...

Он замолчал. Другой точки зрения адвокат понять не в состоянии. Суд создавал право – поэтому правом было все то, что он постановлял. Сегодня право одно – а через несколько месяцев – в высшей инстанции – может быть и другое, уступить же – значит сознаться в своей неправоте, то есть самому произнести приговор, иначе говоря, предвосхищать суд.

Франк Браун улыбнулся.

– Ну, как вам будет угодно, – сказал он.

Он заговорил со Станиславом Шахтом, спросил, как его друг доктор Монен, и о многих других, которые жили здесь во времена студенчества.

Да, Иосиф Тейссен был уже советником правления, а Клингеффер-профессором в Галле, он скоро получит кафедру анатомии. А Франц Ланген – и Бастиан – и другие...

Франк Браун слушал его и словно перелистывал живую адресную книгу университета. «Вы все еще студент?» – спросил он.

Станислав Шахт молчал, слегка обиженный. Адвокат протягивал: «Что? Вы разве не знаете? Он ведь сдал докторский экзамен – уже пять лет тому назад».

«Уже – пять лет», – Франк Браун прикинул в уме. Значит, прошло сорок пять или сорок шесть семестров.

– Ах, вот как, – воскликнул он. Поднялся, протянул руку. – Разрешите поздравить, господин доктор, – продолжал он. – Но – скажите, что вы намерены, в сущности, предпринять?

– Ах, если бы он знал! – воскликнул адвокат.

Пришел пастор Шредер. Франк Браун подошел к нему и поздоровался.

– Какими судьбами? – удивился Шредер. – Это надо отпраздновать.

– Позвольте мне быть хозяином, – заявил Станислав Шахт. – Он должен выпить со мною за мой докторский диплом.

– А со мною за новую кафедру, – засмеялся пастор. – Не разделим ли мы лучше эту честь? Что вы скажете, доктор Шахт?

Тот согласился, и седовласый викарий заказал старый шарцгофбергер, который погребок приобрел благодаря его содействию. Он попробовал вино, остался доволен и чокнулся с Франком

Брауном.

– Вы сумели устроиться, – воскликнул он, – изъездили немало земель и морей: об этом писали в газетах. А мы должны сидеть дома и утешаться тем, что на Мозеле есть еще хорошее вино. Такой марки вы, вероятно, за границей не пили?

– Вероятно, – ответил Франк Браун. – А вы что поделяваете?

– Что поделяваю? – повторил вопрос пастор. – По-прежнему злюсь: на старом нашем Рейне все больше и больше пахнет Пруссией. Поэтому сочиняешь для развлечения глупые театральные пьески. Я ограбил уже всего Плавта и Теренция – теперь я работаю для Гольберга. И подумайте только, директор платит мне теперь гонорар – тоже своего рода прусское изобретение.

– Так радуйтесь же! – воскликнул адвокат Манассе. – Впрочем, пастор написал еще целый научный трактат, – обратился он к Франку Брауну, – могу вас уверить, превосходный, вдумчивый труд.

– Что за пустяки! – воскликнул старый викарий. – Просто маленький опыт...

Станислав Шахт перебил: «Ах, бросьте, ваша работа – самый ценный вклад в изучение Александрийской школы, ваша гипотеза о неоплатоновском учении об эманации...»

Он сел на своего конька и стал говорить, словно епископ на церковном соборе. Высказал возражения, заявил, что не согласен с тем, что автор встал всецело на почву трех космических принципов, хотя, правда, лишь таким путем ему удалось проникнуться духом учения Порфирия и его учеников. Манассе возразил, в спор вмешался и сам викарий. Они так волновались, будто во всем мире не было ничего более важного, чем монизм Александрийской школы, который, в сущности, был ничем иным, как мистическим самоуничтожением "я", самоуничтожением путем экстаза, аскезы и теургии.

Франк Браун молча слушал их. «Вот Германия, – думал он, – вот моя родина». Год тому назад, вспомнилось ему, он сидел в баре – где-то в Мельбурне или Сиднее, с ним было трое мужчин: судья, епископ и известный врач. Они спорили и ссорились не меньше, чем эти трое, – но у них речь шла о том, кто лучший боксер: Джимми Уолш из Тасмании или стройный Фред Коста, чемпион Нового Южного Уэльса.

Сейчас же перед ним сидели маленький адвокат, все еще не получивший звания советника юстиции, священник, писавший глупые пьески для театра марионеток и, наконец, вечный студент Станислав Шахт, в сорок лет сдавший наконец докторский экзамен и не знавший теперь, что ему делать. И эти трое говорили о самых ученых, далеких от жизни вещах, не имевших решительно ничего общего с их деятельностью, говорили с той же уверенностью и с тем же знанием, с каким собеседники его в Мельбурне – о боксе. О, можно просеять сквозь сито всю Америку и всю Австралию и даже девять десятых Европы, и все же никогда не найдешь такой бездны учености...

«Вот только – все это мертво, – вздохнул он. – Давно уже умерло и пахнет гнилью, – хорошо еще, что они того не замечают».

Он спросил викария, как поживает его воспитанник, молодой Гонтрам. Адвокат Манассе тотчас же прервал свою тираду.

– Да, правда, расскажите, – ведь я, собственно, ради этого и пришел сюда. Что он пишет?

Викарий Шредер вынул бумажник и достал письмо. «Вот, прочтите сами, – сказал он, – утешительного мало», – и протянул конверт адвокату.

Франк Браун бросил взгляд на почтовый штамп. «Из Давоса? – спросил он. – Значит, все-таки получил наследство от матери?»

– К сожалению, – вздохнул старый священник, – а ведь Иосиф был такой здоровый и свежий мальчик! Он не создан для карьеры священника, я бы выбрал что-нибудь другое, хотя и сам ношу черный сюртук, – если бы не обещал его матери на смертном одре. Впрочем, он, наверное, сам пошел бы по этому пути. Так же, как и я: ведь он сдал докторский экзамен *summa cum laude*. Архиепископ очень к нему расположен. Иосиф помогал мне в моей работе об Александрийской школе, из него вышел бы толк. Но вот теперь, к сожалению... – он запнулся и медленно выпил вино.

– Это произошло так внезапно? – спросил Франк Браун.

– Пожалуй, – ответил священник. – Первым поводом послужило тяжелое душевное переживание: неожиданная смерть его брата Вольфа. Вы бы видели Иосифа на кладбище: он не отходил от меня, когда я произнес небольшую речь, и смотрел на огромный венок ярко-красных роз, возложенный на гроб. До конца погребения он еще сдерживался. Но потом почувствовал себя настолько плохо, что нам пришлось нести его на руках – Шахту и мне. В коляске ему стало лучше, но у меня дома им овладела апатия. Единственное, что он сказал мне в тот вечер, это то, что он остался теперь последним из сыновей Гонтрама и что теперь очередь за ним. Апатия не оставляла его, с той минуты он был убежден, что дни его сочтены, хотя профессора после тщательного исследования подали мне вначале большие надежды. Но потом он вдруг заболел, и день ото дня ему становилось все хуже и хуже. Теперь мы отправили его в Давос, но, по-видимому, песня его уже спета.

Он замолчал, в глазах показались крупные слезы. «Его мать была посильнее, – пробурчал адвокат, – она целых шесть лет смеялась в лицо смерти».

– Царство ей небесное, – сказал викарий и наполнил стакан. – Выпьем же за нее – in memoriam.

Они чокнулись и выпили. «Скоро он останется совсем один, старый советник юстиции, – заметил доктор Шахт. – Только дочь его, по-видимому, совершенно здорова, – наверное, она переживет его».

Адвокат пробурчал: «Фрида? Нет, не думаю».

– Почему нет? – спросил Франк Браун.

– Потому что – потому что... – начал тот. – Ах, почему бы мне и не сказать вам?! – Он посмотрел недовольно, негодуя, точно собирался вцепиться в горло: – Хотите знать, почему

Фрида не переживет отца, – я вам скажу: потому что она попала в когти – этой проклятой ведьмы там в Ленденихе – только поэтому – ну, теперь вы поняли?

«Ведьмы... – подумал Франк Браун. – Он называет ее ведьмой, совсем как дядюшка Якоб в своей кожаной книге».

– Что вы этим хотите сказать, господин адвокат? – спросил он.

Манассе залаял: «Именно то, что сказал: кто встречается с фрейлейн тен-Бринкен – тому уже не уйти, как мухе из варенья. И не только не уйти – его ждет верная гибель, ничто не поможет. Берегитесь и вы, господин доктор, – позвольте предостеречь и вас. Довольно неблагородно – так предостерегать однажды сделал это – но безуспешно: говорил Вельфхену; а теперь ваша очередь – уезжайте скорее, уезжайте, пока еще не поздно. Что вас еще здесь удерживает? Что-то мне кажется, будто вы уже лакомитесь медом».

Франк Браун засмеялся, но смех прозвучал как-то деланно.

– По-моему, нет никаких оснований бояться, господин адвокат, – воскликнул он. Но не смог убедить его – и еще меньше самого себя...

Они сидели и пили. Выпили за докторский диплом Шахта и за повышение священника. Выпили за здоровье Карла Монена, о котором никто ничего не слышал с тех пор, как тот уехал. «Он пропал без вести», – заявил Станислав Шахт. Он стал вдруг сентиментальным и запел чувствительный романс.

Франк Браун простился и направился медленным шагом в Лендених, мимо благоухающих весенних деревьев, – совсем как в былые времена. Проходя по двору, он увидел свет в библиотеке. Он вошел туда – на диване сидела Альрауне.

– Ты здесь, кухня? – спросил он. – Еще не спишь?

Она ничего не ответила и жестом предложила ему сесть.

Он сел напротив нее. Ждал. Но она молчала, и он ни о чем ее не спрашивал.

Наконец она произнесла:

– Мне хотелось с тобой поговорить.

Он кивнул, но она опять замолчала.

Он начал: «Ты прочла кожаную книгу?»

– Да, – сказала она, глубоко вздохнула и посмотрела на него. – Так, значит, я только шутка, которую ты когда-то выкинул, Франк Браун?

– Шутка? – переспросил он. – Скорее – мысль – если хочешь...

– Пусть мысль, – сказала она. – Дело не в слове. И разве шутка не что иное, как веселая мысль? И правда – эта мысль была довольно веселая. – Она громко расхохоталась. – Но не поэтому я тебя тут ждала. Мне хочется узнать нечто другое. Скажи мне, ты веришь в это?

– Во что? – ответил он. – В то, что дядюшка пишет правду в своей кожаной книге? Да, я верю.

Она нетерпеливо покачала головой: «Нет, это, конечно, так – зачем ему было бы лгать? Я говорю о другом. Мне хочется знать, веришь ли ты – так же как мой – мой – то есть твой – дядюшка – в то, что я иное существо, чем все люди, что я – что я то, что означает мое имя?»

– Что мне ответить на этот вопрос? – воскликнул он. – Спроси физиолога – тот тебе наверняка скажет, что ты совершенно такой же человек, как все, хотя твое появление на свете и было довольно необычным. Он еще добавит, что эпизоды из твоей жизни –

чистейшая случайность, что все они...

– Меня это несколько не касается, – перебила она, – в глазах твоего дяди эти случайности были на первом плане. В сущности, ведь безразлично, случайность это или нет. Я хочу услышать только: разделяешь ли ты это мнение? Веришь ли также и ты в то, что я особое существо?

Он молчал, не знал, что ответить. Он верил в это – и в то же время все-таки сомневался...

– Видишь ли... – начал он наконец.

– Говори же, – настаивала она. – Веришь ли ты в то, что я лишь твоя смелая мысль облекшаяся затем в плоть и кровь? Твоя мысль, которую старый тайный советник бросил в свой тигель, затем подверг нагреванию и дистиллировке до тех пор, пока из нее не вышло то, что сейчас сидит перед тобою?

На сей раз он ответил сразу: «Если ты так спрашиваешь, тогда изволь: я в это верю».

Она улыбнулась: «Так я и думала. Поэтому-то я и ждала тебя сегодня ночью: мне хотелось поскорее разогнать твое высокомерие. Нет, кузен, не ты создал эту мысль, не ты – и не старый тайный советник».

Он ее не понял. Он спросил: «А кто же?»

Она пошарила под подушкой. «Вот кто», – воскликнула она.

Подкинула в воздухе человечка и снова поймала его. Потом нежно погладила своими нервными пальцами.

– Он? Почему же? – спросил Франк Браун.

Она ответила: «Разве ты когда-нибудь думал об этом – до того дня, как советник юстиции Гонтрам справлял конфирмацию обеих девушек?»

– Нет, – согласился он, – не думал.

– Твоя мысль зародилась в ту минуту, когда этот предмет упал со стены. Разве не так?

– Да, – подтвердил он, – так.

– Ну вот, – продолжала она, – значит, мысль пришла извне. Когда адвокат Манассе прочел вам лекцию, когда говорил, словно ученая книга, рассказывал, что такое «альрауне» и что оно означает – в твоём мозгу зародилась эта веселая мысль. Зародилась и выросла, стала настойчивой, что ты нашел силы внушить ее своему дяде, побудить привести ее в исполнение – и создать меня. Если все это так, Франк Браун, если я мысль, воплотившаяся в человеческую кровь и плоть, – то ты лишь подсобное орудие, не больше и не меньше, нежели тайный советник и его ассистент, не больше, нежели...

Она умолкла.

Но только на мгновение; потом продолжала: «Нежели проститутка Альма и убийца Неррисен, которых вы свели друг с другом, вы – и смерть».

Она положила человечка на шелковую подушку, посмотрела на него почти нежным взглядом и сказала: «Ты мой отец, ты моя мать. Ты меня создал».

Франк Браун взглянул на нее. «Быть может, она и права, – подумал он. – Мысли кружатся в воздухе, как цветочная пыль, порхают вокруг и падают наконец в мозг человека. Нередко они исчезают и погибают, и лишь немногие находят там плодородную почву. Быть может, она и права. Мой мозг был всегда удобренной почвой для всевозможных странных затей и причуд». Ему показалось вдруг безразличным, он ли кинул в мир семя этой мысли – или же был только плодородной почвой.

Но он молчал и не высказывал своих мыслей. Смотрел на нее: словно ребенок, играющий с куклой.

Она медленно встала, не выпуская человечка из рук.

– Мне хотелось сказать тебе еще кое-что, – тихо произнесла она. – В благодарность за то, что ты дал мне кожаную книгу и не сжег ее.

– Что именно? – спросил он.

Она перебила себя. «Можно тебя поцеловать? – спросила она. – Можно?...»

– Ты это хотела сказать, Альрауне? – спросил он.

Она ответила: «Нет, не это. Я подумала только: я могла бы тебя и поцеловать. А потом... но я раньше скажу тебе, что хотела: уходи».

Он закусил губу: «Почему?»

– Потому что – да потому, что так будет лучше, – ответила она, – для тебя, а быть может, и для меня. Но дело не в том. Я знаю прекрасно, как обстоит дело: ведь у меня теперь открыты глаза. И я думаю: как шло до сих пор, так и пойдет впредь-с той только разницей, что теперь я не буду слабой: буду видеть-видеть решительно все. Теперь-теперь, наверное, пришла твоя очередь. Поэтому-то и лучше, чтобы ты ушел.

– Ты в себе так уверена? – спросил он.

Она ответила: «Разве у меня нет оснований?»

Он пожал плечами. «Быть может – не знаю. Но скажи, почему тебе хочется меня пощадить?»

– Ты мне симпатичен, – тихо сказала она. – Ты был добр ко мне.

Он засмеялся: «А разве другие не были добры?»

– Нет, нет, – вскричала она, – все были добры. Но я не эта чувствовала. И они – все – они любили меня. А ты пока еще нет.

Она подошла к письменному столу, вынула открытое письмо и подала ему.

– Вот письмо от твоей матери. Оно пришло еще вечером: Алоиз по ошибке принес мне его вместе со всей почтой. Я прочла. Твоя мать больна – она просит тебя вернуться – она тоже просит.

Он взял письмо и устремил взгляд в пространство. Он сознавал, что обе они правы, чувствовал прекрасно, что оставаться нельзя. Но им снова овладело ребяческое упрямство, оно кричало ему: «Нет, нет».

– Ты поедешь? – спросила она.

Он сделал усилие над собою и ответил решительным тоном: «Да, кузина».

Он пристально смотрел-следил за каждым движением ее лица. Ему достаточно было небольшого движения губ, легкого вздоха, чего-нибудь, что выдавало бы ее сожаление. Но она оставалась спокойна, серьезна, – ни признака волнения не было на ее застывшей маске.

Это обидело его, оскорбило, показалось своего рода вызовом. Он еще плотнее сжал губы. «Так я не поеду», – подумал он.

Он подошел, протянул ей руку. «Хорошо, – сказала она, – хорошо». – «Я пойду». – «Но я поцелую тебя на прощание, если позволишь». В глазах его блеснул огонек. Против воли он вдруг сказал: «Не делай этого, Альрауне, не делай». И голос его был похож на ее.

Она подняла голову и быстро спросила: «Почему?»

Он заговорил ее же словами, но у нее было чувство, будто он делает так умышленно. «Ты мне симпатична, – сказал он, – ты была добра ко мне сегодня. Много розовых губ целовал мой рот – и побледнел. Теперь же – теперь же пришла твоя очередь. Поэтому лучше, если ты меня не поцелуешь».

Они стояли друг против друга – глаза их сверкали стальным, волнующим блеском. На губах у него играла невидимая улыбка: острым и несокрушимым было его оружие. Ей предстоял выбор. Ее «нет» было бы его победой и ее поражением – он с легким сердцем ушел бы тогда. Ее «да» – было бы жестокой борьбой. Она поняла это, – поняла так же, как он. Все останется так, как было в первый же вечер. Только: тогда было начало и первый удар – тогда была еще надежда на исход поединка. Теперь же – теперь был уже конец. Но ведь он сам бросил перчатку...

Она подняла ее. «Я не боюсь», – сказала она. Он замолчал, но улыбка заиграла на его губах. Он почувствовал серьезность момента.

– Я хочу поцеловать тебя, – повторила она.

Он сказал: «Берегись. Ведь и я тебя поцелую».

Она выдержала его взгляд. «Да», – сказала она. Потом улыбнулась. «Сядь, ты немного

велик для меня».

– Нет, – засмеялся он, – не так.

Он подошел к широкому дивану, лег и опустил голову на подушку. Раскинул руки и закрыл глаза.

– Ну, Альрауне, иди, – крикнул он.

Она подошла ближе и опустилась у изголовья на колени. Колеблясь, смотрела, – но вдруг кинулась к нему, схватила его голову и прижалась своими губами к его губам.

Он не обнял ее, не пошевелил руками. Но пальцы нервно сжались в кулаки. Он почувствовал ее язык, почувствовал легкий укус ее зубов...

– Целуй, – прошептал он, – целуй.

Перед его глазами расстился красный туман. Он услышал уродливый смех тайного советника, увидел огромные страшные глаза фрау Гонтрам в то время, как та просила маленького Манассе рассказать тайну Альрауне. Услышал смех обеих конфирманток, Ольги и Фриды, и надтреснутый, но все же красивый голос мадам де Вер, певшей «Les papillones», увидел маленького гусарского лейтенанта, внимательно слушавшего адвоката, увидел Карла Монена, стиравшего большой салфеткой пыль с деревянного человечка...

– Целуй, – шептал он.

И Альму – ее мать, с красными, будто горящими волосами, белоснежное тело ее с синими жилками, и казнь ее отца – так, как описывал тайный советник в своей кожаной книге -со слов княгини Волконской...И тот час, когда создал ее старик, – и другой, когда его ассистент помог ей появиться на свет...

– Целуй, – умолял он, – целуй.

Он пил ее поцелуи, пил горячую кровь своих губ, которые раздирали ее зубы. И опьянялся сознательно, словно пенящимся вином, словно своими восточными ядами...

– Пусти меня, – воскликнул он вдруг. – Пусти – ты не знаешь, что делаешь. Ее локоны еще сильнее прижались к его лбу, ее поцелуи осыпали его еще горячее и пламеннее. Ясные, отчетливые мысли были растоптаны. Они исчезли куда-то. Выросли сны – надулось и вспенилось красное море крови. Менады подняли посохи, запенилось священное вино Диониса.

«Целуй же, целуй», – кричал он. Но она выпустила его, отошла. Он открыл глаза, взглянул на нее.

«Целуй», – тихо повторил он. Тускло смотрели ее глаза, тяжело дышала ее грудь. Она медленно покачала головою.

Он вскочил. «Тогда я буду целовать тебя», – закричал он, поднял ее на руки и бросил на диван, опустился перед нею на колени – на то место, где только что стояла она.

– Закрой глаза...-прошептал он.

И наклонился над ней... Какие дивные были поцелуи – мягкие, нежные, точно звуки арфы в летнюю ночь. Но и дикие – жестокие и суровые, – точно зимняя буря над северным морем. Пламенные, точно огненное дыхание из жерла Везувия, – увлекающие, точно водоворот Мальштрема...

«Все рушится, – почувствовала она, – все, все, все рушится».

Вспыхнул огонь – поднял свои жадные языки к самому небу, вспыхнули факелы пожара, зажгли алтари... Она обняла его крепко и прижала к груди...

– Я сгораю, – закричала она, – я сгораю...

Он сорвал с нее платье...

Солнце стояло высоко, когда проснулась Альрауне. Она увидела, что лежит обнаженная, – но не прикрылась; повернула голову – увидела его перед собою...

И спросила: «Ты сегодня уедешь?»

– Ты хочешь, чтобы я уехал? – спросил он.

– Останься, – прошептала она, – останься.

ГЛАВА 15, которая рассказывает, как Альрауне жила в парке

Он не написал матери ни в тот день, ни на другой. Отложил до следующей недели – потом на несколько месяцев. Он жил в большом саду тен-Бринкенов, как когда-то ребенком, когда проводил здесь каникулы. Сидел в душных оранжереях или под огромным кедром, росток которого привез из Ливана какой-то благочестивый предок. Ходил по дорожкам мимо небольшого озера, где нависали плакучие ивы.

Им одним принадлежал этот сад – Альрауне и ему. Альрауне отдала чрезвычайно строгий приказ, чтобы туда не заходил никто из прислуги – ни днем, ни ночью, не исключая даже садовников: их услали в город и – велели разбить сад вокруг виллы на Кобленцской улице. Арендаторы радовались и удивлялись вниманию фрейлейн тен-Бринкен.

По дорожкам бродила лишь Фрида Гонтрам. Она не произносила ни слова о том, чего не знала, но все-таки чувствовала, и ее сжатые губы и робкие взгляды говорили довольно прозрачно. Она избегала его, когда встречала, – и всегда появлялась, когда он оставался с Альрауне.

– Черт бы ее побрал, – ворчал он, – зачем она только здесь?

– Разве она тебе мешает? – спросила однажды Альрауне.

– А тебе разве нет? – ответил он.

Она сказала: «Я этого как-то не замечала. Я почти не обращаю на нее внимания».

...В тот вечер он встретил Фриду Гонтрам в саду. Она поднялась со скамейки и повернулась, чтобы уйти. Во взгляде ее он прочел жгучую ненависть.

Он подошел к ней: «Что с вами, Фрида?»

Она ответила сухо: "Ничего, вы можете быть довольны.

Скоро уже избавлю вас от своего присутствия".

– То есть как? – спросил он.

Голос ее задрожал: «Я уйду – завтра же. Альрауне сказала, что вы не хотите, чтобы я здесь жила».

Безысходное горе отражалось в ее глазах.

– Подождите-ка, Фрида, я поговорю с нею.

Он побежал в дом и через минуту вернулся.

– Мы передумали, – сказал он, – Альрауне и я. Вам вовсе не нужно уходить – навсегда. Но знаете, Фрида, я нервную вас своим присутствием, а вы меня своим, – ведь правда? Поэтому будет лучше, если вы уедете – ненадолго хотя бы. Поезжайте в Давос к вашему брату. Возвращайтесь через два месяца.

Она встала, вопросительно посмотрела на него, все еще дрожа от страха. «Правда, правда? – прошептала она. – Всего на два месяца?»

Он ответил: «Конечно, Фрида, – зачем же мне лгать?»

Она схватила его руку – лицо ее стало вдруг счастливым и радостным. «Я вам так благодарна, – сказала она. – Теперь все хорошо, раз я имею право вернуться».

Она поклонилась и пошла к дому. Но потом вдруг остановилась и вернулась обратно.

– Еще одно, господин доктор, – сказала она. – Альрауне сегодня утром дала мне чек, но я разорвала его, потому что... потому что – словом, я разорвала его. Теперь же мне нужны деньги. К ней я не пойду – она станет меня спрашивать, а мне не хочется, чтобы она спрашивала. Поэтому – не дадите ли мне денег лучше вы?

Он кивнул: «Конечно, дам. Но разрешите спросить, почему вы разорвали чек?»

Она посмотрела на него и пожала плечами: «Деньги были бы мне больше не нужны, если бы мне пришлось уйти отсюда навсегда...»

– Фрида, – медленно произнес он, – и куда бы вы пошли?

– Куда? – горькая улыбка заиграла у нее на тонких губах. – Куда? Той же дорогой, какой пошла Ольга. С той только разницей, господин доктор, что я наверняка достигла бы цели.

Она поклонилась, повернулась и исчезла в густой аллее парка.

Рано утром, когда просыпалось юное солнце, он, накинув кимоно, выходил из своей

комнаты. Проходил в сад, шел по дорожке к питомнику роз, срезал Boule de Neige и Mervellinr de Lyon, потом сворачивал влево, где возвышались зеленые лиственницы и серебристые ели.

На берегу озера сидела Альрауне – в черном шелковом плаще, – сидела, крошила хлеб и бросала крошки золотым рыбкам. Когда он подходил, она сплетала из бледных роз венков – умело и быстро – и венчала им свои локоны. Сбрасывала плащ, оставалась в легкой кружевной сорочке – и плескалась голыми ногами в прохладной воде.

Говорили они мало. Но она дрожала, когда его пальцы касались слегка ее шеи, когда его близкое дыхание скользило по ее щекам. Медленно снимала она с себя последнее одеяние и клала его на бронзовых русалок. Шесть наяд сидели вдоль мраморной балюстрады – лили в озеро воду из сосудов и чаш.

Вокруг них всевозможные звери: огромные омары и лангусты, черепахи, рыбы, водяные змейки и рептилии, в середине же на трубе играл тритон, а вокруг него морские чудовища изрыгали в воздух высокие струи фонтана.

– Пойдем, мой дорогой, – говорила она.

Они входили в воду, вода была очень холодной, и он слегка дрожал. Губы его синели, по всему телу пробегали мурашки, приходилось быстро плескаться и все время двигаться, чтобы согреть немного кровь и привыкнуть к холодной воде. Она же не замечала ничего, тотчас же осваивалась, как в родной стихии, и смеялась над ним. Она плавала, словно лягушка.

– Открой краны, – кричала она.

Он открывал – и возле берега у статуи Галатеи в четырех местах подымались легкие волны, зыбились сперва, потом подымались все выше и выше, становились четырьмя серебряными каскадами, сверкавшими на утреннем солнце мелкими брызгами. Она входила в воду и становилась под этот каскад. Стройная, нежная. И долго ее целовали его глаза. Безупречно было сложено ее тело – точно высеченное из паросского мрамора с легким желтоватым оттенком. Только на ногах виднелись странные розовые линии.

«Эти линии погубили доктора Петерсена», – подумал он.

– О чем ты думаешь? – спросила она.

Он ответил: «Я думаю о том, что ты Мелузина. Взгляни на этих наяд и русалок – у них нет ног. У них длинный чешуйчатый хвост, у них нет души, у этих русалок. Но говорят, они все же могут полюбить смертного. Рыбака или рыцаря. Они любят так сильно, что выходят из холодной стихии на землю. Идут к старой колдунье или волшебнику, тот варит им страшные яды – и они пьют. Он берет острый нож и начинает их резать. Им больно, страшно больно, – но Мелузина терпит страдания ради своей великой любви. Она не жалуется, не плачет, но наконец от боли теряет сознание, а когда затем пробуждается – хвоста уже нет, она видит у себя прекрасные ноги – словно у человека. Остаются только следы от ножа искусного врача».

– Но все же она остается русалкой? – спросила Альрауне. – Даже с человеческими ногами? А волшебник не вселяет в нее душу?

– Нет, – сказал он, – на это волшебник не способен. Однако про русалок говорят и еще кое-что.

– Что? – спросила она.

Он рассказал: «Мелузина обладает страшною силою лишь до тех пор, пока ее никто не коснулся. Когда же она опьяняется поцелуями любимого человека, когда теряет свою девственность в объятиях рыцаря, – она лишается и своих волшебных чар. Она не приносит уже счастья, богатства, но за нею по пятам не ходит больше и черное горе. С этого дня она становится простой смертной...»

– Если бы так было в действительности, – прошептала она.

Она сорвала белый венок с головы, подплыла к тритонам и фавнам, к наядам и русалкам и бросила в них цветы роз.

– Возьмите же, сестры, возьмите, – засмеялась она. – Я – человек.

В спальне Альрауне стояла большая кровать под балдахином. В ногах возвышались две тумбы, на них чаша с золотым пламенем. По бокам резьба: Омфала с Геркулесом, Персей в объятиях Андромеды, Гефест, ловящий в свои сети Ареса и Афродиту, гроздь дикого винограда, голуби и крылатые юноши. Странная кровать была покрыта позолотой – ее привезла когда-то из Лиона мадемуазель де Монтион, ставшая женой его прадеда.

Он увидел, что Альрауне стоит на стуле у изголовья постели – с тяжелыми клещами в руках.

– Что ты делаешь? – спросил он.

Она засмеялась: «Подожди, сейчас будет готово».

Она колотила и срывала золотого амура, витавшего у изголовья постели с колчаном и стрелами. Вытянула один гвоздь, другой, схватила божка и стала вертеть его в разные стороны – пока не сняла. Потом положила его на шкаф. Взяла человечка-альрауне, снова влезла на стул и при помощи проволоки и бечевки укрепила у изголовья постели. Спрыгнула вниз и осмотрела свое произведение.

– Как тебе нравится? – спросила она.

– К чему он здесь? – сказал Франк.

Она заметила: «Тут он на месте. Золотой амур мне противен: он для всех и для каждого. Мне хочется, чтобы возле меня был Галеотто, мой человечек».

– Как ты его называешь? – спросил он.

– Галеотто, – разве не он соединил нас? Так пускай же висит тут, пусть смотрит на наши ночи.

Иногда они ездили верхом – по вечерам или даже ночью, когда светила луна; ездили к «Семи горам», и в Роландзек, и дальше вдоль Рейна. Однажды у подошвы «Dracenfels» а они заметили белую ослицу: хозяева отдавали ее для прогулки в горы. Франк Браун купил ее. Это было совсем еще молодое животное – белое, как только что выпавший снег. Ее звали Бианкой. Они взяли ее с собою позади лошади, надели длинную веревку, но животное не хотело идти, уперлось передними ногами, словно упрямый мул.

Наконец они нашли средство заставить ее идти следом за ними. Они купили пакет сахара, сняли с Бианки веревку, пустили на свободу и бросали позади себя один кусок сахара за другим. Ослица бежала за ними, не отставая, обнюхивала их гетры.

Старый Фройтсгейм вынул трубку изо рта, когда они подъехали ближе, с удовольствием сплюнул на землю и улыбнулся. «Осел, – прошамкал он, – новый осел. Скоро уже тридцать лет у нас в конюшне не было осла. Вы помните, молодой барин, как я вас учил ездить верхом на старом гнедом Ионафане?» Он притащил пучок молодой моркови и дал животному – погладил по косматой спине.

«Как ее зовут, молодой барин?» – спросил он. Тот назвал ее имя.

«Пойдем, Бианка, – сказал старик, – тебе будет хорошо, мы с тобой станем друзьями». Он снова обратился к Франку Брауну. «Молодой барин, – сказал он, – у меня в деревне трое внучат, две девочки и мальчик. Это дети сапожника, он живет по дороге в Годесберг. По воскресеньям они иногда навещают меня. Можно их покатаť на осле? Только тут, по двору?»

Тот кивнул головою, но не успел еще ответить, как Альрауне крикнула: «Старик, почему ты не спрашиваешь позволения у меня? Это ведь мое животное – мне его подарили. Но я разрешаю тебе катать детей – даже по саду, когда нас нет дома».

Ее поблагодарил взгляд друга – но не старого кучера. Он посмотрел полунедоверчиво-полуудивленно и пробормотал что-то несвязное. Повел ослицу в стойло, позвал конюха, познакомил его с Бианкой и повел ее к лошадям. Показал ей коровье стойло с неуклюжими голландскими коровами и молодым теленком. Показал собак, двух умных шпицев, старую дворняжку и юркого фокса, спавшего в стойле. Повел ее и в хлев, где огромная йоркширская свинья кормила своих девятирех поросят, – к козам и к курам. Бианка ела морковь и послушно шла за ним. Казалось, ей нравилось тут, у тен-Бринкенов.

... Часто после обеда из дому раздавался звонкий голосок Альрауне.

«Бианка, – кричала она, – Бианка». Старый кучер открывал стойло, и легкой рысью ослица бежала в сад. По дороге останавливалась несколько раз, поедая зеленые сочные листья, валялась в высоком клевере, потом бежала дальше по направлению зова «Бианка». Искала хозяйку.

Они лежали на лужайке под большим буковым деревом.

Стола тут не было – на траве расстилали большую белую скатерть. На ней много фруктов, всевозможных лакомств и конфет и повсюду разбросаны розы. И бутылки вина. Бианка ржала. Она ненавидела икру и устриц и презрительно отворачивалась от паштетов. Но пирожные она ела, поедая и мороженое -закусывала при этом сочными розами.

«Раздень меня», – говорила Альрауне.

Обнаженная, она садилась на ослицу, ехала верхом на белой спине животного, держась слегка за косматую спину. Медленно, шагом ехала она по лужайке – он шел рядом, положив правую руку на голову животного. Бианка была умной: она гордилась стройным мальчиком, который ехал на ней.

Там, где кончались грядки георгин, узкая тропинка вела мимо небольшого ручейка, питавшего озеро. Они не шли по деревянному мостику: осторожно, шаг за шагом пробиралась Бианка по прозрачной воде. С любопытством смотрела по сторонам, когда с берега прыгали в волны зеленые лягушки. Он вел животное мимо кустов малины, срывал красные ягоды, делился ими с Альрауне.

Дальше, обсаженная густыми илимами, расстилалась большая лужайка, сплошь усеянная гвоздикой. Ее устроил его дед для Готтфрида Кинкеля, своего близкого друга, любившего эти цветы. Каждую неделю до самой своей смерти он посылал ему большие букеты. Маленькие гвоздики – десятки и сотни тысяч – повсюду, куда ни взглянет глаз. Серебром отливали цветы, и зеленью – их длинные, узкие листья. Серебристая поляна освещалась косыми лучами заходящего солнца. Бианка осторожно несла белоснежную девушку, осторожно ступала по серебристому морю, которое легкими волнами ветра целовало ее ноги. Он же стоял поодаль и смотрел вслед. Упивался прекрасными, сочными красками.

Она подъезжала к нему. «Хорошо, любимый?» – спрашивала она.

И он отвечал серьезно: «Хорошо, очень хорошо. Покатайся еще».

Она отвечала: «Я рада». Она слегка гладила уши умного животного и ехала дальше. Медленно-медленно по серебру, сиявшему на вечерней заре...

– Чему ты смеешься? – спросила она.

Они сидели на террасе за завтраком, и он просматривал почту. Манассе писал ему об акциях Бурбергских рудников. "Вы читали, наверное, в газетах о золотых россыпях в верхнем Эйфеле, – писал адвокат. – Россыпи почти целиком найдены во владениях Бурбергского общества. Я, правда, пока сомневаюсь, окупит ли золото большие издержки по обработке.

Тем не менее бумаги, которые еще четыре недели тому назад не имели никакой ценности, быстро повысились благодаря умелым махинациям директоров общества и уже неделю тому назад стоили *al pari*. Сегодня же один из директоров банка Баллер сообщил, что они стоят двести четырнадцать. Поэтому я передал ваши акции одному знакомому и просил их тотчас же продать. Он это сделает завтра, – может быть, завтра они будут стоить еще выше".

Он протянул письмо Альрауне. «Об этом дядюшка Якоб не подумал, – засмеялся он, – иначе наверняка не завещал бы мне и матери этих акций».

Она взяла письмо, внимательно прочла от начала до конца, потом опустила и уставила взгляд в пространство. Лицо ее было бледно как воск.

– Что с тобой? – спросил Франк Браун.

– Нет, он это знал, – медленно сказала она, – знал превосходно. – Потом обратилась к нему: – Если ты хочешь нажать много денег – не продавай этих акций. – Ее голос зазвучал очень серьезно. – Они найдут еще золото: твои акции поднимутся еще выше, гораздо выше.

– Слишком поздно, – небрежно сказал он, – сейчас бумаги, наверное, уже проданы. Впрочем – ты так уверена?

– Уверена? – повторила она. – Конечно, уверена.

Она опустила голову на стол и громко зарыдала:

– Опять – опять – то же самое...

Он встал и обвинил рукою ее шею. «Умереть, – сказал он. – Выкинь эту чушь из головы. Пойдем, Альрауне, пойдем купаться – свежесть воды излечит тебя от ненужных мыслей. Поговори с твоими русалками – они подтвердят, что Мелузина может приносить горе до тех пор, пока не поцеловала возлюбленного».

Она оттолкнула его и вскочила, подошла вплотную и пристально посмотрела ему в глаза.

– Я люблю тебя, – воскликнула она. – Да, люблю. Но неправда – волшебство не исчезло. Я не Мелузина. Я не дитя прозрачной стихии. Я из земли – меня создала ночь. Резкий вопль вырвался из ее губ; он не понял, было ли то рыдание или раскатистый хохот.

Он схватил ее своими сильными руками, не обращая внимания на ее сопротивление. Схватил, словно непослушного ребенка, и понес вниз, в сад, принес к озеру и бросил вместе с одеждой прямо в воду. Она поднялась оглушенная, испуганная. Он пустил каскады – ее окружали серебристые брызги.

Она громко смеялась. «Иди, – позвала она, – иди ты тоже». Когда он подошел, она увидела, что у него идет кровь. Крупные капли падали со щек, с шеи и с левого уха. «Я укусила тебя», – прошептала она.

Он кивнул. Она выпрямилась, обвинила его руками и воспаленными губами стала пить его красную кровь.

– Ну, а теперь? – воскликнула она.

Они поплыли. Потом он побежал в дом, принес ей плащ и когда вернулся, она только сказала:

– Благодарю тебя, дорогой.

Они лежали под большим буковым деревом. Было жарко... Измяты, измучены были их ласки, объятия и сладостные сны. Как цветы, как нежные травы, над которыми пронеслась буря их любви. Потух пожар, жадною пастью пожравший себя самого: из пепла поднялась жестокая, страшная ненависть. Они посмотрели друг на друга – и поняли, что они смертельные враги. Красные линии на ее ногах казались ему страшными, противными – на губах у него выступила слюна, будто он пил из ее губ горький яд. А маленькие ранки от зубов ее и ногтей горели, болели и пухли...

«Она отравит меня, – подумал он, – как когда-то отравила доктора Петерсена».

Ее зеленые глаза скользили по нему возбуждающе, насмешливо, нагло. Он зажмурился, стиснул губы, крепко сжал руки.

Но она встала, обернулась и наступила на него ногой – небрежно, презрительно.

Он вскочил, придвинулся вплотную – встретил ее взгляд: она не сказала ни слова. Но подняла руку. Плюнула ему в лицо и ударила. Он бросился на нее, схватил ее тело, вцепился в ее локоны, повалил ее на землю, ударил, схватил за горло.

Она упорно боролась. Ее ногти разорвали ему лицо, зубы вонзались в руки и в грудь. Но в крови встретились внезапно их губы – нашли друг друга и со страшной болью слились...

Но он схватил ее, откинул прочь, далеко, – и она без чувств упала в траву. Он зашатался, опустился на землю, поднял глаза к лазурному небу – без воли, без мысли, желания, – прислушался к ударам своего пульса...

Наконец глаза его сомкнулись...

Когда он проснулся, она стояла перед ним на коленях. Локонами осушала кровь с его ран, разорвала сорочку на длинные полосы и стала его перевязывать...

– Пойдем, любимый, – сказала она, – надвигается вечер.

На дорожке валялась яичная скорлупа. Он стал шарить в кустах и нашел разоренное

гнездо клеста.

– Негодные белки, – воскликнул он. – В парке, они прогонят отсюда всех птиц.

Их слишком много

– Что же делать? – спросила она.

Он ответил: «Убить несколько штук».

Она захлопала в ладоши. «Да, да, – засмеялась она, – мы пойдем на охоту».

– У тебя есть ружье? – спросил он.

Она подумала. «Нет – кажется, нет, надо купить... но постой-ка, – перебила она себя, – ружье есть у старого кучера. Иногда он стреляет в чужих кошек – они часто забираются в наш сад».

Он отправился в конюшню. «Здравствуй, Фройтсгейм, – сказал он. – У тебя есть ружье?»

«Да, – ответил старик, – принести его вам?» Франк Браун кивнул, потом спросил: «Скажи-ка, старик, ты ведь хотел покатасть внуков на Бианке? В воскресенье они были, кажется, здесь – но я не видел, чтобы ты их катал».

Старик пробурчал что-то, пошел в свою комнату, снял со стены ружье. Вернулся и молча принялся его чистить.

– Ну? – сказал Франк Браун. – Ты не ответишь на мой вопрос?

Фройтсгейм пошевелил сухими губами. «Не могу...» – пробормотал он.

Франк Браун положил руку ему на плечо: – Будь же благоразумным, старик, скажи, что у тебя на душе. Ведь со мною, кажется, ты мог бы быть откровенен.

Кучер сказал: «Я не хочу ничего принимать от барышни – не хочу от нее никаких подарков. Я получаю жалованье – за него я работаю. А больше я не хочу».

Он понял, что переубедить этого упрямого невозможно, и решил сделать маленький вольт – бросил приманку, на которую тот неминуемо должен попасться.

– А если барышня потребует чего-нибудь от тебя, ты разве не сделаешь?

– Нет, – продолжал упрямый старик, – не сделаю ничего, что не входит в мои обязанности.

– Ну, а если она тебе заплатит, – не унимался Франк Браун, – ты сделаешь?

Кучер все еще не хотел сдаваться. «Смотря по тому...» – прошамкал он.

– Не будь же упрямым, Фройтсгейм, – засмеялся Франк Браун. – Не я, а барышня просила одолжить у тебя ружье, чтобы пострелять белок, – ведь это же не имеет ничего общего с твоими обязанностями. А за это – понимаешь: в отплату за это – она тебе позволяет покатасть внуков на Бианке. Услуга за услугу, согласен?

– Пожалуй, – согласился старик. Он подал ружье и коробку патронов.

«Вот, возьмите и их, – воскликнул он. – Я хорошо заплатил, ничего ей не должен». – «Вы поедете сегодня кататься, молодой барин? – продолжал он. – Хорошо, в пять часов лошади будут головы». Он позвал конюха и велел ему сбегать к сапожнику за внуками. Чтобы вечером тот прислал детей покатасться...

Рано утром Франк Браун стоял под акациями, целовавшими окна Альрауне. Он коротко свистнул. Она открыла окно и крикнула, что сейчас сойдет вниз. Легкими шагами спустилась она по лестнице и перепрыгнула через несколько ступенек крыльца. Подбежала к нему.

– На кого ты похож? – вскричала она. – В кимоно? Разве так ходят на охоту?

Он засмеялся: «Ну, для белок и так сойдет. А вот на кого похожа ты?»

Она была в костюме охотника Валленштейна. «Разве тебе не нравится?» – воскликнула она.

На ней были высокие желтые ботфорты, зеленая курточка и огромная серовато-зеленая шляпа с развевающимися перьями. За поясом старый пистолет, на боку длинная сабля.

– Сними саблю, – сказал он, – белки тебя испугаются. Она состроила гримаску. «Разве я не хорошенькая?» – спросила она.

Он обнял ее, поцеловал в губы. «Ты прелестна, моя славная рожица», – засмеялся он, отстегнул у нее саблю, длинные шпоры и отнял пистолет.

– Ну, теперь пойдём, – воскликнул он.

Они пошли по саду, тихо и осторожно пробираясь сквозь кустарник, смотря вверх на верхушки деревьев.

Он зарядил ружье и взвел курок. «Ты когда-нибудь стреляла?» – спросил он.

– О да, – кивнула она головою. – Мы с Вельфхеном были как-то на ярмарке и учились стрелять в тире.

– Прекрасно, – сказал он, – тогда ты знаешь, наверное, как нужно стрелять и как нужно прицеливаться.

Наверху в ветвях что-то зашуршало. «Стреляй же, – прошептала она, – стреляй. Там что-то есть».

Он поднял ружье, посмотрел вверх, но потом опять опустил его. «Нет, эту не надо, – сказал он. – Это молодая белка, ей нет еще и году. Пусть живет в свое удовольствие».

Они подошли к ручью, там, где он выходил из березовой рощицы на широкий цветущий луг. На солнце жужжали большие июньские жуки, над маргаритками порхали бабочки. Повсюду слышалось жужжание и стрекотание кузнечиков, пчел. В воде квакали лягушки,верху ликовали юные ласточки.

Они пошли через лужайку к буковым деревьям. Оттуда послышалось вдруг испуганное щебетание птиц, маленькие зяблики выпорхнули из листвы. Франк Браун тихонько подошел и пристально взгляделся.

– Вот и разбойница, – прошептал он.

– Где? – спросила Альрауне. – Где?

Но уже раздался выстрел – и большая белка упала с верхушки дерева. Он поднял ее за хвост и показал Альрауне,

«Больше не будет разорять гнезда», – сказал он.

Они пошли дальше по парку: он убил вторую белку и третью – большую, темно-коричневую.

– Почему все ты стреляешь? – спросила она. – Дай и мне попробовать.

Он дал ей ружье. Показал, как нужно заряжать, – она несколько раз выстрелила в дерево.

«Ну-ка, пойдём, – сказал он, – покажешь, на что ты способна». Он пригнул ружейный ствол. «Вот так, – объяснил он, – ствол нужно всегда держать отверстием вниз, к земле, а не вверх». Около озера он увидел на самой дорожке белку. Она хотела тотчас же выстрелить, но он заставил ее подойти ближе:

– Вот так. Ну, а теперь – стреляй.

Она выстрелила – белка удивленно оглянулась, быстро вскочила на дерево и исчезла в густой листве.

Во второй раз было не лучше – она стреляла с очень большого расстояния. Когда же пробовала подойти ближе, зверьки убегали, и она не успевала даже выстрелить.

– Глупые создания, – сердилась она. – Почему они не бегут от тебя?

Его восхищала эта ребяческая досада.

– Вероятно потому, что они хотят доставить мне особое удовольствие, – засмеялся он. – Ты слишком шумишь своими ботфортами – вот почему. Но подожди, мы сейчас подойдем поближе,

Возле самой дороги, где орешник переплетался с акациями, он заметил белку. – Постой-ка здесь, – шепнул он, – я пригоню ее к тебе. Смотри туда в кусты и, как только увидишь, тотчас же свисти, чтобы я знал. Она обернется на твой свист – тогда скорее стреляй.

Он обогнул куст и зашел сзади. Разглядел наконец белку на низкой акации и согнал вниз прямо в орешник. Увидел, что она поскакала в сторону Альрауне, отошел немного и стал ждать свиста. Но не услышав его, вернулся тем же путем и подошел к Альрауне со спины. Она стояла с ружьем в руках и напряженно всматривалась в куст. А немного левее, в нескольких "шагах" от нее, в ветвях орешника, играла белка.

«Смотри, смотри, – зашептала он. – Вот там, наверху, немного левее». Она услышала его голос и быстро повернулась к нему. Он увидел, как губы ее зашевелились, словно она собиралась что-то сказать.

Услышал вдруг выстрел и почувствовал легкую боль в боку.

Потом услышал ее страшный, отчаянный вопль, увидел, как она бросила ружье и кинулась к нему. Сорвала с него кимоно и дотронулась до раны.

Он повернул голову и посмотрел. На боку виднелась длинная, но легкая царапина-кровь почти не шла. Задета была только кожа.

– Черт побери, – засмеялся он, – чуть-чуть не попала. И как раз над самым сердцем.

Она стояла перед ним, дрожа всем телом, – еле могла говорить. Он обнял ее и начал успокаивать; «Ведь ничего же нет, дитя мое, ровным счетом ничего. Надо промыть рану и положить компресс. Посмотри же, ведь ничего нет». Он еще больше распахнул кимоно и показал голую грудь. Она стала ощупывать рану.

«Как раз над сердцем, – бормотала она, – как раз над сердцем». Обеими руками она обняла вдруг его голову. Внезапно ею овладел страх: она посмотрела испуганным взглядом, вырвалась из его рук, побежала к дому, вскочила на крыльцо...

ГЛАВА 16, которая рассказывает, как погибла Альрауне

Медленно он поднялся наверх в свою комнату. Промыл рану, перевязал ее. И рассмеялся над неловкостью девушки.

«Еще научится, – подумал он. – Надо немного поупражняться в стрельбе».

Он вспомнил ее взгляд, когда она убежала. Растерянный, полный безумного отчаяния, будто она совершила преступление. А ведь это было печальной случайностью – к тому же и кончилось довольно благополучно...

Он задумался. «Случайностью? В том-то и дело: она не признает тут случайности. Ей это кажется – роком».

Он думал... Конечно, это так, потому-то она испугалась, потому-то и убежала, когда взглянула ему в глаза – и увидела там свое отражение. Она содрогнулась – при виде смерти, которая рассыпает свои цветы повсюду, где ступает ее нога...

Маленький адвокат предостерегал его: «Теперь ваша очередь». Разве Альрауне и сама не говорила того же, когда просила его уехать? И разве не те же чары овладевают им, как и другими? Дядя завещал ему бумаги, не стоившие ни гроша, – а теперь вдруг в земле нашли золото. Альрауне приносит богатство – но приносит и смерть...

Он вдруг испугался – только теперь – впервые. Снова осмотрел свою рану... Да, да, и как раз под ней бьется сердце. Малейшее движение, поворот тела, когда он хотел показать, где белка, – спасло его. Иначе – иначе...

Но нет, умереть он не хотел. Хотя бы ради матери, подумал он. Да, ради нее – но даже и в том случае, если бы ее не было.

Ради себя самого. Столько лет учился он жить и овладел наконец великим искусством, дававшим ему больше, чем тысячам других. Он жил полно и разнообразно, стоял на вершине и наслаждался всем миром.

«Судьба покровительствует мне, – думал он. – Она издали грозит мне пальцем, это яснее всяких слов адвоката. Пока еще не поздно». Он достал чемодан, открыл, начал упаковываться. "Как пишет дядюшка Якоб в конце кожаной книги? «Испытай свое счастье. Жаль, что меня уже не будет, когда придет твой черед: мне бы так хотелось на тебя посмотреть!»

Он покачал головой. «Нет, дядюшка Якоб, – пробормотал он – на этот раз я не доставлю тебе удовольствия».

Он собрал ботинки, принялся за белье. Отложил сорочку и костюм, которые решил надеть в дорогу. Взгляд упал на синее кимоно, висевшее на спинке стула. Он взял его и осмотрел опаленную дырку от пули.

«Надо оставить, – подумал он. – На память Альрауне. Пусть она присоединит его к другим сувенирам».

Громкий вздох послышался за спиной. Он обернулся – посреди комнаты стояла она в легком шелковом плаще и смотрела широко раскрытыми глазами.

– Укладываешься? – прошептала она. – Ты уезжаешь. Я так и думала.

Клубок стеснил ему горло. Но он с усилием овладел собою. «Да, Альрауне, я уезжаю», – сказал он.

Ничего не сказав, она бросилась в кресло и молча смотрела. Он подошел к умывальнику и стал собирать вещи: гребни, щетки, мыло, губки. Закрыв наконец крышку и запер чемодан.

– Так, – резко сказал он. – Я готов.

Он подошел и протянул ей руку.

Она не пошевелинулась и не подала своей. Ее бледные губы были плотно сжаты.

Только глаза говорили. «Не уезжай, – молили они. – Не оставляй меня. Останься со мной».

«Альрауне», – прошептал он. В его обращении прозвучал словно упрек, словно просьба отпустить, дать уехать.

Но она не отпускала его, приковывала своим взглядом: «Не покидай меня».

Он чувствовал, как слабеет его воля. И почти с силою отвернулся от нее. Но тотчас же ее губы раскрылись. «Не уезжай, – потребовала она. – Останься со мною».

– Нет, – воскликнул он. – Ты меня погубишь, как погубила других.

Он повернулся к ней спиной, подошел к столу, взял немного перевязочной ваты, смочил в масле и плотно заткнул оба уха.

– Ну, теперь говори, – закричал он, – говори, если хочешь. Я не слышу тебя и не вижу. Я должен уехать. И ты это знаешь: дай мне уйти.

Она сказала тихо: «Ты будешь меня чувствовать». Она подошла и положила руку ему на плечо. И дрожание пальцев ее говорило: «Останься со мною. Не покидай меня». Были сладки чуткие поцелуи ее маленьких рук... «Я сейчас от нее вырвусь, – думал он, – сейчас, еще только мгновение». Он закрыл лаза и наслаждался пожатием маленьких пальцев. Но руки поднялись, и щеки его дрогнули от мягкого прикосновения. Медленно обвила она его шею, запрокинула ему голову, поднялась на цыпочки и прижалась влажными губами к его рту.

«Как странно все-таки, – подумал он, – ее нервы говорят, а мои понимают этот немой язык».

Она увлекла его за собою – заставила присесть на кровать. Села к нему на колени, осыпала градом ласк. Вынула вату из ушей, стала шептать знойные, нежные слова. Он их не понимал – так тихо она говорила. Но чувствовал смысл, чувствовал, что все они значат: «Останься». Что она уже говорит: «Как хорошо, что ты остаешься».

Его глаза все еще были закрыты. Он все еще слышал бессвязный лепет ее губ, чувствовал прикосновение ее маленьких пальцев, скользивших по лицу и груди. Она не настаивала, не убеждала – а все же он чувствовал ток ее нервов, который владел им, господствовал. Медленно, тихо он опускался все ниже и ниже.

Но вдруг она вскочила. Он открыл глаза, когда она подбежала к двери и заперла ее. И спустила тяжелую оконную портьеру. Тусклые сумерки окутали комнату.

Он хотел подняться. Но она уже вернулась. Он не успел пошевелинуть и пальцем. Сбросила с себя черный плащ, подошла к нему, нежною рукою закрыла ему веки, прикоснулась губами к его рту. Он не сопротивлялся...

«Ты останешься?» – спросила она. Но он почувствовал, что это был уже не вопрос. Она хотела только услышать ответ – из его собственных уст.

– Да, – ответил он тихо.

Ее поцелуи обрушились, словно ливень в майскую ночь. Ее ласки сыпались на него, будто цвет яблони. Ее нежные слова лились, как сверкающие брызги каскадов на озере в

парке.

– Ты научил меня, – шептала она, – ты – ты показал мне, что такое любовь, – и ты должен остаться, остаться для меня, любовь которой ты сам создал.

Она прикоснулась к его ране и поцеловала ее. Подняла лицо и блуждающим взором взглянула на него. «Я тебе сделала больно, – шептала она, – я попала в тебя – в самое сердце. Ты хочешь ударить меня? Не принести ли мне хлыст: делай, что хочешь. Рви мое тело зубами – возьми нож. Пей мою кровь – делай, что хочешь, – все, все – я раба твоя».

Он снова закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ты госпожа, – подумал он, – победительница».

Иногда, входя в библиотеку, ему казалось, будто откуда-то из углов слышит он чей-то насмешливый хохот. Услыхав его в первый раз, он подумал, что это Альрауне, хотя смех ее был не такой. Он оглянулся, но никого не увидел. Когда он услышал смех во второй раз, он испугался. «Это хриплый голос дядюшки Якоба. – подумал он, – это он смеется надо мною». Но он овладел собою, очнулся. «Галлюцинация», – пробормотал он, и действительно нервы его были в хаотическом состоянии. Он был как во сне. Когда оставался один, он шатался, движения его были вялы, взгляд апатичен. Когда же был с нею, все существо его напрягалось, нервы были натянуты и кровь мчалась бешеным вихрем.

Он был ее учителем – это правда. Он открыл ей глаза, посвятил ее в тайны Востока, научил всем играм древних народов, для которых любовь – великое искусство. Но казалось, будто он не говорит ей ничего нового и лишь пробуждает в ней воспоминания о том, что она когда-то знала. Часто, когда он еще говорил, ее страсть вспыхивала ярким пламенем, вырывалась наружу, словно лесной пожар в жаркую летнюю пору. Он зажег факел. И сам теперь устранился этого пожара, сжигавшего его тело, повергавшего его в бездну страсти и мук...

Однажды, идя через двор, он встретил Фройтсгейма.

– Вы не катаетесь больше верхом, молодой барин, – заметил старый кучер.

Он сказал тихо: «Нет, не катаюсь». Взгляд его встретился с взглядом старика, и он увидел, как зашевелились старые губы.

– Не говори, старик, – поспешно сказал он. – Я знаю, что ты мне скажешь. Но я не могу – я не в силах.

Кучер долго смотрел ему вслед, когда он шел в сторону сада. Потом сплюнул, задумчиво покачал головою и перекрестился.

Однажды вечером Фрида Гонтрам сидела на каменной скамье под буковым деревом. Он подошел к ней и протянул руку.

– Уже вернулись, Фрида?

– Два месяца прошло, – сказала она.

Он схватился за голову. «Прошло? – пробормотал он. – Мне казалось: всего только неделя». – «Что с вашим братом?» – продолжал он.

– Умер, – ответила она, – давно уже. Мы похоронили его наверху, в Давосе, – я и викарий Шредер.

– Умер, – повторил он. Потом, словно желая отогнать от себя эту мысль, быстро спросил: – Что вообще нового слышно? Мы живем тут совсем отшельниками, не выходим из сада.

«От удара умерла княгиня Волконская, – начала она. – Графиня Ольга...» Но он не дал ей продолжать. «Нет, – закричал он, – не говорите. Я не хочу слушать. Смерть – смерть – смерть. Молчите, Фрида, молчите».

Он был рад, что она вернулась. Они мало говорили, но сидели друг против друга. Было лучше, когда в доме есть еще человек. Альрауне сердилась, что Фрида Гонтрам вернулась.

– Зачем она приехала? Мне она не нужна... Мне не нужно никого, кроме тебя.

– Оставь ее, – сказал он, – она никому не мешает: она прячется...

Альрауне сказала: «Она вместе с тобою, когда меня нет. Я это знаю. Но пусть она бережется».

– Что ты хочешь сделать? – спросил он.

Она ответила: «Сделать? Ничего. Разве ты забыл, что мне ничего не нужно делать?»
Все приходит само собою.

Еще раз проснулось в нем сопротивление.

– Ты опасна, – сказал он, – словно ядовитый плод.

Она подняла голову: «Зачем же она вкушает меня? Я велела ей уйти, уйти навсегда. Ты же сказал – всего на два месяца. Ты виноват».

– Нет, – воскликнул он, – неправда. Она утопилась бы...

– Тем лучше, – засмеялась Альрауне.

Он перебил ее и быстро сказал:

– Княгиня умерла от удара...

– Слава Богу, – засмеялась Альрауне.

Он стиснул зубы, схватил ее за руки и потряхнул. – Ты ведьма, – прошипел он. – Тебя нужно убить.

Она не сопротивлялась, хотя его пальцы судорожно вцепились в ее тело.

– Кто же убьет меня? – засмеялась она. – Ты?

– Да, я, – крикнул он. – Я – я бросил семя ядовитого дерева – я найду и топор, чтобы срубить его, – освободить мир от тебя.

– Сделай же это, – попросила она, – Франк Браун, сделай же это.

Будто масло пролилась ее ирония на огонь, которым горел он. Красно и горячо вздымался перед ним удушливый дым – вползал ему в уши, в рот, в ноздри. Лицо исказилось, он быстро выпустил ее и поднял сжатый кулак.

– Бей же, – воскликнула она, – бей. О, таким я люблю тебя.

Рука его опустилась. Его бедная воля утонула в потоке ее ласк.

В ту ночь он проснулся. На лицо упал мерцающий свет: на камине стояла свеча в большом серебряном канделябре. Он лежал в огромной прадедовской кровати; как раз над ним висел деревянный человечек. «Если он упадет, он убьет, – подумал Франк Браун в полусне. – Надо убрать его». Взгляд скользнул вниз. В ногах сидела Альрауне – из ее губ вырывались тихие слова: она чем-то играла. Он слегка приподнялся и прислушался. Она держала в руках стакан из черепа своей матери. И бросала кости – кости отца своего.

«Девять, – бормотала она. – Семь – шестнадцать». Она снова бросила кости в стакан и загремела ими. «Одиннадцать», – воскликнула она.

– Что ты делаешь? – перебил он ее.

Она обернулась: «Я играю. Я не могла заснуть и вот стала играть».

– Как ты играла? – спросил он.

Она подползла к нему – проворно, как гладкая змейка:

– Мне хотелось узнать, что будет. Что будет с тобою и с Фридою Гонтрам.

– Ну – что будет? – спросил он.

– Фрида Гонтрам умрет.

– Когда? – продолжал он.

«Не знаю. Но скоро – очень скоро». Он сжал кулаки. «Ну – а что будет со мною?» Она сказала: «Не знаю – ты мне помешал. Дай я еще поиграю».

– Нет, – нет, я не хочу знать.

Он замолчал и задумался. Потом вдруг испугался – сел на постели и устремил взгляд на дверь. Чьи-то легкие шаги послышались в коридоре, до него донесся скрип пола.

Он вскочил, подбежал к двери и прислушался. Кто-то подымался по лестнице. Позади себя он услышал звонкий смех.

– Оставь ее, – сказала Альрауне. – Что тебе от нее нужно?

– Кого оставить? – спросил он. – Кто это?

Она продолжала смеяться: «Кто – Фрида Гонтрам. Твой страх преждевременен, рыцарь мой, – она еще жива».

Он вернулся и лег на постель. «Принеси мне вина, – воскликнул он. – Я хочу пить».

Она вскочила, побежала в соседнюю комнату, принесла хрустальный графин и налила ему бургундского.

– Она все бегают, – заговорила Альрауне. – День и ночь. Она не может спать и ходит по дому.

Он не слушал, что она говорит, жадно выпил вино и протянул бокал. «Еще, – потребовал он, – налей еще».

«Нет, – сказала она, – не надо. Ложись – я буду тебя поить, когда ты почувствуешь жажду». Она прижала его голову к подушкам, опустилась перед ним на колени. Взяла глоток вина и дала ему пить из своего рта. И он опьянел от вина; – и еще больше от губ, которые поили его.

Солнце ярко сияло. Они сидели на мраморной балюстраде у озера и ногами плескались в воде.

– Пойди ко мне в комнату, – сказала она, – на туалетном столике лежит удочка – принеси ее.

«Нет, – ответил он. – Удить не нужно. Что тебе сделали эти золотые рыбки?» Она сказала: «Иди».

Он встал и пошел к дому. Вошел в ее комнату, взял удочку и осмотрел. Потом улыбнулся: «Ну, этим немного поймает». Он перебил себя, тяжелые складки показались у него на лбу. «Немного? – продолжал он. – Она и руками поймает рыбок сколько захочет».

Взгляд упал на кровать – на деревянного человечка. Он бросил удочку и, внезапно решившись, схватил стул. Подставил, влез и быстро сорвал альрауне. Собрал побольше бумаги, бросил ее в камин и положил в костер человечка.

Сел на пол и смотрел на огонь. Но пламя пожрало только бумагу и даже не опалило человечка, разве лишь закоптило немного. И ему показалось, будто человечек смеется, будто на его некрасивом лице появилась гримаса, словно гримаса дядюшки Якоба, и снова – и снова слышался из углов его отвратительный, вкрадчивый смех...

Он вскочил, схватил со стола нож, открыл острое лезвие, выхватил человечка из пламени.

Дерево было твердое, как металл, – ему удавалось отделять лишь небольшие стружки. Но он не бросал – резал и резал – один кусок за другим. Крупные капли пота выступили у него на лбу, пальцы заболели от непривычной работы. Он передохнул немного, собрал бумагу, кинул на нее стружки, подлил розового масла и одеколона.

Ах, наконец-то они загорелись. Огонь удвоил его энергию – быстро и сильно отделял он стружки от дерева и бросал их в огонь. Человечек становился все меньше и меньше, лишился обеих рук и ног. Но еще не сдавался, упорно сопротивлялся, вонзал ему занозу одну за другой. Он окроплял своей кровью уродливую фигурку – резал и резал – все новые и новые куски деревянной фигуры...

Вдруг слышался ее голос. Хриплый, надтреснутый...

– Что ты делаешь? – закричала она.

Он вскочил и бросил последний кусок в яркое пламя. Обернулся – диким безумием сверкали ее зеленые глаза.

– Я убил его, – воскликнул он.

«Меня, – завопила она, – меня». Она схватилась обеими руками за грудь. «Как больно, – прошептала она. – Как больно».

Он прошел мимо нее и с грохотом захлопнул за собою дверь...

Но через минуту он снова лежал в ее объятиях – снова впивал ее ядовитые поцелуи.

Правда – он был ее учителем. Рука об руку с ним прошла она по парку любви – по извилистым скрытым дорожкам, – вдали от широких аллей толпы. Но там, в дикой чаще, где терялись тропинки, где он отшатнулся от страшной бездны, – она шла все дальше и дальше Беспечная, свободная от всякого страха и трепета, – легко, будто в веселой радостной пляске. В парке любви не было ни одного красного ядовитого плода, который бы не сорвали ее

пальцы, в который бы не вонзились со смехом ее зубы, – от него узнала она, как сладостно опьянение, когда язык впитывает маленькие капли крови... Но жажда ее казалась неистощимой...

...Он устал от поцелуев этой ночи и медленно высвободился из ее объятий. Закрыв глаза, лежал как мертвый, бледный, недвижимый. Но не спал. Ясны, отчетливы были все впечатления, несмотря на усталость.

Много часов пролежал он так. Яркое полнолуние глядело в открытое окно и заливало своим белым светом постель. Он слышал, как Альрауне шевелится рядом с ним, слегка стонет, шепчет бессвязные фразы – как всегда в лунные ночи. Он слышал, как она встает, напевая что-то, подходит к окну и потом медленно возвращается обратно. Почувствовал, как она склонилась над ним и долго смотрела на него.

Он не шевелился. Она снова поднялась, подбежала к столу, снова вернулась, опять наклонилась, прислушалась к его дыханию. Он почувствовал, как его кожи коснулось что-то холодное, острое, – понял, это нож. «Она сейчас ударит», – подумал он. Но он не испугался-ощутил какую-то странную радость, не пошевелинулся, молча ждал смертельного удара, который бы обнажил его сердце. Она коснулась ножом его груди – осторожно, осторожно разрезала, не глубоко, – но кровь сразу брызнула фонтаном. Он слышал ее быстрое дыхание, поднял слегка веки и посмотрел. Ее губы были полуоткрыты – вдруг она бросилась на него. Прижала губы к открытой ране и начала пить-пить его кровь...

Он лежал молча и неподвижно, чувствовал, как кровь приливает к сердцу. Ему казалось, будто она выпьет ее всю – не оставит в нем ни единой капли. Она пила-пила – прошла, казалось, целая вечность...

Наконец она подняла голову. Он увидел, что она вся горела. Ярko сверкали ее щеки в лунном сиянии, маленькие капли пота искрились на лбу. Нежною рукою коснулась она иссякнувшего источника, своего красного нектара, – и быстро поцеловала его. Потом отвернулась и пристально стала смотреть на луну... Ее что-то манило. Шатаясь, она подошла к окну. Встала на стул, ступила ногою на подоконник – вся залитая серебряным светом...

Потом, словно быстро решившись, прыгнула обратно. Не смотрела по сторонам и скользила по комнате. «Я иду, – шептала она, – иду».

Отворила дверь, вышла из комнаты.

Он продолжал лежать – прислушивался к шагам сомнамбулы, пока они не замерли где-то вдали. Затем встал, оделся.

Он был рад, что она ушла, – он сумеет хотя бы ненадолго заснуть. Надо уйти, уйти поскорее – пока ее нет...

Он вышел в коридор и пошел в свою комнату. Он услышал шаги и спрятался в нишу – показалась черная тень: то была Фрида Гонтрам в глубоком трауре. Она держала в руках свечу, как всегда во время своих ночных хождений. Он увидел бледные черты ее лица, жесткую складку около носа, плотно сжатые губы. Увидел ее испуганный взгляд...

«Она одержимая, – подумал он, – одержимая, как и я».

Одно мгновение хотел было заговорить с нею, посоветоваться – быть может... Но покачал головою: «Нет, нет, все равно ничего не поможет».

Она преграждала путь в его комнату: он решил пойти в библиотеку и лечь там на диване. Тихо сошел по лестнице, открыл тяжелую дверь.

На каменной скамье перед конюшнями сидел старый кучер, он заметил, как тот поманил его. Быстро направился он к нему.

«В чем дело, старик?» – прошептал он. Фройтсгейм не ответил, поднял только руку и показал наверх.

– Что? – спросил он. – Где?

Но потом вдруг увидел. По высокой крыше дома шел стройный нагой мальчик – спокойным, уверенным шагом.

То была Альрауне.

Глаза ее были широко раскрыты, глядели вверх, высоко вверх – на полнолуние.

Он увидел, что губы ее шевелятся, увидел, что она слегка поднимает руку, точно в каком-то страстном могоучем желании...

И идет все дальше и дальше. Спускается по карнизу – медленно – шаг за шагом...

Она должна упасть – неминуемо, неизбежно.

Им овладел безумный страх – его губы раскрылись, чтобы крикнуть, предупредить ее... – Альра...

Но он подавил крик. Предупредить ее, выкрикнуть ее имя – ведь это значило бы убить ее... Она спала, она в безопасности – пока она спит и действует в этом сне. Но если он закричит – если она проснется – она неизбежно должна будет упасть.

Что-то шептало ему: «Кричи, кричи, – кричи – тогда ты спасен. Одно только слово, одно ее имя – Альрауне. На языке у тебя ее жизнь – ее и твоя собственная. Кричи же, кричи».

Он плотно сжал губы, закрыл глаза, судорожно стиснул руки. Он чувствовал: сейчас, сейчас свершится.

Ах, обратно было немыслимо, – он должен был это сделать. Все его мысли слились в одно, сковались в один острый кинжал: «Альрауне...»

Вдруг среди ночи громко, пронзительно, дико, безумно прозвучало: «Альрауне – Альрауне».

Он открыл глаза – посмотрел. Увидел, как наверху она опустила руки, как внезапная дрожь пробежала по ее телу, как она обернулась, взглянула вниз на большую черную фигуру, показавшуюся в окне, – увидел, как Фрида Гонтрам широко раскинула руки – бросилась вниз, – услышал еще раз ее отчаянный вопль: «Альрауне».

Потом перед ним все смешалось – густой туман заволок его глаза, он услышал только глухой звук падения, за ним другой. И снова вопль – но только один.

Старый кучер взял его за руку и повлек за собой. Он зашатался, едва не упал-вскочил, быстро побежал через двор к дому...

Бросился на колени перед нею – обвил ее тело своими руками. Кровь, много крови окрасило ее короткие локоны...

Он приложил ухо к ее сердцу, услышал слабое биение. «Она еще жива, – прошептал он, – о, она еще жива», – и поцеловал ее бледный лоб.

Он посмотрел в ту сторону, где старый кучер суетился возле Фриды Гонтрам. Заметил, как тот покачал головою и тяжело поднялся на ноги. «Она сломала себе позвоночник», – услышал он.

Что ему за дело? Альрауне жива – жива.

– Пойдем, старик, – закричал он, – внесем ее в дом.

Он приподнял слегка ее плечи – она открыла глаза.

Но не узнала его. «Я иду, – прошептала она, – иду...»

Ее голова откинулась...

Он вскочил-раздался его дикий, душераздирающий крик, прорезал мертвую тишину, затопил двор и сад: «Альрауне – Альрауне – я – это был – я...»

Старый кучер тяжело положил руку ему на плечо и покачал головою.

– Нет, – сказал он, – закричала фрейлейн Гонтрам.

Он дико расхохотался: «Разве это было не мое желание?»

Лицо старика омрачилось, и глухо прозвучал его голос: «То было желание мое».

Сбежалась прислуга, принесли свет, подняли шум, – говорили, кричали, наполняли большой двор...

Шатаясь, как пьяный, побрел он к дому, опираясь на старого кучера...

– Я хочу домой, – шептал он, – меня ждет моя мать.

ЭПИЛОГ

Позднее лето – розы поднимают головки свои на стеблях, мальвы рассыпают свои мягкие краски: бледную – желтую, лиловую – и мягкую, розовую.

Когда ты постучалась ко мне, дорогая подруга моя, была юная весна. Когда ты вошла в узкую дверь моих снов, ласточки смеялись с нарциссами, лазурны и добры были глаза твои и дни твои были точно тяжелые гроздья светло-синих глициний – они падали вниз на мягкий ковер: ноги мои скользили легко по аллеям, залитым весенним солнцем...

Пали тени, и ночью из моря поднялся вечный грех, – пришел с Юга – из шири пустынь. Простер свое зачумленное дыхание. И, горячая, вся дрожа, ты проснулась, – счастливая всяким грехом, полным яда, пила мою кровь, ликовала, кричала – от страшной муки и безумного сладострастия.

В дикие когти превратились твои розовые ногти, за которыми ухаживала Фанни, маленькая камеристка. В острые ножи обратились твои белоснежные зубы, в грудь проститутки – твоя нежная детская грудь. Ядовитыми змеями стали золотые кудри твои, а из глаз, которые преломляли свет сверкающих сапфиров моих милых золотых Будд, сверкают молнии, растопляющие своим жаром все ликование безумия...

Но в озере моей души выросли золотые лотосы – простерли широкие листья по зеркальной воде, закрыли собою пучину, – и серебристые слезы, которыми плакало облако, лежали, точно большие жемчужины на зеленых листьях, – сверкали на солнце, точно точеные лунные камни. Где лежал снег тихих акаций, там золотой дождь пролил свою ядовитую желчь – там нашел я, подруга моя, великую красоту целомудренного греха. И понял страсти святых.

Я сидел перед зеркалом и пил из него избыток греха твоего. Когда ты спала в летний полдень в тонкой шелковой сорочке на белой простыне.

Другую ты становилась, белокурая подруга моя, когда солнце смеялось над садом моим, – белокурая сестренка моих тихих дней. У совсем другой – когда солнце погружалось в море, когда из-за кустов тихо выползали ночные туманы, – дикая греховная подруга моих жарких ночей. Я же при свете яркого дня видел в твоей нагой красоте все грехи ночи.

В зеркале я прочел тайну – в старом зеркале в золотой раме, которое видело столько любовных игр в большой комнате в замке Сан-Констанцо. В этом зеркале прочел я тайну, подняв глаза от страниц кожаной книги: слаще всего – целомудренный грех невинности.

Ты не будешь отрицать, дорогая подруга моя, что есть существа – не звери – странные существа, созданные игрою причудливых мыслей.

Добр закон, добра строгая норма. Добро – Господь, создавший их – добрый человек, их уважающий. Дети же Сатаны дерзновенной рукою ломают скрижали вечных законов. Им помогает злой дух, могучий властелин, – он создает по собственной горделивой воле – создает вопреки природе. Творения его вздымаются все выше и выше – и все-таки падают и погребают в падении своем дерзновенных детей Сатаны...

Я написал для тебя эту книгу, сестра. Раскрыл давно забытые раны, смешал их темную кровь с яркой и свежей кровью последних страданий: красивые цветы вырастут из почвы, упоенной кровью. Правдиво, прекрасная подруга моя, правдиво все то, что я тебе рассказал, – но я взял все же зеркало и прочел в нем конечную тайну событий...

Возьми, сестра, эту книгу. Возьми ее от безумца – высокомерного глупца – и тихого мечтателя...

От человека возьми, сестра моя, от человека, который шел подле жизни – мимо нее...

МИРАМАР – «Лезина – Бриони»

Апрель – октябрь 1911 г.